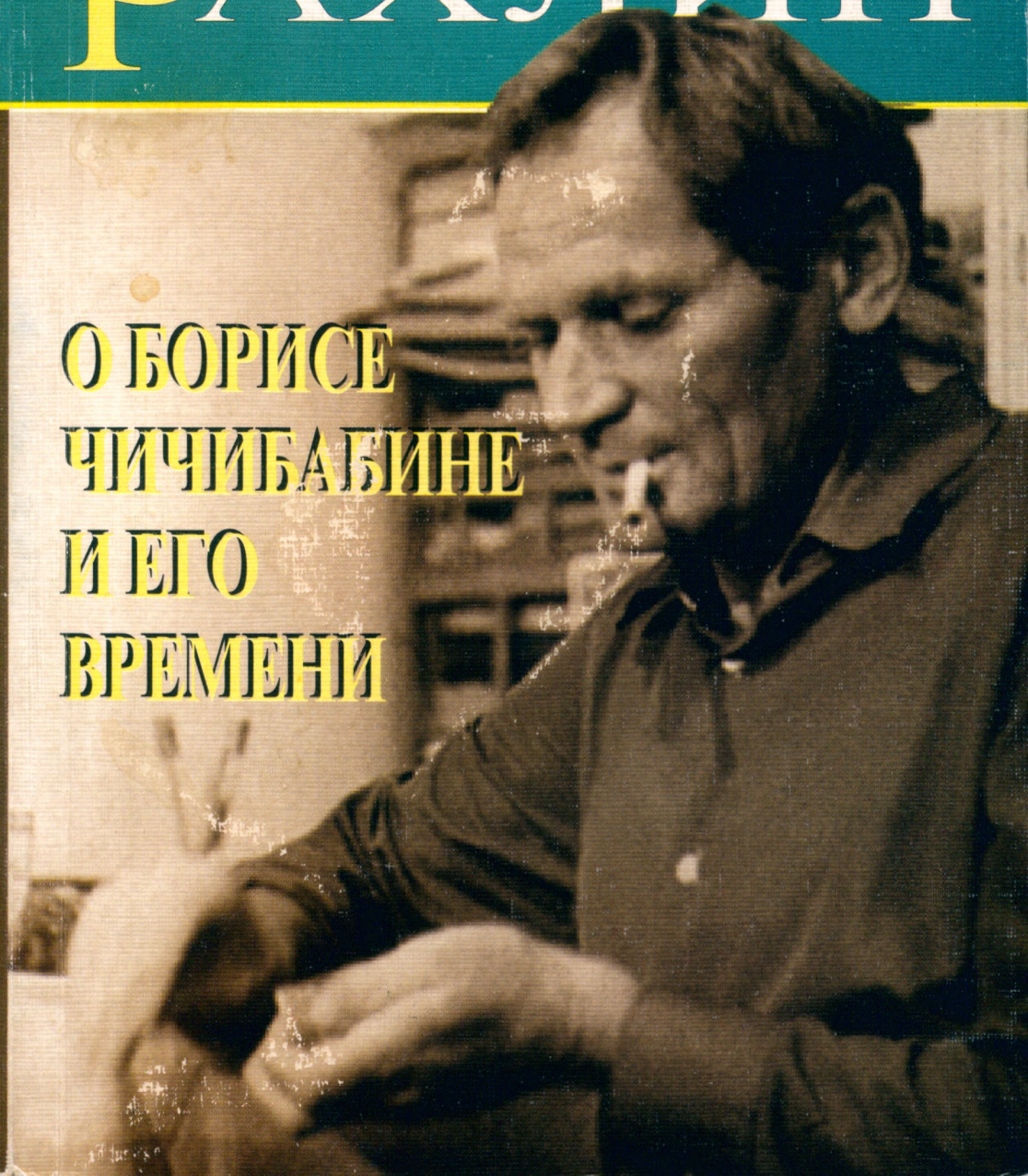


Феликс
РАХЛИН

Феликс РАХЛИН

О БОРИСЕ
ЧИЧИБАВИНЕ И ЕГО
ВРЕМЕНИ

О БОРИСЕ
ЧИЧИБАВИНЕ
И ЕГО
ВРЕМЕНИ



Феликс
РАХЛИН

**О БОРИСЕ ЧИЧИБАБИНЕ
И ЕГО ВРЕМЕНИ**

СТРОЧКИ ИЗ ЖИЗНИ



ХАРЬКОВСКАЯ ПРАВООЗАЩИТНАЯ ГРУППА

ХАРЬКОВ

«ФОЛИО»

2004

Художник-оформитель
Б.Е. Захаров

Подготовка иллюстраций
А.Б. Агеев

Рахлин Ф.Д.

P27

О Борисе Чичибабине и его времени. Строчки из жизни / Харьковская правозащитная группа; Худож-оформитель Б.Е. Захаров – Харьков: Фолио, 2004. – 216 с., фотоилл.

ISBN 966-03-2694-7.

Книга воспоминаний о выдающемся русском поэте Борисе Чичибабине (1923-1994), о его времени и некоторых ближайших его друзьях.

Большая часть жизни поэта прошла в Харькове. Еще в юные годы за бунтарские стихи, оппозиционные режиму Сталина, он был арестован и пять лет провел в северном лагере. В мемуарах одного из близких ему людей рассказано о предыстории этого ареста, о дальнейших творческих и житейских злоключениях, преследованиях и утеснениях, которым подвергался поэт со стороны партийно-советской верхушки в течение всей своей жизни, об особенностях личности и характера, во многом противоречивого, но всегда яркого и цельного. Отдельная глава посвящена беспримерному в русской литературе тематическому кругу стихов русского «по крови» поэта против антисемитизма, в защиту еврейства и его права на собственный выбор судьбы и родины.

Автор – бывший харьковский журналист, ныне гражданин Израиля.

ББК 84(4 УКР-РОС)

© Ф.Д. Рахлин, 2004

© Б.Е. Захаров, художественное оформление, 2004

© Харьковская правозащитная группа, 2004

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

15 декабря 1994 года, выписавшись из больницы, я позвонил домой по «общественному телефону», как называют в Израиле автомат. Ответила жена:

– Звонил Саша Верник. Вчера в Харькове умер Борис Чичибабин.

Я долго не мог издать ни звука.

– Ого! – сказала она. – Кажется, напрасно я тебе так сразу... Ты там жив?

Я был жив. Но человека, с которым жизнь подарила мне почти полувековое знакомство, которого я любил и, как мне кажется, понимал, уже целые сутки не было на свете. К этому предстояло привыкнуть.

Привыкать оказалось нелегко. Во всяком случае, пока не удалось. Почти каждый день перелистываю написанные им книги, перебираю в памяти наши встречи. Смерть Бориса не была для меня неожиданностью: примерно за полгода до нее он перенес встревоживший всех близких мозговой спазм. Позднее они с Лилей, его женой, еще раз побывали в Израиле – через два года после первого приезда, и мы опять встретились в Иерусалиме. Мне даже удалось взять у него интервью для одной тель-авивской газеты. Потом несколько раз (последняя щедрость судьбы!) я видел по телевидению Москвы передачи с его участием – и сколько видел, столько раз сокрушался: «Не жилец!» Не нравился лихорадочный румянец на щеках, что-то трудно объяснимое во взгляде, а главное – настроение, с которым он читал стихи. И – надо же: именно в одно из этих последних выступлений читал он свой «Плач по утраченной Родине». Дома у нас никого не было, он читал с экрана, а я громко выл от горя: утраченная, она была у нас общей. «Которой больше нет».

Он не надолго пережил ее. А сколько отмерено мне? Тут дело не в том, что всегда, потеряв близких, особенно пристально вглядываешься в свою судьбу. Главное – что я об этом интереснейшем человеке, замечательном поэте знаю и помню то, что другие, может, и не знают, и не расскажут. Так возникли эти записки.

Хочу, однако, предупредить: я не был близким другом Бориса Чичибабина и даже вообще не отваживаюсь назвать себя его другом.

Мы в течение отдельных лет и встречались-то нечасто. Обычно виделись на пирушках в доме моей сестры. Вот он а – истинный и близкий друг его, вот ей бы и взяты за мемуары. Впрочем, они давно написаны, и экземпляр рукописи есть у меня. Однако, по ее же условию, публикация не может пока состояться.

Но то рассказ о ее – не о его жизни, и даже если б она написала о друге отдельно, то совсем не с той точки, с какой его видел я.

Что любые мемуары субъективны, что они могут быть неточны и даже, как я недавно где-то читал, апологетичны – все это хорошо известно. Однако, может, в этом и состоит прелесть жанра? Важно лишь, чтобы не было заведомой лжи, отсебятины. Не надо причислять героя и особенно себя, создавать легенды. К сожалению, о Чичибабине еще задолго до его кончины появились выдумки и небылицы, отместки которые вовсе не значит стать его апологетом.

Писать о жизни советского поэта всегда особенно трудно: вряд ли хоть один из них избежал двусмысленности положений, если не прямого приспосабливания. Даже Пастернак был вынужден, скрепя сердце, отказаться от Нобелевской премии.

В случае с Борисом Чичибабиным сложность в том, что он был автором книг, где натужно-«идейные», приспособленные к обстоятельствам стихи соседствовали с шедеврами. Но вот главное: этим его книжкам 60-х годов, которые он сам презирал¹, сопутствовало параллельное, неподцензурное творчество, и вот в нем-то совесть и талант поэта выступали в подлинном, незамутненном виде. Однако книги читали все, а рукописи и самиздат – лишь некоторые. Облик поэта, таким образом, искажен обстоятельствами. Я попробую это показать.

Борис Чичибабин – поэт высокого таланта. Так считали видные русские поэты – от Маршака, Сельвинского и Твардовского до Самойлова и Евтушенко. Сверх того, это был человек со своим оригинальным взглядом на мир, певец, обладавший собственным неповторимым голосом. Можно ожидать, что с годами его значение в русской поэзии будет все более выясняться. Уже сейчас видно, что без некоторых его стихов невозможно дать полное описание целой эпохи – советской, да и постсоветской жизни. Конечно, если иметь в виду описание художественно-эмоциональное, летопись настроений. Например, начало, да и разгар эмиграции 70-х годов – как опишешь, не упомянув о стихах «Отъезжающим», а «посадочную кампанию» середины сороковых – без «Красных помидоров» (названия привожу условные – у автора эти стихотворения не озаглавлены).

¹ Вспоминаются его дарственные надписи на них – «а что касается книжки, то я больше не буду», «...со жгучим стыдом за эту кастрированную книжку...» и т. д.

Одним из замечательных свойств его лиры было то, что ей оказались одинаково подвластны и тончайшие интимные чувства: любовь, дружба, восторг перед красотой мира, и религиозно-философские размышления, и житейские, политические страсти, злоба дня и столетия.

От всего этого неотделимы бесподобно гибкий, точный и живой поэтический язык – иногда «восхитительно неправильный», как выразился кто-то из современников прошлого века о языке Герцена, но в лучших произведениях всегда уместный, образно-яркий, и та своеобразная техника, ритмика, замечательно изощренная звукопись, которые по силам лишь большому и неординарному мастеру.

Важной особенностью его неповторимой личности были неподдельно интернационалистические убеждения. Слово интернационализм инфлировано фальшью и лицемерием советской и последующей патетики и практики, однако для обозначения юридического и биологического равенства всех людей планеты, изначального права каждого человека на жизнь и свободу – иного, кажется, нет. Нам, евреям, особенно близки его стихи о еврействе, против антисемитизма, а также непросто давшееся ему, но тем более дорогое для нас признание нашего права на Исход из галута², его высокая оценка Израиля. Но «юдофильство» Чичибабина не было самодовлеющим предпочтением – оно соседствовало с заступничеством за крымских татар, с тем, что он одинаково чувствовал и боль армянскую, эстонскую, литовскую, что, будучи русским поэтом на Украине, горячо поддерживал освободительные идеи украинских диссидентов, осуждал русский шовинизм, национал-патриотическую надутость (кстати, и украинскую тоже).

Жизнь Чичибабина интересна еще и тем, что типична для нашего века. Разве что не воевал, не участвовал в боевых действиях своего Закавказского фронта, а вот в тюрьме, в лагере сталинском – сидел, притом – «за стихи», пережил состояние маятника, о котором писал Виктор Бокор: «Да здравствует амплитуда: то падаешь, то летишь!»... Мытарился в поисках работы, – и на работе тоже. Дважды был вознесен на вершины славы, несколько раз ошельмован и низвергнут почти что в небытие. Наказан глухим замалчиванием. Испытал бескорыстную женскую любовь и женское же непостоянство... Не обо всем я могу рассказать, но, если человечеству суждено еще идти по зыбкой дороге истории, то, как водится, о верном его сыне и певце затеют писать биографию. Я рад послужить биографам Чичибабина.

Перед вами не жизнеописание, а всего лишь воспоминания о поэте – но и не только о нем. Это и рассказ о его времени, о некоторых

² Галут (ивр.) – изгнание, диаспора. Здесь и дальше все подстрочные примечания принадлежат автору.

его друзьях, о нашей семье, с которой он был дружен в течение долгих и трудных лет.

Путеводителем мне пусть будут строки его стихов! Строки из его жизни...

* * *

Но прежде чем перейти к повествованию, хочу от души поблагодарить всех, кто, ознакомившись с рукописью или отдельными ее частями, своими замечаниями, уточнениями, советами, а также и нелицеприятной критикой оказали мне огромную помощь. Это сестра поэта Л.А. Гревизирская (Полушина), его друзья и знакомые: М.Я. Азов (Айзенштадт), Е.Ю. Захаров, В.К. Конторович, И.Я. Лосиевский, Л.Х. Надель, М.Д. Рахлина, А.Я. Фишелева, И.Н. Челомбитько, Ф.М. Шмеркина и другие. Ценные стилистические замечания получены от израильского поэта О. Рогачевой. Особая благодарность – первому и самому строгому и многотерпеливому читателю – моей жене Инне. Везде, где мог, я учел их пожелания и требования. Менее всего, однако, был склонен вносить чужие коррективы в свою собственную память и оценки: на воспоминания и мнения имеет право каждый, а от ответственности и от спора – не уйду. Вообще же – правильно сказал мне сын: «Писать мемуары всего безопаснее, когда свой жизненный путь окончат все участники событий – включая самого мемуариста; но... кто тогда напишет эти мемуары?!»

В заключение выражаю сердечную признательность Е.Е. Захарову, взвалившему на себя многообразные заботы по изданию этой книги. То, что она выходит в свет на родине поэта – для меня огромная радость.

*Феликс Рахлин
Город Афула,
долина Изреельская,
Израиль.*

I. «С ЧЕГО МНЕ НАЧАТЬ И С ЧЕГО ПОДСТУПИТЬСЯ ?..»

Осень победоносного сорок пятого, разбитый войною Харьков. Моя старшая сестра Марлена – на втором курсе филологического факультета в университете, я – семиклассник мужской школы, родители служат в проектном институте «Гипросталь», расположившемся в Госпроме – огромном административном здании конструктивистской кладки конца 20-х годов. Здесь, за Госпромом, в те же годы построен большой жилой массив, и каждый из составивших его домов наделен каким-нибудь советским названием: «Профработник», «Военвед», «Пять – за три» (то есть «Пятилетку – за три года!»), «Новый быт»... Мы живем в гигантском, почти на триста квартир, «Красном промышленнике», на шестом этаже, под плоской бетонированной крышей – «солярием». Занимаем две маленькие комнаты, а в третьей – соседи. После освобождения Харькова в первые две-три зимы центральное отопление не работало, мы жили зимой все четверо в одной из наших комнатенок, другую превратив в холодильник. «Солярий» над нами, – утопическая затея советских строителей (мыслилось, что на нем будут загорать после вдохновенного трудового дня счастливые пролетарии), – сляпанный из плохих материалов неумелыми руками, тек в три ручья (позже вместо него возведут обычную железную кровлю), и полпотолка в нашей зимней берлоге были сизо-зеленые от затека... Посреди этой берлоги красовалась чугунная печка, труба которой была выведена в окно. При растопке печь, которую, в память гражданской войны, называли «буржуйкой», нещадно дымила, от этого, да еще от керосиновой коптилки, при свете которой мы ели, читали, делали уроки, стены были черные, на них можно было писать пальцем (что я и делал, по неразумию своих – немалых уже – тридцати-четыренадцати мальчишеских лет).

И вот в эту-то квартиру как-то раз, поздней осенью, к сестре приходит гость – высокий белокурый парень, о котором мы в семье уже немало от нее наслышаны.

...По обыкновению своего открытого, подельчивого характера Марленка много рассказывает нам о людях, с которыми общается и в университете, и в литературной студии. Уже несколько лет она всерьез сочиняет стихи, и ее знакомые – тоже люди, как правило, пишу-

щие. Во время войны она была потрясена героической поэмой Маргариты Алигер «Зоя», теперь интенсивно осваивает творчество Анны Ахматовой – не только чтением, но и испытанным путем подражательства. А еще – в нашем доме с некоторых пор звучит смешная фамилия Пастернак. Об этом поэте нам уши прожужжал конфетной красоты юноша по фамилии Цимеринов, а по имени – тоже Борис (или, по домашнему, Буся). Прошлой зимой он было зачастил к сестре – и просиживал у нас целыми вечерами. Обычно, когда не было гостей, мы, натопив буржуйку докрасна, спешили, пока комната не остыла, забраться поскорей под одеяла, а ко мне в постель повадилась залазить наш рыжий кот Филька, с которым мы друг друга согрели. Но, разумеется, в присутствии Буси Цимеринова это все откладывалось. Мы все четверо, а гость – пятый, сидели вокруг стола, посреди которого тускло светила коптилка, влюбленный в своего знаменитого тезку Буся цитировал его стихи, и весь вечер в комнате только и звучало: «Пастернак-Пастернак». Мы клевали носом, печурка быстро остывала, становилось холодно, однако мы не решились намекнуть патриоту русской поэзии, что пора бы и честь знать. Больше всех страдал кот, но и он молчал – должно быть, из деликатности. А, может, от гордости.

Помню, прибежал однажды Буся особенно взволнованный:

– Марлена, придумай буквальную рифму к слову «Англия»! Ага, не получается?! А я придумал: «Англия – шланг ли я?»!

– Ну, как ты можешь в этом сомневаться? – сказала озорная Марленка...

Папа говорил о Бусе, что тот ведет себя, как слон в посудной лавке. Но говорил это с симпатией, добродушно, – должно быть, потому, что и сам смолоду любил и сочинял стихи. В годы комсомольской юности он дружил с Михаилом Голодным – тем, кто позже напишет песню про матроса-партизана Железняка, который «шел на Одессу», а «вышел – к Херсону». Был знаком и с Михаилом Светловым, увлекался Александром Безыменским и вдвоем с мамой, красиво вторя ей, пел его песню «Молодая гвардия». Он и сам придумал вскоре после гражданской войны песенку студентов «Артемовки» – харьковского «комвуза»: «Нам, артемовцам, учиться Революцию творить!» Впрочем, и папа, и мама, подобно матросу Железняку, тоже пришли не туда, куда направлялись: их в 1936 году вычистили из любимой партии: папу – якобы за троцкизм, маму – якобы за зинovieвщину, так что у обоих в партийной анкете осталось по *пятну*, и, чтобы *смыть* его, они теперь, вот уже девятый год, честно трудились в учреждении. И очень боялись, с самого 1937-го, как бы их не замели в тюрьму или лагерь, – им слишком хорошо известна была истина, закрепленная в песенке того же сорок пятого года: «В нашей жизни всякое бывает!»

Марленины литературные опыты и успехи они принимали близко к сердцу. Радовались, что ее ценят и хвалят харьковские литераторы: критик Григорий Гельфандбейн (о котором у нас в семье говорили, что этой его еврейской фамилии хватило бы на три, – еврейские же...), поэты Лев Галкин, Марк Черняков, Игорь Муратов, а в Киеве – «старейшина русских поэтов Украины» Николай Ушаков. Стихами ее (а я свидетель, что и не только стихами: она была прехорошенькая девушка!) увлекались и разные литературные юноши – не только Буся Цимеринов, но и будущий украинский поэт Юрий Герасименко, приносивший ей из своего тихого дворика на берегу тухлой речушки Лопани охапки свеженаломанной сирени, и студент одного из технических вузов Эна (Энерг!) Шелехов, начинающий прозаик, о котором я придумал шутку, что он есть помесь Шолохова с Мелеховым, еще – некий Миша Клецерман – молчаливый и скромный, но, тем не менее, тоже что-то писавший. Приходил и Марк Айзенштадт – свежедемобилизованный пехотный офицер в длинной, до пят, кавалерийской шинели, очень свойский, уверенный в себе – и всегда с каким-нибудь увлекательным и невероятным рассказом из жизни.

...Болтушка Марленочка нам, бывало, все уши прожужжит, рассказывая о своих литературных встречах. Вот и сейчас, первой послевоенной осенью, стрекочет какую-то непривычную и смешную фамилию: Чичибабин. Это, оказывается, псевдоним их первокурсника, Бориса Полушина – он учится вместе с Марком Айзенштадтом, тоже пишет стихи, притом – замечательные, и ходит в «Лит», то есть в лит-студию. Через какое-то время, видимо, протянулись между ними лирические нити, потому что ее старшая подруга, Оля Семашко, придумала и поет о ней вот такую песенку:

Жаль Бориса, Эну, Мишу,
Поженяшу, Цимеришу,
Гельфандбейна дядю Гришу –
Все-е-е-х жаль!
Кто же бу-дет мой ха-халь?

И вот вопрос, по-видимому, решен: «хахаль» определен, и, как видно, всерьез и надолго. Вчерашний солдат, он уже учился до войны на первом курсе, но почему-то вынужден пройти его повторно.

Хорошо помню первый вечер с новым гостем. Учтя горькие уроки Буси Цимеринова, она увела Бориса Чичибабина на кухню – благо, соседи рано легли спать. Из-за прикрытой двери доносились оживленные голоса, стихи – и, конечно, опять все то же: «Пастернак-Пастернак».

С того дня в течение всей зимы, весны и части лета он почти ежедневно являлся к нам в дом и проводил в нем время с утра и до вечера. Их роман протекал на виду у нашей семьи, они не делали тайны

из своих отношений – да и нечего было скрывать. Конечно, как это часто бывает, молва забежала вперед, да они с нею не слишком считались. Дело явно и открыто шло к свадьбе.

По-моему, романтическая история Бориса и Марлены во многом предопределила последующий опыт любовной лирики Чичибабина. Некоторые из его стихотворений, обращенные к предмету юношеской любви, затем были напечатаны без указания адресата. Но я-то знаю его! Например, такое (привожу по памяти – так, как оно запомнилось по 1945-му году: позднее, при публикации в книжке, автор внес небольшие изменения):

И не видимся-то мы по часту,
и знакомы-то мы едва,
а уже без Вас – одиночество,
и хорошее все – от Вас!

Меня так поразило это куртуазное «Вы», редкое уже тогда в обращении молодых сверстников. Однако события стремительно развивались, и вскоре он писал:

Имя твое – название звезды.
А ты смешься, и ты – со мною.
Белая вьюга в лугах свистит...
Что я скажу про счастье земное?

В публикации первая строчка выглядит иначе:

В ресницах твоих – две синих звезды...

Может быть, автор нарочно оторвал это любовное послание от начального адресата – голубоглазых женщин много, а вот имя, напоминающее, словно по Блоку, имя звезды... Очевидно, чугуевский парубок еще не знал, что мою сестренку «шибко партийные» родители назвали в честь сразу Маркса и Ленина. (А меня – в честь «железного Феликса»).

Заканчивалось стихотворение таким четверостишием:

Имя твое – название звезды,
будущего отдаленные вести...
Странно мне называть Вас – «ты»
и целовать в голубом подъезде...

Первые две строчки в этой строфе, опять-таки, при публикации изменены, а последние – остались. Ну, кто способен объяснить, откуда взялся тут «голубой подъезд»? Неужто эстетский изыск, формалистическая красивость, как в «поэзах» Северянина? – Ничуть не бывало: налицо точная реалья времени! В нашем первом подъезде дома «Красный промышленник», на первом этаже, над входом в попадающую аммиаком светокопировальную мастерскую, еще с военных лет висела синяя маскировочная лампочка.

Вот, по слову Ахматовой, «из какого сора растут стихи» настоящего Поэта!

Читатель этих записок вправе спросить: как это я так все запомнил (подумать только!) с сорок пятого года? Да притом – в таких подробностях? Я мог бы в ответ рассказать о странных особенностях моей памяти: например, в ней четко сохранилось ленинградское утро 2-го декабря 1934 года, когда мои родители слушали по радио сообщение об убийстве Кирова (мне было ТРИ С ПОЛОВИНОЙ года!). Но в данном случае дело проще: не надо забывать, что ко времени студенческого романа моей сестренки я, как все 14-летние подростки, испытывал сильнейший интерес к сфере любовных отношений и к романтической стороне жизни вообще. А потому, имея старшую сестру, лез без спроса в ее дела и бумаги, путался под ногами у юной парочки, «возникал», где не надо, в самый неподходящий момент, за что и заслужил у них прозвище чеховского «злого мальчика». Нет, я не подслушивал и не подглядывал – чего не было, того не было, да на крохотной жилплощади такое просто было бы избыточно! – но в стихи, а затем в переписку совал-таки свой любопытный нос. Теперь каюсь – но не очень: именно благодаря своей тогдашней пубертатной³ нескромности могу впервые ввести в литературный оборот некоторые строки и даже стихи раннего Чичибабина. В том числе из цикла «Зимняя сказка».

У Бориса в молодости была манера себя «издавать», то есть выпускать (в единственном экземпляре!) рукописные сборнички собственных стихов. Это были, чаще всего, школьные тетрадки с наполовину обрезанными краями, благодаря чему они приобретали вид узеньких буклетов. На этих страничках четким, изумительно красивым, неповторимо своеобразным его почерком, без единой помарки или поправки, ровным столбиком – по тонкой карандашной вертикали, которую он потом обычно стирал, – были переписаны его стихи. Где-то я читал предположение одного литератора, что этот почерк выработался у Бориса в лагере – уже не помню, как автор⁴ объяснял свой вздор. Нет-нет, эти прямые, высокие, словно набранные на машине литеры – почерк поэта. Оказывается, вовсе не обязательна обратная пропорция между силой таланта и красотой почерка. – Вопреки расхожему мнению, что чем человек гениальнее, тем гаже, грязнее и корявее его рукопись, Борис писал, как какой-нибудь Акакий Акакиевич, и вообще был щепетильно аккуратен. Каждый его сборничек был снабжен титульным листом, на котором, по всем

³ Пубертатный (букв. – прыщавый) – термин в медицине и педагогике, обозначающий период отрочества, полового созревания.

⁴ Мне подсказали, что это была Л.К. Чуковская. Что ж, и боги ошибаются...

правилам издательского дела, указывались фамилия автора, название сборника или цикла, место и год «издания». Это был типичный «сам-издат», хотя термина такого в то время еще, кажется, не существовало.

Одна из таких тетрадок-книжечек называлась «Вкус простого хлеба». В предисловии автор пояснял, отчего выбрал такое название: эти стихи – мое детище, – писал он, – как хочу, так и назову.

Еще был сборник «Чабрец» – со стихами, относившимися ко времени его солдатской службы в частях Закавказского фронта.

В ту зиму, о которой я сейчас рассказываю, появилась новая его «книжечка» – «Зимняя сказка»: цикл, посвященный Марлене⁵. Два стихотворения оттуда я уже процитировал, о других постараюсь рассказать подробнее, потому что они, насколько знаю, не печатались. Может быть, автор не считал их достойными опубликования? Но ведь бывает и ошибочная, заниженная самооценка. Например, Лермонтов не включил в свои прижизненные сборники... «Парус»!

Еще раз оговорюсь: цитирую по памяти. Рукопись этого цикла сохранилась у сестры и была ею передана для какой-то харьковской литературной выставки памяти Б. Чичибабина.

Там были стихи, напоминавшие Блока – то ли «Снежную маску», то ли «Двенадцать»:

За окном – снежок.
Ветер. Свежо.
Ходит по полю метель.
Да в <сплошном?> серебре.
Это – хмель.
Это – бред.
Это – сказка зимняя,
Это – прихоть выюги.
В драгоценном инее
Волосы подруги.
Разве наших уст вина?
Разве обвиню их,
Что сливались чувственно
В <пылких?> поцелуях?
Так целуй жарко,
Так целуй безбоязно:
Чего тебе жалко?
Чего тебе совестно?

⁵ В вышедшей недавно Марлениной новой книжке «Потерявшиеся стихи» (Харьков, изд-во «Фолио», 1996, 176 с.) впервые опубликован ее «ответный» цикл 1945 г. – «Эта зима», а, кроме того, еще ряд стихотворений, посвященных Б. Чичибабину. Вообще же, их поэтическая переключка продолжалась 50 лет – подробнее об этом см. в главе «Марленочка, не надо плакать...» (стр. 162 – 177 этих записок).

А вот еще начало стихотворения:

С чего мне начать – и с чего подступиться?
С того ль, что в декабрьскую стужу беда –
влюбить? С того ль, что <волшебною?> птицей
<болтливый?> мороз на заре щебетал?
С того ль, что прозрачные, звонкие латы
надели деревья? С того ль, что сама
в тот вечер в серебряном пепле была ты –
Снегурочка, Сказка, Царевна-Зима?
.....

Но особенно полно запомнилось стихотворение, которое 6 июня 1995 года на благотворительном вечере памяти Чичибабина, состоявшемся в Иерусалиме, читала подружка школьных лет моих, Рената Муха. Она рассказала, что – с моей подачи – помнит эти строки еще со школьной скамьи:

Ну, расскажи, ну, каково тебе,
что с камнем шепчется капель?
Не о тебе ль вздыхает оттепель,
и дождь шумит – не о тебе ль?
Ну, каково тебе, что в лепете
тумана, влаги и тепла
сугробы плещутся, как лебеди,
и в ночь оттаивает мгла?
Скажи сама: чем очарована
зима?

Зачем, скажи сама,
впотьмах под март замаскированный,
декабрь, сводящий всех с ума?
Зачем весной пахнут улицы,
и ходят слухи о ворах,
и безнаказанно целуются
во всех подъездах и дворах?
...Мне не в чем лгать,
и не в чем каяться
и горечь не с чего срывать,
и в строки странные слагаются
мои случайные слова...

Эта колдовская звукопись оттепели, этот высокий любовный бред скрадывали собою действительно «случайные слова», некоторые издержки поэтической неопытности и так отчаянно мне нравились, что я, когда чуть подрос, да и много позднее, не мог не читать их вслух при каждом удобном и неудобном случае.

Цикл пополнялся, и к лету всем стало ясно, что завершится он... «Эпиталамой Гименея!»! Времена были, в некотором смысле, чопор-

ные: «безнаказанно целующихся» можно было встретить в «подъездах и дворах» разве что случайно (даже влюбленные опасались «черной кошки», которую братья Вайнеры отнюдь не просто так выдумали: «слухи о ворах» ходили не напрасно – и не только в Москве...) Пора прилюдных объятий наступила лишь где-то в середине пятидесятых – с «оттепелью», с некоторой общей либерализацией жизни. Представьте же себе мое удивление, когда однажды вечером, возвращаясь домой по оживленной улице, я увидел Бориса, вышагивающего по тротуару – с Марленкой на руках!

Он приходил в наш дом буквально каждое утро – и оставался в нем до вечера. Они вместе читали, как-то умудрились даже к зачетам готовиться совместно, хотя учились на разных курсах. Вслух и всерьез обсуждался план: Борис сдаст экстерном за второй курс, чтобы вместе учиться и одновременно получить дипломы.

Не помню их в какой-либо компании – за единственным исключением: иногда он являлся к нам вдвоем с чугуевским приятелем Жорой Семеновым – чернявым полноватым парнем в военной гимнастерке. Жора приводил приятельницу – десятиклассницу из женской школы, располагавшейся в нашем доме вдоль всего первого этажа. Она мне сильно не нравилась тем, что красила губы и курила, а, кроме того, Жора однажды посадил ее к себе на колени. Боже, какой разврат!

Проводя у нас дни напролет, Борис, естественно, садился за общий стол. «Естественно», я сказал? Но ведь это было в голодный послевоенный год, при карточной системе. Гостя в 1995 году в Харькове, я спросил у сестры: как же все устраивалось? Она объяснила: Борис всегда старался припасти к общей трапезе какие-нибудь продукты, которыми снабжали его домашние. В то время я постоянно испытывал дикий голод, никогда не мог насытиться и порой, плотно пообедав, шел под каким-либо предлогом к жившей по соседству тетке, сестре отца, муж которой занимал профессорскую кафедру, и потому их семья жила несколько сытнее нашей. Я ходил к ним не без некоторой надежды на еще один обед и, как правило, его получал. Если бы мне предложили пообедать в третий раз, я бы и от этого не отказался!

Стыдясь своей прожорливости, я дома за столом способен был, тем не менее, всех объесть – и, безусловно, так бы оно и было, если бы мама меня постоянно и резко не одергивала. Но Борис неизменно заступался:

– Блюма Абрамовна! – рокотал он своей обычной захлебывающейся скороговоркой. – Ну, что вы от него хотите: растущий мальчик!

Под нашим балконом (а жили мы на шестом этаже) то и дело, утром и вечером, слышался его громкий голос:

– Мар-ле-на!!!

И, если она была дома, то или он шел к нам, или она спускалась к нему, и они отправлялись вместе на факультет, в Союз писателей – в «Лит» – или гулять...

Родители наши привыкли к нему и относились с теплотой и симпатией, а он к ним – с большим уважением. Словом, он становился в семье своим человеком, признанным женихом. И Бог знает, как сложиться бы их дальнейшей судьбе, если бы дьявол в образе МГБ не сыграл на трубе...

II. «ГЛУХО ИМЯ ЧИЧИБАБИН...»

Человек, известный читающему по-русски миру как Борис Чичибабин, родился 9 января 1923 года в Кременчуге. Его мать, Наталья Николаевна, была родной племянницей выдающегося русского химика-органика Алексея Евгеньевича Чичибабина, которому Борис приходился, таким образом, тоже племянником, только внучатым. Действительный член Академии Наук СССР стал одним из первых советских невозвращенцев, что, конечно, по советским свычаям-обычаям, бросало тень на всю его родню. Впрочем, по линии мамы родня поэта была, с точки зрения советских властей, вообще довольно компрометантная: по данным полтавского архивиста В. Коротенко, дед Бориса, Николай Евгеньевич, служил в 1916 году помощником кременчугского полицмейстера – в советское время его судьба не могла сложиться гладко⁶. Не отголоском ли этого факта звучат строчки, опубликованные в последней прижизненной книге поэта «Цветение картошки»: строчки о стране,

...где судеб миллионы бросались, как камушки в небо,
где черная жижа все жизни в себя засосет,
где плакала мама о дедушке, канувшем в небыль,
и прятала слезы, чтоб их не увидел сексот...

Наталья Николаевна, по профессии медсестра, примерно через год после рождения сына вышла замуж за Алексея Ефимовича Полушина, от которого родила дочь Лиду – думаю, года на два – на три младше Бориса (я видел ее в середине сороковых один или два раза – беленькую, улыбчивую...). Борис в молодости был к ней привязан и посвящал ей стихи. Лидия Алексеевна жива и по сей день – сентябрь 1995).

⁶ В «Приложениях» к кн. «Борис Чичибабин в статьях и воспоминаниях» [не его, а о нем!], Харьков, Фолио, с. 440 – помещен текст архивной справки о реабилитации Чичибабина Николая Евгеньевича. Из справки явствует, что дед поэта по материнской линии 4 октября 1938 г. на основе решения «Особой тройки» при УНКВД по Полтавской области был казнен – якобы «за участие в контрреволюционной военно-белогвардейской повстанческой организации».

А.Е. Полушин Бориса не только усыновил, но и передал ему свою фамилию, под которой тот учился в школе и вузе, служил в армии, был брошен в тюрьму и лагерь и затем, по возвращении, вел под нею всю свою обычную жизнь, – за исключением творческой, авторской (да и то однажды все-таки были под этой фамилией опубликованы его стихи).

Отчим трогательно, как родной отец, заботился о приемном сыне всю жизнь. Не только не отвернулся от него, когда Бориса посадили по пресловутой и компрометантной 58-й статье (а ведь полковник А.Е. Полушин был начальником штаба Чугуевского училища военных летчиков)⁷ – нет, он всячески помогал Борису в беде, слал посылки ему в лагерь, сам ездил туда на свидания и даже мою сестру брал с собою... А по освобождении отбывшего срок Бориса, который привез с собой молодую жену Клаву, полковник поселил их обоих на своей даче в пригородном поселке Высоком. Потом, когда Борис, расставшись с Клавой, на много лет соединил свою судьбу с сотрудницей по ЖЭКу паспортисткой Мотей, отчим на той же даче выделил для них небольшой жилой домик с участком сада... Никогда слова худого об этом человеке я от Бориса не слышал, – впрочем. Борис вообще о своей родне почти не говорил – по крайней мере, при мне. Тем не менее, мне известно по многим фактам, что родители нежно его любили, постоянно заботились о его здоровье, образовании, не оставили и в беде, когда он попал в неволю, а потом оказывали ему большую материальную поддержку.

Все-таки, надеюсь, позволительно высказать предположение, что семья была не в состоянии понять и оценить все значение таланта, выросшего и созревшего в ее собственных «недрах». Уж во всяком случае, погруженная в обычный советский быт, одержимая «нормальными» страстями будней «реального социализма», семья Полушиных не имела ни сил, ни готовности безропотно и вечно терпеть «чуждачества» своего неординарного отпрыска. Осуждать за это – несправедливо, сожалеть – бесполезно, понять – нетрудно.

Вот лишь один известный мне штрих. На даче Полушиных (и на участке Бориса) был большой фруктовый сад. Борис и Мотя щедро раздавали урожай своим друзьям – даже уговаривали приезжать к ним за яблоками, иначе излишки в огромном количестве придется зарывать в яму (и зарывали!). Отчим, будучи не поэтом, а чистым «прозаиком», т.е. нормальным советским отставником, значительную часть урожая возил на базар. А поэт – не хотел. Ни того, ни другого

⁷ Пересказанный в одном из мемуаров о Чичибабине слух, будто Борис родился «в семье офицера госбезопасности» – по меньшей мере, нелепая ошибка.

не берусь порицать. Но и полное взаимопонимание вряд ли было возможно между ними...

Не хочу строить догадки: почему он с ранних пор, еще с юношеских стихов, подписывал их по девичьей фамилии матери – ведь собственная, паспортная, была, как будто, более благозвучной. Вроде бы, есть в этом какая-то нестандартность, нерасчетливость. В самом деле, сколько неудобств причинил он этим своим странным выбором исследователям его творчества: как им, скажите, называться? Есть пушкинисты, лермонтоведы, даже евшушенковеды, но – «чичибабиноведы»?! Вряд ли кому-нибудь улыбнется перспектива присоединить сей «титул» к своей фамилии. (Правда, кто-то из его друзей придумал для обозначения его поклонников и почитателей еще более звучный термин: «чичибабники»!)

И все же, по большому счету, в таком оригинальном выборе псевдонима обнаруживаешь своеобразное психологическое чутье: предпочтение оказано фамилии не заурядной, а особенной, непривычной. Бог с ней, и с посмертной славой, но никто, раз услышав эту колючую кличку, уже ее не забудет. И притом она, при своем, возможно, тюркском происхождении, в то же время воспринимается как славянская, да ведь и сам Чичибабин – ярко русский поэт.

Все-таки мне не давала покоя мысль: а какова же была фамилия его кровного отца? Сестре моей он как-то эту фамилию назвал: Авдеев. Я это хорошо запомнил. И вот однажды, где-то в начале 80-х годов, на своей работе в заводской многотиражке знакомлюсь с мастером нашего подшипникового завода. Он принес в редакцию большое письмо-исповедь. Еще не спросив у автора его фамилию, отмечаю его большое сходство с Борисом: те же мохнатые брови, серые цепкие глаза, русые волосы. И чертами лица похожи – вполне могли бы выдать себя за братьев. Тут я заглянул в конец его письма – там подпись: **АВДЕЕВ!**

Вот тебе и на! Между прочим, в письме – воспоминания о детстве, о голодоморе начала тридцатых годов, о том, как к ним в хату (а было это в селе под Чугуевом), где хранилась торбочка с посевным зерном на весну, явился колхозный «активист» (столько ненависти было вложено в это слово письма!) – и отобрал у голодной семьи все до последнего зернышка... Наша встреча происходила еще до перестройки, напечатать письмо не было никакой возможности – оставалось лишь помалкивать, не подставить случайно автора под бдительное око шнырявшего по заводу уполномоченного КГБ. Но меня поразило, при внешнем портретном сходстве Авдеева с Борисом, то, что этот Павел Семенович – уроженец Чугуевщины, где и Борис с семьей жил много лет еще до войны... А до этого – в Рогани: тоже

ведь недалеко... Фантастическое предположение осенило меня, и я при встрече с Борисом спросил:

– Не знаешь ли ты случайно имени твоего кровного отца? – (Не Семен ли? – думалось мне).

– Знаю: Иван, – ответил Борис, и мой исследовательский энтузиазм опал и скис.

...Но ведь мог же у Ивана быть брат Семен?!

* * *

Как бы там ни было, а для биографов Чичибабина – задача (и, по-моему, не столь уж неразрешимая): установить личность его кровного отца. Ведь вот загадка: откуда в этой служилой провинциальной семье, никаким боком не причастной к художественному творчеству, такой самородок, такое чувствилище, столь тонкий лирический талант?⁸ Кое-что о его генеалогии мы узнаем из его стихов. Он отнюдь не считает себя чистокровным русаком:

У меня – такой уклон:
я на юге – россиянин,
а под северным сияньем
сразу делаюсь хохлом.

Среди его предков были украинцы:

С Украиной в крови, я живу на земле Украины
и, хоть русским зовусь, потому что по-русски пишу,
на лугах доброты, что ее тополями хранимы,
место есть моему шалашу.⁹

«Моя ты родина – лесостепь!» – восклицал он в другом стихотворении – и, действительно, любил эту свою малую родину не меньше, чем великую.

Мне доводилось читать его детские письма. Моя сестра приносила их домой вскоре после его ареста. Запомнился их неповторимый тон, – так писать мог только очень нервный, тонко чувствующий и ранимый, однако и ярко способный ребенок! То были письма из пионерского лагеря – по ним чувствуется широта интересов мальчика,

⁸ «Поэт не принадлежит ни роду, ни семье, ни клану – он принадлежит человечеству» – справедливо отмечает известный цветист Г.Горчаков. Родственные связи рядового обывателя – частное дело его семьи; генеалогия большого поэта приобретает огромный общественный интерес. Нам почему-то не безразлично, что И.А.Бунин был в родстве с В.А.Жуковским и оба являются потомками пленной турчанки, что среди предков Пушкина – и татарин Рача, и эфиоп Ибрагим, и русские бояре, что юдофоб Фет был сыном еврея... Вот и для меня оказалось невозможным пренебречь сведениями о биологическом отце нашего поэта.

его увлеченность чтением. Вот и еще задача для биографов: попытаться эти письма разыскать.

Семьи военных нередко вынуждены менять место жительства. Полушины не составляли исключения. Как сообщила мне сестра поэта, Л.А. Гревизирская (Полушина), детские годы Бориса проходили и в Рогани (под Харьковом), и в Кировограде, и в Батайске, Ростовской области, и еще в ряде мест. Но подростковый период и ранняя юность пришлось на годы жизни в Чугуеве.

Недавно в Харькове, в журнале прозы «Темные аллеи» (№2-3, 1996), опубликованы воспоминания однокашника Бориса по чугуевской школе – почетного краеведа Н. Коржа. Из них узнаем: семья Полушиных переехала в Чугуев летом 1935 года. Но в сентябре в школу 12-летний Борис не явился: в результате несчастного случая мальчик ожег кислотой правую руку и должен был сидеть дома, пока она не заживет. Чтобы он не отстал от класса, отчим попросил с ним позаниматься одного из школьных учителей литературы – это был Георгий Вильгельмович Брезинский, которого позже (может быть, в 1937 году) арестовали. Нет сомнений, что это должно было произвести на глубоко эмоционального нервного подростка неизгладимое впечатление. Школьным его учителем по литературе был Сергей Илларионович Залесский. А самым отъявленным хулиганом в округе – будущий секретарь Орджоникидзевого райкома, а затем и Харьковского обкома партии Иван Соколов.

Мнимый (но, может быть, все-таки истинный? Уж так похож!) «брат» Бориса – П.С. Авдеев потом, вскоре по смерти этого чинуши, именем которого нарекли одну из улиц в поселке Тракторного завода, говорил мне возмущенно:

– Ну, как же это так?! Ведь мы в поселке ХТЗ жили рядом – он хулиган из хулиганов был, этот Ванька, а теперь его в святые произвели!

Хулиганом он предстает и в воспоминаниях чугуевского ровесника. Уж, наверно, те же примеры стояли и перед Борисом, когда он сравнивал судьбы своих сверстников. Среди соучениц по школе была и Ираида («Ирина», как ее чаще звали) Челомбитько, о которой Корж сообщает: примерно в одно время с Чичибабиным посадили и ее, Борис ей посвятил свое стихотворение «Словно старую книгу тревог и печали...» и называл ее «сестрою по судьбе». Оказывается (мы и это узнаем из бесценных записок краеведа), что уцелевшие одноклассники чугуевской школы устраивали встречи, в которых и поэт с удовольствием участвовал. Да, он настолько же искренне любил простых своих товарищей, насколько люто ненавидел «пузатых кесарей».

⁹ См. также стр. 180.

Так уж случилось, что будучи во всей своей яркой духовной сложности человеком исключительно цельным, Борис в течение жизни состоял как бы из двух разных людей: Чичибабина и Полушина. Уверен: многие из тех, кто знал его только как Полушина, и до сих пор понятия не имеют о Чичибабине. Примечательно, что бухгалтером он, по слухам, был великолепным. И когда после некоторого перерыва, связанного с попыткой профессионализации в писательстве, ему пришлось вернуться к прежним занятиям, на новой службе он пришелся ко двору, – там ему откровенно обрадовались. При всем том, счетные работники за труд свой получают не много, и он всю жизнь просидел на низкой зарплате. Да притом, еще и приходилось, в порядке аврала, к концу квартала или года принимать участие в облавах на трамвайно-троллейбусных зайцев. Великий поэт ходил по вагонам, повторяя: «Ваш билет? Ваш билет?» Один мой знакомый рассказывал, что надорванный Чичибабиным билетик хранит как дорогую реликвию.

...Надорвал билетик Полушин, а память – о Чичибабине. Авдеев же (биологический папа) напрочь забыт¹⁰.

¹⁰ Когда Борис родился, его матери было 18 лет. Об Авдееве известно лишь, что он был военнотружущим. Через несколько месяцев Наталья Николаевна с ним рассталась, а вскоре вышла замуж за А.Е.Полушина, который во всех отношениях заменил Борису родного отца. Тайну своего рождения поэт узнал случайно, когда ему было 19 лет. Кровный отец ребенком не интересовался и в его воспитании никак не участвовал. (Сведения из письма Л.А.Гревизирской-Полушиной к автору этой книги).

III. «ТЫ НЕ СПИ, ЗЕМЛЯК, НЕ СПИ, РАЗБЕРИСЬ, ЧЕМ ПИЧКАЮТ...»

Бориса арестовали в июне 1946-го – во время летней экзаменационной сессии. Обстоятельства его «дела» нигде не освещались и, полагаю, еще станут предметом внимания биографов. Для человека, не понаслышке знакомого с работой советских сыскных и карательных органов, в истории его ареста и осуждения есть нечто загадочное. Зачем, например, его увезли во время следствия из Харькова в Москву, где он сидел на Лубянке и в печально знаменитой Лефортовской тюрьме? (Между прочим, и в одной камере с пойманным в конце войны, в эмиграции, денкиным генералом Шкуро – вскоре после этого расстрелянным... Когда я как-то раз попросил Бориса рассказать об этом экзотическом сокамернике, он буркнул: «Абсолютно ничего интересного: обыкновенный старик. Матерщинник...»).

Почему, при невымышленном «составе преступления» (что в те годы – по крайней мере, в обвинениях по 58-й статье – встречалось довольно редко, а его куплеты «Мать моя посадница...» были, с позиций того времени, несомненной крамоллой), наказание последовало относительно «мягкое»: «всего лишь» пять лет лагеря – притом, лагеря общего режима, где были разрешены даже свидания с родными!? Почему, наконец, за «бесспорное преступление» его не судил обычный суд, а приговор вынесло внеконституционное «особое совещание» при министре госбезопасности?

На многие вопросы у меня нет не только ответа, но даже предположений. Сам Борис о тюрьме и лагере вспоминать не любил, на вопросы отвечал неохотно и односложно. Может быть, грядущий биограф возьмется за документальное изучение его «дела» по архивам КГБ. А пока не будем гадать – поведем речь лишь о том, что знаем.

Когда наступила перестройка, у Чичибабина приняли брать интервью. Задавали и вопрос: за что же он сидел? Борис отвечал примерно так:

– Да ни за что. Ну, может, что-то такое сказал «не так» – или написал...

И это, конечно, верный ответ. Но слишком общий. На самом деле все близкие и друзья связывали его арест с совершенно конкретным стихотворением – уже упомянутыми куплетами, перемежавшимися рефреном «Мать моя посадница!...»

И в лирике молодого Чичибабина, и в его творчестве зрелых лет была заметная политическая струя. Притом – резко критическая. Как и многим из его сверстников и современников, ему претили произвол, казенщина, бюрократизм, общественное разложение и коррупция, которые пышным цветом расцвели на исходе войны и особенно после победы. Расхожее мнение, будто «при Сталине был порядок» – не более чем миф. На фоне народных бедствий, жесточайших репрессий, голода и очередей жирело и раздувалось от самодовольства и безнаказанности всеозное безудержное хамство, ограниченное лишь установленной Кремлем иерархией прав на самоуправство. Если легитимация бандитизма может быть названа порядком – лишь тогда приведенная формула о «сталинском порядке» верна.

Критика такого «порядка» допускалась лишь в строго дозированном размере. Можно было «клеить» только пресловутые «неполадки в предпалатке», любое обобщение могло стоить чести, достоинства, а то и свободы. Именно в те дни, когда шло следствие по «делу Полушина», разразился идеологический погром, среди жертв которого оказались и сатирики: знаменитый Михаил Зощенко, харьковский остроумец Александр Хазин, а вместе с ними – все в советской литературе, что хоть немного могло претендовать на смелость и независимость. А вернее будет сказать, что «дело» юного поэта явилось частным случаем гигантской превентивной расправы.

Важно правильно понять корни критического настроения юного стихотворца. Его возмущение было основано на революционно-романтическом отношении к действительности. Отсюда такие, например, строчки, запомнившиеся с той поры:

Ходят в церковь, спят с офицерьем
и танцуют «линду» комсомолки.

«Линда» – вошедший в моду западный танец, модификация фокстрота, – по сравнению с роком, твистом, шейком, брейком и другими безумными плясками нынешних дней была образцом пуританской благопристойности, но в те времена многими воспринималась как символ разврата...

Обрушиваясь в другом стихотворении на всякого рода чинодролов, торгашей и тому подобный «чуждый элемент», он сокрушался, не заботясь о подборе пристойных выражений:

Нет на вас Маяковского, сволочи,
малафейная ваша душа!

Такое не слишком печатное определение (малафеей в русском просторечии называют сперму) он, читая стихотворение вслух и в обществе, заменял, в варианте «для дам», словом «нецензурная»...

На фоне этих настроений вполне естественным выглядели появившиеся крамольные куплеты «Мать моя посадница!» (это не название, а рефрен). Я никогда (кроме самого последнего времени) не видел их

на бумаге, но, тем не менее, значительную часть текста запомнил с отрочества, потому что неоднократно слышал их от Бориса в нашем доме.

Когда я однажды при нем упомянул «Посадницу» как причину его роковой «пятилетки», он не только не стал возражать, но даже (дело было в тесной компании друзей) с большим воодушевлением эти стихи прочитал наизусть, хотя с момента их создания прошло к тому времени лет двадцать или чуть больше.

Минули еще годы, настала перестройка, Бориса вновь начали печатать, и по какому-то поводу в письме к критику Татьяне Ивановой я привел эти стихи, – частично, насколько сам их знал. Иванова щедро процитировала письмо в своей статье для «Книжного обозрения», приведя и строки «Посадницы», и сообщение о том, что, вероятно, именно за эти стихи осудили Чичибабина. И он вновь не опроверг этого предположения, хотя за другую мою ошибку (неверно приведенную строчку) не преминул мне попенять.

Наконец, историю осуждения поэта я изложил (именно в связи с этим стихотворением) в своей статье. Экземпляр газеты, конечно же, послал Борису, после этого он поблагодарил меня в письме, затем мы встретились во время его визита в Израиль, но никаких возражений или замечаний не последовало.

Поэтому я считаю достаточно достоверным (хотя пока никак не документированным), что именно стилизованные под русскую скomorшью попевку стихи с рефреном «Мать моя посадница!», написанные не позднее 1946 года, стали роковым «криминалом», за который Борис Чичибабин пять лет своей молодости отдал сталинскому ГУЛАГу.

Замечательно интересно, что попевочки с таким рефреном прошли через всю жизнь Бориса – в двух совершенно иных (и разных!) авторских редакциях они были дважды же опубликованы им: один раз – в книге «Плывет Аврора» (Харьков, «Прапор», 1968), а вторично – в последнем прижизненном сборнике его стихов «Цветение картошки» («Московский рабочий», 1994). Но насколько это другие стихи, мы сейчас убедимся. А того первого, крамольного, текста поэт так и не опубликовал.

Решаюсь сделать это по хранящемуся у меня списку, подаренному Марленой – он гораздо полнее, нежели отрывки, опубликованные в моем письме к Татьяне Ивановой. Впрочем, может быть, и он неполон.

* * *

Что-то мне с недавних пор
на земле тоскуется.
Выйду утречком во двор,
поброжу по улицам,

погляжу со всех дорог,
не видать ли праздника.
Я – веселый скоморох,
мать моя посадница.

Ты не спи, земляк, не спи,
разберись, чем пичкают.
И стихи твои, и спирт –
пополам с водичкою.
Хватит пальцем колупать
в ухе или в заднице!
Подымайся, гольтьба,
мать моя посадница!

Не впервой нам выручать
нашу землю отчую.
Паразитов сгоряча
досыга попотчует:
бюрократ и офицер,
спекулянтка-жадница –
всех их купно на прицел,
мать моя посадница!

Пропечи страну дотла,
песня-поножовщина,
чтоб на землю не пришла
новая ежовщина!
Гой ты, мачеха-Москва,
всех обид рассадница:
головой об асфальт,
мать моя посадница!

А расправимся с жульем,
как нам сердцем велено,
то-то ладно заживем
по заветам Ленина!
Я б и жизнь свою отдал
в честь такого праздника,
только будет ли когда,
мать моя посадница?!

В восприятии людей того времени это был, конечно же, призыв к народному бунту, с отчетливым антимосковским, антиправительственным акцентом, с выпадами против традиций чекизма, – призыв к расправе с «жульем» (так ведь и сказано!), к возвращению пресловутых «ленинских норм» (а ведь господствовало утверждение, что «Сталин – это Ленин сегодня», что мечта Ильича воплотилась в сталинской державе). Значит, в стихах легко можно было услышать антисталинские нотки. Прославление поножовщины. Пропаганду тер-

рора. И Бог весть, чего только еще не могли напести ретивые следователи. В сталинские времена терроризм видели даже там, где на него не было и намека. А тут был не просто намек, а – «призыв».

Но, как мне кажется, автор и сам не сознавал всей опасности последствий, всего смысла собственных стихов. В них было много молодой игры: в «декабризм», в «народовольчество», в «большевизм» – во все, о чем читал и на чем воспитывался недавний советский школьник и юный советский читатель. По его разумению, поэт должен «клеить пороки общества», как это делали Некрасов и Маяковский, а о последствиях думать, скорее всего, не хотелось. Иначе – разве стал бы он читать свои «возмутительные» куплеты везде, где только придется: в квартирах друзей и знакомых, в коридоре филфака, в союзе советских писателей и чуть ли не на площадке трамвая!

Сразу же после ареста и в течение следующих десятилетий ходили слухи о том, что на поэта донесли, и даже назывались имена конкретных «доносчиков». Не имеет ни малейшего смысла, да и просто непорядочно оглашать список подозреваемых – авось когда-нибудь из архивных омутов КГБ всплывет подлинное имя иуды. Но, возможно, бравые органы и без доноса обошлись. Дело в том, что, как вспоминает Марлена, аресту Бориса предшествовал вызов его к следователю по уголовному делу: юношу заподозрили в причастности к называвшей себя «рыцарями удачи» уголовной компании, будто бы организованной приятелем Бориса Жорой Семеновым. Причастность Полушина к этому делу не подтвердилась, но у него все же произвели обыск, во время которого и были обнаружены крамольные стихи. Они были переданы «по принадлежности» в МГБ, которое и арестовало автора¹¹.

Возможно, что и кроме «Посадницы» были у него «неправильные» произведения. Живущий ныне (ноябрь 1997 года) в г. Нацерет-Илит (Верхнем Назарете) и уже упомянутый мною писатель Марк Азов (Айзенштадт), бывший соученик Бориса, рассказал, что, по слухам, у арестованного поэта нашли стихи с такими строчками:

Как я счастлив, что повсюду
поразвешаны вожди!

Одних этих двух строчек было вполне достаточно, чтобы «схлопотать срок».

Однако «Мать-посадница» – это был не слух, а реально существовавшие стихи. Как уже было сказано, он пронес их через всю жизнь и некоторыми строчками, а также рефреном, воспользовался для двух

¹¹ Согласно уточнению моей сестры, обыска, возможно, не было, а текст стихотворения воспроизвел сам Борис по требованию следователя.

последующих редакций песенки, которые уместно будет привести здесь для сравнения с первой, публикуемой впервые.¹²

Книга «Плывет «Аврора» (издательство «Прапор», Харьков, 1968) была последней в ряду четырех вышедших после «оттепели» чичибабинских книжек – и самой слабой из них. В результате все возрастающего цензурно-редакторского гнета она была буквально наспигована барабанно-патриотической трескотней, в которой совершенно потонули отдельные стоящие строки. Но, может быть, именно ради них автор пошел на столь существенные жертвы. Для того чтобы протащить через цензурные рогатки некоторые особенно дорогие для него стихи, он спрятал их среди других, «проходных». Например, созданное еще в середине сороковых годов «Смутное время», воспринимавшееся тогда как прозрачная аллегория (о нем еще будет рассказано). Это стихотворение Борис поместил внутри специально написанного им «тетраптиха» под названием «Былое и грядущее». Даже при таком ухищрении понадобилось снабдить рискованное стихотворение отвлекающей концовкой. А одну из обрамляющих его «створок» тетраптиха он написал как вариацию своей отсидочной песенки:

* * *

От пожаров кумачов
русский воздух на ночь.
Будь здоров, Пугачев
Емельян Иваныч!
Голова его черна.
Взору девки ахали.
Рядом с ним – во чинах
кузнцы да пахари.
То-то жару барам даст,
как на трон усядется,
казачина-борода,
мать моя посадница!
Ты Россию зря не хай,
нам Россия гожа,
но почто одним – меха,
а другим – рогожа?
Наше дело – сторона?
Ничего подобного.
Бей тревогу, старина,
у людей под окнами!
Вся держава голуба
от лихого праздника.
Поднимайся, гольтыба,

¹² Если не считать подготовленной мною же публикации в еженедельнике «Начало» при газете «Новости недели», Тель-Авив, 23 января 1997 г.

мать моя посадница!
Восводам воем выть
на его порожек,
а дружкам веревки вить
для друзей хороших.
Ты их пакости усвой,
как усвоил я их.
Коль ударят под Москвой,
отойдем на Яик.
Прут на нас пятьсот полков –
видно, опасаются.
Обложили, как волков,
мать моя посадница!
Как же это так, казак?
Что ж такое, други?..
Помутилось в глазах,
опустились руки...
А ведь было, Емельян:
брала грады вольница.
Да послали на мирян
все царево воинство.
Вссм сидеть в одном ряду.
Слава делом катится.
Ты покличь мсня – приду,
мать моя посадница.

Кому из читателей могло прийти в голову, что в этих «исторических» стихах закодирован некий злободневный политический смысл? Между тем, даже в такой адаптации он был: слова про меха и рогажу... Но так глубоко была запрятана автором его заветная мысль, что ее никто и не заметил. Даже сверхбдительные редакторы! Книжка не состоялась, поэта-бунтаря читатель быстро забывал.

Но не забыл сам поэт своей излюбленной темы. На исходе лет, в последнем прижизненном сборнике своих стихов, опубликовал он стихотворение под красноречивым названием: «Песенка на все времена» (в кн.: «Цветение картошки», издательство «Московский рабочий», 1994). Уже один этот заголовок недвусмысленно указывает на сознательное использование Чичибабиным найденного в молодости крамольного скоморошьего алгоритма. В новых условиях, в годы – скажем не обинуясь – реставрации буржуазных отношений, голосом юного скомороха провозглашает клятый-мятый, но не сдавшийся народный песельник свои заветные донкишотские максимы:

Жизнь наставшую не хай –
нам любая гожа,
но почто одним меха,
а другим – рогожа?

Не забыт и первый вариант «песенки» – теперь она начинается так же, как и тогда, в 46-м:

Что-то мне с недавних пор
на душе тоскуется...

(Ой ли – с «недавних»? Уж мы-то с вами помним, с каких!).

Выйду утречком во двор,
поброжу по улицам,
погляжу со всех дорог,
как свобода дразнится...

(Последняя строчка – насчет дразнящей перестройки).

...Я у мира скоморох,
мать моя посадница.

Протест против имущественного неравенства, против контраста между несправедливым богатством и незаслуженной, унижительной нищетой переходил из одного варианта «песенки» в другой – мне кажется, слова про «меха» и «рогожу» были и в первой редакции. В последнюю же внесены некоторые уточнения, поправки на изменившиеся реалии. Ну, например:

Может, где-то на луне
знает Заратустра,
почему по всей стране
на прилавках пусто,
ну, а если что и есть,
так цена кусается.
Где ж она, благая весть,
мать моя посадница?

Разумеется, это могло быть писано только в 1990 году – ни в 1946, ни, тем более, в 1968 такое появиться из-под его пера не могло. Читатель, впрочем, видит, что попытки трижды войти в одну и ту же реку не оказались плодотворными. Кого, в самом деле, тронет такая сентенция (из последнего варианта «песенки»):

Нам пахать еще, пахать,
и не завтра – пятница.
Все другое – чепуха,
мать моя посадница!

И все-таки цепочка «песенок», прошедшая через всю горемычную жизнь поэта, верность прокламированным в них гуманным принципам справедливости, пронесенная с ранней юности до кончины, – явление трогательное и глубоко поучительное. Как бы ни относиться к этим наивным идеям, история «Песенки на все времена» позволяет лучше понять и оценить мятущуюся, истинно человеческую душу поэта, глубинную причину его мученической судьбы.

IV. «КРАСНЫЕ ПОМИДОРЫ КУШАЙТЕ БЕЗ МЕНЯ...»

Арест Бориса громом среди ясного неба отозвался в двух семьях: его – и нашей. До этого мы с ними вовсе не общались – разве что он знакомил Марлену с матерью, отчимом и сестрой, да и то не уверен. Теперь Марлена зачастила к ним – этого потребовали совместные хлопоты о его дальнейшей участи, потом – о поездках к нему...

По крайней мере, один раз приходила к нам мать Бориса – Наталья Николаевна. Однако это было несколько позже – когда он был уже в лагере. А в те первые дни после ареста...

Помню горькие слезы, тяжкие рыдания сестры. На нее было страшно смотреть. Целыми днями лежала она, уткнувшись в подушку, на своей узкой солдатской койке (наша мебель вполне соответствовала послебеженскому быту), и плечи ее содрогались от рыданий. Временами, однако, вдруг подхватывалась, куда-то бежала, но возвращалась в еще более истерзанном виде – и опять слезы, слезы... Потом я узнал, что она бегала в МГБ – пыталась доказать, что Борис на самом деле «честный комсомолец», показывала им какие-то его благонадежные стихи... Разумеется, это не помогло.

Кажется, в Лефортовском следственном изоляторе, а, может быть, и на Лубянке сложил он стихи, без малейшего преувеличения, обесмертившие его имя. Это стихи о «красных помидорах», о горькой участи юного узника, отторгнутого жестокой машиной государства от близких, от любимой, от молодости, счастья, книг, науки – а, может быть, и от самой жизни. И все это вместилось в 16 строчек стихотворного текста, основанного на тончайших ассоциациях.

Думаю, созданы стихи были в августе – сентябре. Любое истинно поэтическое произведение воздействует на читателя или слушателя уже одной лишь силой заключенной в нем поэзии. Но чем больше знаешь об обстоятельствах его создания, тем лучше понимаешь тонкости. Юношу забрали в тюрьму со студенческой скамьи, с первого курса филфака, то есть как раз после усиленных штудий над древнерусской литературой, в которой центральное место занимало «Слово о полку Игореве» с его мистическим рассказом о княжеской беде, об оставленной в Путивле Ярославне, горько плачущей по единственному «ладе», угодившему во вражий полон. Дни напролет томится вчерашний студент в тесных стенах казенного дома – и, конечно же,

на ум приходит аналогия с сюжетом «Слова». Он вспоминает и о притихших в каникулярную пору школьных коридорах, умолкших школьных звонках, и о других коридорах – тех нескончаемых переходах и лестничных маршах, которыми каждый вечер водят его на всю ночь вертухаи к следователям-мучителям, и о жульнических протоколах допросов... А ведь есть где-то воля, и созрели на далекой Украине багровые помидоры. Но он теперь не имеет никакого отношения к этому простому празднику жизни... Все это читатель если и не осмысливает, то ощущает за кадром чичибабинской миниатюры, в которой соединились тончайший лиризм и драматическая напряженность:

Кончусь? Останусь жив ли?
Чем зарастет провал?
В Игорском Путивле
выгорела трава.
Школьные коридоры
тихие, не звенят.
Красные помидоры
кушайте без меня.
Как я дожил до прозы
с горькою головой?
Вечером на допросы
водит меня конвой.
Лестницы. Коридоры.
Хитрые письма.
Красные помидоры
кушайте без меня.

Образный строй совершенного произведения поистине неисчерпаем. Недавно в заметке, написанной одним из друзей Чичибабина¹³, автор, упомянув о «красных помидорах», совершенно неожиданно для меня осмыслил этот образ как политический символ: дескать, автор в этих стихах как бы отказывается от «красной идеи», такое будто – не для него. И на первый, и на второй, и даже на двадцать седьмой раз подобное толкование кажется натяжкой. Но, припомнив строчки Чичибабина о его отношении к алому цветку Революции (а они у него «на каждом шагу»: «...что, хоть и холоден очаг, что, хоть и слова молвить не с кем, но до сих пор в моих вещах смеется галстук пионерский», стихи о красном знамени – «том самом, ленинском, единственном» и т. д. – вплоть до самых поздних стихов, написанных уже в период после развала Советского Союза, который (развал) он и приветствовал, и оплакивал), – припомнив все это, понимаешь, что где-то в подсознании «красные помидоры» могли вызывать у него и такую ассоциацию... А у читателя – уж точно!

¹³ Лазарь Беренсон, «Напишут наши имена». – «Калейдоскоп» – еженедельник тель-авивской газеты «Время», 1994 г.

К сказанному о сложном образном строе стихотворения можно добавить еще несколько слов о блестящей рифмовке, удачно выбранном ритме. Леша Пугачев, положивший эти стихи на музыку, чрезвычайно умело этим воспользовался и в мелодии, и при исполнении песни.

Незаурядность стихов о «красных помидорах» не отрицали в беседе со мною и отдельные израильские литераторы (М. Вайскопф, М. Гробман). Они, однако, не могут простить Чичибабину его политического эклектизма, советской романтической слепоты. Думаю, что в некоторой пристрастности их взгляда на его поэзию большую роль сыграло недостаточное знание его творчества, чего, впрочем, им в вину поставить нельзя: стихи поэта многие годы скрывались от читателя усилиями его родной советской власти...

Вместе с «Махоркой», сочиненной также в тюрьме, стихи эти составили вклад Бориса в русскую стихотворно-песенную традицию казематной лирики, идущую, пожалуй, от упомянутого древнего «Слова...» через радищевское «...в острог Илимский еду», пушкинского «Узника», лермонтовское «Желанье», фольклорное «Солнце всходит и заходит...» – к гениальной анонимной песне колымского безвременья: «Ты помнишь тот Ванинский порт...». Возможно, предшественники и современники Чичибабина по ГУЛАГу создали и другие «памятники неруководные» тюремно-лагерной голгофе, до нас не дошедшие... Борису повезло.

Впервые эти и другие стихи я прочел в авторской рукописи, то ли присланной им, то ли привезенной Марленой. Как только появилась возможность, она поехала к нему на свидание. Конечно же, родители наши, политически ошельмованные в 1936–37 годах и влачившие на себе груз обвинений в былом троцкизме, были смертельно напуганы новым вторжением тюремной темы в нашу семью (некоторых близких родственников и многих друзей тогда, в тридцатые, или посадили, или расстреляли). И все-таки мать и отец не решились всерьез препятствовать дочери в желании встретиться с возлюбленным, утешить его. В этом же была очень заинтересована семья Полушиных, которая материально помогла Марлене осуществить дальние поездки: у нашей семьи просто не было необходимых средств. Правда, каждый раз моя сестра пыталась собрать деньги, откладывая свою жалкую студенческую стипендию. А ведь она ездила к Борису на Север ТРИ раза! В поездки отправлялась вместе с его отчимом или матерью. В «Вятлаге» свидания были вообще разрешены, но каждый раз надо было испрашивать дозволения особо, а ведь официально ни в каких семейных отношениях она с заключенным не состояла. Каждый раз в хлопотах решающую роль играл, конечно же, полковник Полушин, и можно лишь догадываться, чего стоило ему трижды добиваться успеха. «Тем более, в те времена, да еще еврейка», пишет мне, имея в виду Марлену, сестра Бориса. И она, конечно, права. Пусть читатель, исходя из обстановки того времени, сам оценит

нравственное значение этих свиданий, я лишь отмечу, что совершенно напрасно многие эстеты и философы отрицают моральное влияние литературы: решиться на такое можно было, лишь начитавшись Некрасова да Тургенева. Тем более, что, как увидим дальше, политическая и литературная репутация самой Марлены складывалась в глазах властей и начальства (впрочем, их же собственными усилиями!) далеко не лучшим образом.

Отчасти благодаря ей, а также стараниями энтузиастов – любителей поэзии, стихи Бориса расходились по всей стране. В Москве, между прочим, их первым пропагандистом стал друживший с Марленой бывший студент Харьковского университета и муж ее близкой подруги Ларисы Богораз – Юлий Даниэль, впоследствии, в 1966 году, один из двух подсудимых скандального по юридической и нравственной подлости московского писательского процесса (его поделником был Андрей Синявский)...

Я уже упомянул о том, что «...помидоры» положил на музыку харьковский драматический актер и «полубард» Леонид Пугачев. («Полу...» – потому что он писал только музыку на чужие тексты... Правда, сам эти песни и исполнял). О Леше впереди отдельная глава, здесь же отмечу лишь, что мне рассказал о нем и его песне мой школьный друг Витя Конторович – кажется, он слышал ее в Лешинюм исполнении в Москве – у своих друзей и коллег, супругов Воронелей.

– Неужели на такой текст можно было придумать мелодию? – искренне удивился я. – По-моему, стихи великолепные, но «не поющиеся»...

– Поющиеся, да еще и как! – сказал Витя. Это было примерно в 1957 году, когда я вернулся из армии. И через несколько лет сам смог услышать песню в исполнении Леша. Пленки с этой и другими его песнями на стихи Бориса в начале 60-х были тиражированы магнитным самиздатом по всей стране – одна из записей попала, видимо, в руки знаменитого киевского кардиохирурга, по совместительству – писателя, Николая Амосова, потому что в его нашумевшей книге «Мысли и сердце» цитируются и «...помидоры», и «Махорка», включенные во внутреннюю речь героя, с объяснением: «...Песни такие».

Не помню других чисто эзковских стихов Чичибабина, однако из лагеря он стихов присылал много – и больших, и маленьких. И – писем: как правило, длинных, наполненных религиозно-философскими рассуждениями, что меня не только удивило, но и шокировало – я ведь был с детского возраста воспитан на кратчайшей максиме: «Бога – нет!!!» В письмах же Бориса я читал теперь пассажи о Всевышнем, Всемилостивейшем, Всемудрейшем Вседержителе, причем Бог, со всеми заменяющими его местоимениями и титулами, писался только с прописной литеры, что мне казалось весьма странным, старомодным и потому потешным. Ведь раньше, по крайней мере внешне, религиозность в поступках, словах и стихах Бориса никак не проявля-

лась. Более того, мне запомнилось такое его кощунственно-озорное стихотворение (тоже, впрочем, присланное из лагеря):

Лев Николаич, мысля строго,
ждал неких милостей от Бога.
А я, сомнений не тая,
не жду от Бога ни ...!
Зане, при Боговом обличьи,
Не должно ... быть в наличьи!¹⁴

Словоупотребление в поэзии Чичибабина редчайшее. Он в стихах избегал пользоваться ненормативной лексикой такого рода. Однако эти стихи сообщил в подборке с другими – вполне серьезными. Религиозность сказывалась только в письмах, а в стихах стала отражаться, по-моему, гораздо позднее. Что мне запомнилось, так это чудесные реалистические пейзажные картинки, притом местами очень технично написанные:

Вечер – долгий, день – недолгий,
ветер – дворник без метелки.
Только тронься, либо дунь, –
липа – в бронзе, дуб – латунь.
.....
А трамвайных лихорадок
наблюдается припадок.
При словах: «Вагон – в депо ж!» –
учиняется дебош.
У семейных нынче драмы:
ладят печи, ставят рамы,
точат пилы-топоры.
Умножаются воры.
Обнажаются березы.
Приближаются морозы.
Едет маршал Дрожжаков
на поверку пиджаков.

Кажется, эти стихи публиковались. А вот то, что никогда не было опубликовано и вряд ли кто, кроме меня, помнит.

Сидя за решеткой, в темнице сырой, юный узник обдумывал судьбы своих предшественников и современников. На воле бушевал товарищ Жданов, рушились литературные и политические репутации. Например, Анну Андреевну Ахматову (в стихах которой, как гениально-идиотически высказался заместитель генералиссимуса по идеологической части, «блуд был смешан с молитвой») лишили даже хлебной карточки. Борис пишет в лагере стихотворение, из которого

¹⁴ Эти и многие другие стихи цитирую, в основном, по памяти. Учитывая вольности современной бесцензурной печати, я мог бы в приведенных здесь стихах не заменять известное заборное слово целомудренным многоточием. Но так было в оригинале.

встает героический образ королевы русской поэзии – униженной, обнищавшей, но, как ему правильно представлялось, не сдавшейся, не отрекшейся от себя:

Нахохлившись, стоит в очередях,
<и видно>, как над <старою> авоськой
.....
ее лицо, отлитое из воска.

Заканчивалось стихотворение так:

Ну, вот и все: ни ямбов, ни статей...
Но как взревнут праведные леди
К трепещущей и строгой простоте
в четверстишья стиснутых трагедий!

А вот начало и конец стихотворения о ее первом муже, Николае Гумилеве, расстрелянном в подвале ЧК за – или якобы за! – участие в «контрреволюционном заговоре».

Хотел бы, однако, предупредить читателя – через много лет Чи-чибабин напишет о себе в стихах, опубликованных в период «оттепели»: «Именем Советской власти комсомольца взяли под замок». Это стихотворение посвящено Ленину и заканчивается строками:

У меня и у Советской власти
общие враги!

А к врагам полагалось относиться без всякой пощады. «Если враг не сдается...» Он, таким образом, не мог или не хотел подвергнуть сомнению политическую оценку коммунистами белогвардейского офицера Гумилева:

Какой пассаж!

Со стеклышком в глазу и с пафосом пророка,
Под реквием сестер и реплики папаш,
Как будто бы в давно желанное Марокко,
Отправился к чертям «великолепный паж».

Туда и дорога!

Думаю, Борис потом так и не напечатал эти стихи потому, что в них дается мальчишески бездумная, глумливая, бесшабашно кощунственная характеристика большого и мужественного человека. Интересно, тем не менее, знать их, так как концовка, где выясняется литературная роль Н. Гумилева, решительно противоречит официальной вульгарной точке зрения большевистских литературоведов:

Я ненавижу вас, авантюрист и денди,
«Изысканный жираф», – но и в последний час
Не побоюсь сказать, что, хоть куда ни детьесь,
Мы все ведем свой род от вас и через вас.

Вот это «не побоюсь сказать» очень характерно для Чичибабина и чрезвычайно мне дорого в нем.

А еще были стихи, в которых безвестный лагерный стихоплет бесцеремонно присматривал себе местечко среди гениев:

Деревья нам бывают тезками,
встают при встрече на дыбы.
Есенин – тот блудил с березками.
Дружили с Пушкиным дубы.
Куда уж нам с дубами меряться –
На черта им такая чушь?!
Но как-то чудится и верится,
Что я акациям не чужд.
И долго-долго будет помниться:
Вдали от злобы и простуд
Те сладострастницы и скромницы,
Благоуханные, растут!
.....

Эти стихи он потом переделал и опубликовал, заменив акации на сосны.

Помнятся мне и чеканные заключительные строчки сонета:

Я невзлюбил традиций и нотаций,
Я полюбил трудиться и мотаться
И будоражить трепетную ширь.
Любимая, махни рукой с порога!
Пойду вперед неведомой дорогой, –
Слепого века строгий поводырь.

Впоследствии стихи были опубликованы и вошли в цикл «Сонеты о коммунизме», а тогда тоже воспринимались как крамола: ведь товарищ Молотов в своем замечательном докладе сказал, что «Мы живем в такой век, когда все дороги ведут к коммунизму», а этот называет век – «слепым»!

Мне очень нравились и звучные составные сверхдактилические рифмы – и, притом, такие, в которых ударение оказывалось на слоге, шестом от конца строки! Рифмовалась, таким образом, вся строка целиком:

КНИГЕ

Ты, неистовая моя
мольба и ругань,
перелистываемая
руками друга!
.....

Ты ж, догадчивая моя
сияй надеждой,
разворачиваемая
подругой нежной...

Подобная полная рифмовка строки со строкой встречается и в его поздних стихах:

История давеча вскрыла следы
Григория Саввича Сквороды (!!!)

Не всегда знаю точно: какие из цитируемых стихов печатались, а какие – нет. Вот следующие – точно напечатаны, однако я хочу их привести не только потому, что впервые их прочел в его лагерной тетради, а для того чтобы поделиться одним наблюдением. Это стихи о Каме, на берегу которой заключенному Полушину пришлось заниматься лесоповалом – правда, к счастью, недолго.

В Рейн слезы Гейне канули,
Тарасов Днепр течет...
А нам сказать – о Каме ли?
О чем же нам еще?
Ах, мама-Кама, Камушка,
лосиные рога!
До капельки, до камушка
ты сердцу дорога!

Эти стихи были полностью (но, скорее всего, с цензурно-редакторскими правками) помещены в сборнике Чичибабина «Мороз и солнце» – и заняли там вполне, казалось бы, советское место. Я позже покажу, на какие самоущемления и компромиссы пришлось пойти поэту для того, чтобы эта первая в родном Харькове книга увидела свет. Но сверхбдительные цензоры и редакторы, по крайней мере, одного недоглядели: ассоциаций первой строфы – слез гонимого Гейне и *сосланного Шевченко...*

Но когда автор эти стихи писал, об их опубликовании не могло быть и речи: шли годы идеологического и литературного погрома. В Харькове мою сестру обвинили не только в «ахматовщине», но и (я не шучу!) в *ра х л и н и з м е*, Бориса же поминали в местной прессе не иначе как *п р о х о д и м ц а*, который (при этом писали: «н е к и й Чичибабин») одно время *п о д в и з а л с я* в литстудии Союза писателей... Слово «подвизался» – высокого стиля, и корень имеет явное отношение к подвигу, но в практике коммунистической печати оно употреблялось только в негативном, ироническом смысле.

У Марлены было стихотворение, в котором она признавалась в желании побывать в разных странах и временах – в том числе «русской девой плакать у окна», что ей, может быть, и простили бы, но в следующей строчке она намеревалась что-то такое делать «в тишине ленивого гарема» (интересно: что?) – и именно на этой строке сосредоточил свою критику третий (по пропаганде и агитации) – но, должно быть, первый по мудрости – секретарь Харьковского обкома партии товарищ Румянцев. В своем докладе он заявил: «Автор стремится уйти от жизни куда угодно – даже в гарем!»

(Этого Румянцева вскоре назначили заведующим идеологическим отделом ЦК КПСС – как видно, по совокупности заслуг. Впрочем, Марлена спорит со мной, что слова, приписывающие ей стремление уйти из бурной советской жизни в ленивый ханский сераль, принадлежат не ему, а доценту филфака Розенбергу. Но, скорее всего, мы оба правы: Розенберг как консультант мог сформулировать, а Румянцев – прочесть с трибуны партхозактива. Или даже – Мавзолея).

Поднялась и накатила на страну так называемая «вторая волна» репрессий – то есть как раз та «новая ежовщина», от наступления которой предостерегал вещий голос поэта. Одним из ранних ее предзнаменований был и его арест. На литературном вечере памяти Чичибабина в Хайфе в 1995 году присутствовали его (и Марлены) соученики по филфаку – Юрий Елин, София Гельбарт. Софа, делаясь воспоминаниями, рассказала о последовавших за его арестом вызовах и допросах, о нагнетавшейся обстановке слухов, подозрений, слежки. Запомнился такой ее рассказ: одну из студенток, еврейку, вызвали в «хитрый дом» и предложили «стучать» на товарищей.

– Если вы настоящая патриотка, то, конечно, примете наше предложение, – было сказано ей. Это означало: «Попробуй откажись!»

– Спасибо за доверие, – сказала студентка, – но мне надо хорошо подумать: сумею ли его оправдать.

Вербовщик оценил серьезность девушки и присущее ей чувство ответственности. Договорились, что с ответом она явится через неделю.

Придя домой, молодая особа немедленно бросилась за советом к любимому дедушке – и далее поступила по его мудрому наставлению.

– Ваше предложение настолько серьезное, – сказала она чекисту, – что я решила посоветоваться с близкими. Я обратилась к дедушке и бабушке, к папе и маме, к дяде Исааку и тете Хаве. Поделилась и с самыми лучшими друзьями. Все в один голос говорят: «Если тебе предлагают стать секретным сотрудником госбезопасности, то как ты, комсомолка, можешь еще раздумывать?!» Они правы. Я даю вам свое согласие!

Вербовщик посидел немного, выпучив глаза на собеседницу, затем сказал:

– Ну, хорошо. Спасибо. Когда понадобится – вызовем.

Но она им больше не понадобилась.

Не знаю, анекдот ли это или, напротив, автобиографическая зарисовка. В обоих случаях рассказец точно передает обстановку и быт момента. Да и целой эпохи!

После разгрома «Звезды» и «Ленинграда» разразилась, одна за другой, целая серия идеологических расправ: над «формализмом в музыке», над «одной антипатриотической группой театральных критиков» (гонение на «космополитов»), над Еврейским антифашист-

ским комитетом, над марризмом в языкознании, вейсманизмом-менделелизмом-морганизмом в биологии и генетике, над «реакционной буржуазной лженаукой кибернетикой» и так далее, и так далее... Все это широко известно, но хочу лишь заметить, что, пока Борис работал на лесоповале или в лагерной конторе, его литературное имя иногда всплывало в наших харьковских газетах – оно использовалось теперь как некий жупел – для компрометации очередных жертв. Например, когда громили «космополитов», в областной газете «Соц. Харківщина» появилось высказывание украинского молодого поэта Сергия Мушныка о том, что в руководимом критиком Григорием Гельфандбейном объединении молодых литераторов одно время подвизался некий проходимец Чичибабин. Не знаю, сам ли Мушнык (человек одаренный!) это написал или его заставили, а мудрого дедушки рядом не нашлось, только маститого критика заклеили как «юродствующего, безродного космополита», «Ивана(!), не помнящего родства» и изгнали из Союза советских писателей. Видали б вы этого «Ивана»? А еще лучше – слышали б: его раскатистое заднеязычное «р» могло служить для всех логопедов мира эталоном бердичевской картавости! Наверное, именно за это беднягу лишили привычных источников дохода, и он вынужден был пробавляться случайным и неверным заработком. Однако Григорий Михайлович был еще счастливчик: его молодых коллег театральных критиков Жаданова (Льва Лившица) и В. Морского (его «скобок» не помню) – посадили, причем Морской в заключении умер. Еще один рецензент, Борис Милявский, спасся бегством на Урал – это иногда помогало; спасались ведь евреи там от Гитлера – так вышло и в данном случае...

А в августе 1950-го, когда Чичибабину до конца срока оставался лишь год, наконец, арестовали и наших родителей. Обоих – в один день.

Нет, я вовсе не хочу сказать, что сыграли какую-то роль неосторожные поездки Марлены к Борису на свидания. Причина совсем иная: Ваал, то бишь, ГУЛАГ, хотел **жрать** и требовал новых **жертв** (однокоренные слова?), и бывшие троцкисты (папа) и зинovieвцы (мама) более всего годились к немедленному употреблению в пищу чудовищу. Даже сами по себе. Но в МГБ сидели повара-спецы, и когда родители попали во внутреннюю тюрьму на ул. Чернышевской¹⁵, где всего лишь за четыре года до них провел свои первые дни заключения Борис Чичибабин, то следователям было соблазнительно попытаться состряпать особо пикантное блюдо: «молодежную контрре-

¹⁵ В советское время на табличках появилось: «ул. Чернышевского». Однако никакого отношения к узнику Петропавловской крепости название этой тюремной харьковской улицы не имеет: она именовалась как «ул. Чернышевская» еще до революции – по-видимому, в честь генерал-губернатора графа Чернышева. Была до революции в Харькове и ул. Тюремная (возле вокзала) – на ней в советское время находилась тюрьма (пересыльная).

волюционную организацию», созданную и руководимую матерыми контрреволюционерами-оппозиционерами – Давидом Моисеевичем Рахлиным и его женой Блюмой Абрамовной Маргулис. То есть – нашими родителями.

Так полагал отец, основываясь на содержании первых допросов, которым его и маму подвергли вскоре после ареста. Он рассказал мне это во время нашего свидания в лагере Воркуты летом 1954 года. А затем, после реабилитации, сделал набросок плана воспоминаний. Написать их, однако, не успел: заболел и умер. Эти наброски, вместе с моим подробным комментарием к ним, хранятся в отделе редкой книги и рукописей Харьковской центральной научной библиотеки имени В.Г. Короленко (фонд Ф.Д. Рахлина).

Вот отрывок из записей отца, характеризующий содержание одного из первых допросов – или, скорее, самого первого (перечисляются вопросы следователя):

«Вы знаете Алика <Басюка>?

Ваше мнение о нем.

При каких обстоятельствах познакомились?

Кто из молодежи бывал у вас?

Что вы можете сказать о их контрреволюционной деятельности?»

Допросы, проходившие только ночью (а днем спать не давали, безжалостно будили!), были направлены на то, чтобы вырвать признания, устраивавшие следователя, соответствовавшие его замыслу. Замысел же первого следователя наших родителей (Самарина¹⁶) был в том, чтобы обвинить их в проведении контрреволюционной деятельности в течение всей жизни – с молодых лет до момента ареста. Вот почему и обвинение вначале было квалифицировано по соответствующим статьям обеих республик, в которых они жили: и России (статья 58 УК РСФСР), и Украины (ст. 54 УК УССР).

Родители понимали: оговорив Марлениных друзей, они автоматически усугубят и свою «вину», так как им пришьют растлевающее влияние на молодежь. Таким образом, сопротивляясь изо всех сил диктату следствия, они защищали не только эту молодежь, но также и себя. И все-таки именно благодаря их стойкому поведению на следствии у чекистских «поваров» варево не сварилось, и через месяц или полтора юристы МГБ вынуждены были переквалифицировать обвинение, оставив в нем лишь по одному реальному эпизоду – «преступному» поведению на партсобрании: у отца – в 1923 году (он во время открытой партийной дискуссии поддержал мнение Троцкого по организационному вопросу), у матери – в 1926 году (она покинула собрание по призыву ректора своего комвуза, а тот был сторонник Зиновьева).

¹⁶ Он же в годы оттепели занимался... реабилитацией безвинно осужденных! (Я видел подписанные им документы).

Вот за эти-то страшные преступления они и получили по 10 лет лагерей строгого режима. Но молодежь, которую им «шили», тогда осталась на свободе. Лишь Алик Басюк, о котором был первый вопрос, уже сидел к тому времени в той же тюрьме – он тоже находился под следствием.

Алику, поскольку он был близок Борису впоследствии, посвящена далее отдельная глава. Здесь же лишь скажу, что они были соученики, однако, сколько помню, у нас Басюк никогда в доме на проспекте «Правды» не бывал (разве что случайно).

В наш дом одновременно с Борисом и в последующие годы заживало много молодежи – некоторые имена здесь назову. Все они весьма примечательны.

Юлий ДАНИЭЛЬ – студент филфака (курсом младше Чичибабина и двумя курсами – Марлены), участник войны с фашизмом, имевший боевые награды и тяжелые ранения, сын еврейского писателя, умершего в 1940 году. Женился на сокурснице Ларисе БОГОРАЗ, уехал с нею в Москву, там продолжил учебу на филфаке педагогического института, после окончания которого работал некоторое время школьным учителем, затем профессионализировался как писатель, переводил с различных языков, а собственные, оригинальные произведения, ввиду их характера, не укладывавшиеся в рамки соцреализма, стал, по примеру своего друга – известного в СССР литературоведа и критика Андрея Синявского, тайно пересылать для публикации за границу. Произведения Синявского (русского) печатались там под еврейским псевдонимом Абрам Терц, а еврея Даниэля – под славянским именем Николай Аржак (оба псевдонима, впрочем, взяты из блатных песенок 20-х–30-х годов). Опасная игра, в конце концов, завершилась тем, что их выследили, арестовали и после долгого следствия предали публичному суду (1966 г.), которым власти попытались смертельно напугать советскую творческую интеллигенцию. Вышло, однако, иначе: пример двух независимых советских писателей привлек массу последователей, процесс над Даниэлем и Синявским подтолкнул к разрыванию диссидентского движения, а за рубежом вызвал огромное возмущение интеллигенции, значительная часть которой отшатнулась от СССР и коммунистов. Синявский и Даниэль были осуждены на длительные тюремно-лагерные сроки, а также ссылку. По отбытии наказания Синявский эмигрировал в Париж, Даниэль остался в Москве, где продолжал литературную (преимущественно переводческую) работу. В последние годы тяжело болел, умер в конце 1988 года.

Лариса БОГОРАЗ – близкая подруга моей сестры с юных лет. Первая жена Ю. Даниэля. Их брак фактически распался еще до его ареста, но Лариса активно вступилась за него как жена, и с этого началась ее яркая многолетняя правозащитная деятельность. Дочь че-

ловека, пострадавшего от сталинских репрессий, она бесстрашно вступила в борьбу с режимом, приняла активное участие в демонстрации протеста на Красной площади против вторжения советских войск в Чехословакию, подверглась за это аресту и ссылке. Вторым браком Лариса вышла за лагерного друга Даниэля – Анатолия Марченко, а когда этот правозащитник и писатель был вновь ввергнут в темницу, резко и мужественно защищала его честь и достоинство. В конце концов Марченко был (уже в начале «перестройки» – в декабре 1985 года) замордован в тюрьме. Сейчас Лариса – тяжело больной человек, но, по мере сил, продолжает общественную деятельность.

Иосиф ГОЛЬДЕНБЕРГ – студент филфака, сокурсник и друг Марлены, по-братски ее любивший (он ласково называл ее «Рахлинойчик»), удивительной милый, обаятельный человек. Где-то (кажется, в Белоруссии) гитлеровцы уничтожили всю его родню. Может быть, по болезни не был он призван в армию. В Харькове поступил в университет и страстно увлекся коллекционированием книг, собрав уникальную личную библиотеку. Еще на студенческой скамье соединил свою судьбу с заведующей одним из учебных кабинетов филфака Верой Алексеевной Пычко, впоследствии выехал с нею вместе в Новосибирск, где работал учителем литературы в школе академгородка, но был изгнан после того как подписал «диссидентское» письмо («стал подписантом»). Вместе с Верой Алексеевной переехал в г. Пущино (на Оке), где стал работать в одном из научных учреждений. Среди харьковских друзей известен еще под шуточной кличкой «Граф». Совсем недавно опубликовал книгу интересных стихов.

Яков (Ян) ГОРБУЗЕНКО – студент филфака, фронтовик, был комсоргом на факультете, потом учительствовал, долго жил в Москве. Поддерживал приятельские связи с Даниэлем и был привлечен как свидетель во время процесса. За дружеские отношения с «клеветником» Даниэлем и за то, что не донес на него, был изгнан с работы и из партии. Под занавес жизни репатриировался в Израиль, жил в Иерусалиме, умер в 1995 году.

Марк АЙЗЕНШТАДТ (впоследствии – АЗОВ) – сокурсник Бориса, участник (одновременно с ним и Марленой) работы харьковской литстудии, фронтовик, участник штурма Берлина. По окончании университета некоторое время работал учителем, потом стал писать пьесы для кукольного театра, эстрады, цирка, киносценарии и драматические произведения. Вместе с Вл. Тихвинским создал ряд сатирических миниатюр для мастеров эстрады – в том числе для А. Райкина (например, о «количестве» и «качестве»). Это они запустили в мир выражение «Я – совок», получившее впоследствии известный нарицательный смысл. В настоящее время живет в Израиле, в г. Нацерет-Илит (Верхний Назарет).

Марк БОГОСЛАВСКИЙ – студент филфака курсом младше Бориса, фронтовик, пришедший в университет как раз тогда, когда там были свежи воспоминания о Чичибабине, и сразу же увлекшийся его стихами. Он тогда же в своих стихах предсказал их будущую встречу и дружбу. Они, действительно, потом дружили много десятилетий вплоть до смерти Бориса, а после нее Марк Иванович, один из ведущих преподавателей литературы в харьковском институте культуры, организовал проведение там весенних чичибабинских чтений и дней поэзии.

Станислав СЛАВИЧ – студент первого набора (1946 или 1947 г.) отделения журналистики при харьковском филфаке, переведенного впоследствии в Киев. Фронтовик, партизан. Страдал тяжелым туберкулезом, подолгу лечился в госпиталях и больницах. Работал в харьковской областной газете, затем вместе с женой, бывшей соученицей, Марой Габинской (кстати, тоже у нас бывавшей) переехал в Ялту. Там служил в местной газете, пока однажды не избил коллегу за антисемитские выпады (сам Станислав Кононович Славич-Приступа – украинец). Стасика изгнали с работы, исключили из партии, но каяться он не стал. К тому времени он уже был известен как автор повестей и рассказов, публикуемых в «Новом мире». Друг Виктора Некрасова, он сдружился и с Борисом, посвятившим ему проникновенные стихи. Но, кроме того, завел многочисленных друзей среди крымских моряков, рыбаков, земледельцев, изучил в тонкостях Крым не только по книгам, но – изнутри самой жизни. Мне с восторгом рассказывали о краеведческих лекциях писателя Славича.

Юрий ФИНКЕЛЬШТЕЙН – соученик Марлены по университету. Много лет работал учителем литературы в Харьковской музыкальной школе-десятилетке, где огромный переполох наделала в 70-е годы его эмиграция с семьей в Америку. Блестящий лектор, автор ярко полемических историко-публицистических работ (о мировой войне, о С. Петлюре...).

Юлий КРИВЫХ – Марленин сокурсник. Человек способный, он имел перед многими друзьями преимущество по «пятой графе», так как был русским. Окончил аспирантуру и стал преподавателем иностранной литературы в библиотечном институте. Но самым ярким его отличием была вдохновенная мужская красота, делавшая его в буквальном смысле «богоподобным». Приятельница – студентка библиотечного – рассказывала мне, что когда он впервые вошел для чтения лекции в большую аудиторию, все присутствующие (на 100 процентов девушки) издали звук изумления, который не имеет в алфавите адекватного отражения. Если, однако, звук «Ы» произнести посредством не выдоха, а вдоха, то, я думаю, можно получить представление о том, как они выразили свой восторг... Юлик Кривых по-

гиб еще молодым от внезапного инфаркта. Друзья любили его за дружелюбный характер, блестящее остроумие и острословие.

Вот какие яркие, разнообразные люди бывали у нас в доме. И надо отдать должное проницательности и удивительному либерализму гебистов: если бы они тогда не прекратили попыток превратить эту разношерстную публику в «контрреволюционное кубло», были бы вытоптаны на корню и «перевертыш» Даниэль, и «отщепенка» Богораз, и «очернитель» Айзенштадт, и «хулиган» Славич... А Борис Полушин, конечно же, получил бы второй срок.

Однако по какой-то причине первоначальный замысел был отменен, и харьковская «молодежная контрреволюционная организация» не состоялась. Не хочу преувеличивать стойкости своих родителей – если бы за них взялись виртуозы чекистского палаческого корпуса, то, думаю, подследственные «вспомнили бы все». Однако их даже не били – «только» сутками не давали спать, «только» светили в глаза ослепляющим светом мощных ламп, «только», держа кулак над теменем, орали что есть сил самые черные слова матерной брани. В 1993 году в Иерусалиме после выступления моей сестры Ян Горбузенко рассказал, будто ее спас от ареста ректор университета Иван Буланкин. Якобы он, когда хотели создать на филфаке громкое дело вокруг ее имени, сказал ретивым борцам с «ахматовщиной»: «Не надо, оставьте девочку в покое». (По другим сведениям, эти слова принадлежали парторгу университета проф. И.М. Полякову. Но, может быть, им обоим?!)

Это согласуется со сведениями, которые, якобы, сообщает Антонов-Овсеенко (сын) в книге «Портрет тирана». Мне говорили, что там утверждается: Буланкин не дал свершиться расправе над молодежью. Одно можно сказать уверенно: если бы «организацию» задним числом создали, Борис Чичибабин «играл» бы в ней видную роль. И тогда ему бы не отделаться своей «пятилеткой».

Мой дважды земляк (по Харькову и Афуле) Лион Надель сообщил мне, со слов своего покойного отца, Хацкеля Соломоновича Наделя, работавшего в то время в Центральной научной библиотеке харьковского университета, что группа студентов была вызвана к Буланкину, который, в присутствии «литературоведа в штатском», подверг их разносу, не стесняясь в выражениях:

– Блядуны, шлюхи, развратники! Хотите университет превратить в публичный дом?! Не позволю!.. и т. д.

Контекст этого сообщения таков: Буланкин как человек глубоко порядочный отводил таким путем от студентов «карающий меч» органов, беря на себя, в глазах гебистов, «воспитательную функцию».

Хочу опровергнуть одну легенду, пересказанную и отчасти подержанную писателем Юрием Милославским в его воспоминаниях о Чичибабине (альманах «У голубой лагуны», США, год издания не

обозначен, однако думаю, что не позднее 1980 г.) Автор утверждает, что Чичибабин был арестован «в 1949 году (или в 50-м)», а «вышел в 55-м». Хотя ошибка существенная и сама по себе (на самом деле: арест – в 1946-м, возвращение на волю в 1951-м), но ее последствия – еще серьезнее: мемуарист приводит где-то слышанную сплетню, будто одновременно с Борисом были арестованы «его невеста Марлена Рахлина и его друг Алик Басюк». И что будто бы перед Борисом встала «роковая диатриба» – «кого заложить: невесту или друга?» И он якобы сделал выбор в пользу невесты. То есть, надо думать, невесту обелил, а друга – «заложил».

Правда, автор сам же восклицает: «Не верю – слишком гладко». Ежели так, то для чего было и пересказывать заведомую ложь? Неужто лишь затем, чтобы щегольнуть богатым словом диатриба? На самом деле Басюк с подачи Чичибабина не был арестован уже хотя бы потому, что попал в тюрьму лишь в 1950 году, когда Борис уже досиживал свой пятилетний срок. То есть пересказанная Милославским версия – как раз слишком негладкая! Неужто, получив от Чичибабина порочащие его друга сведения, чекисты выжидали бы четыре года? Что касается Марлены, то ее **ВООБЩЕ НИКОГДА НЕ АРЕСТОВЫВАЛИ** – ни тогда, ни позже. Несколько раз подвергли приводу в КГБ и держали там целый день – пугали, увещевали, «воспитывали», угрожали – это было. Но потом – отпускали домой.

Кроме того, назвать Алика Басюка другом Бориса Чичибабина в 1946 году никто бы не решился. Алик бесконечно изводил тогда Бориса гаерскими шуточками, Борис в то время был для хулиганистого Алика слишком «правильным», слишком серьезным. Только общее лагерное прошлое сблизило их, но это произошло много позднее. Милославский, литстудиец Бориса Алексеевича, узнал Басюка уже тогда, когда тот превратился в законченного алкаша, в ханыгу, в смехотворную тень Чичибабина, который, однако, искренне жалел старого гаера, и лишь в этом смысле их отношения можно назвать дружбой, да и то с большой натяжкой. Но в 1946-м даже и этого сделать было невозможно.

В набросках нашего отца есть взятое в кавычки сообщение: «Марлена арестована». Это слова Алика в момент, когда отец с Басюком впервые встретился в камере после окончания следствия. Там же записано и о том, что «Алик – мировой враль» – возможно, и по поводу его «сообщения» об аресте Марлены. И в самом деле, Басюку соврать было легче, чем плюнуть. (Одна из записей отца также об Алике: «Как его разоблачают».) Но зачем ни на чем не основанные утверждения позволяет себе человек, называющий себя «церковным писателем»? Впрочем, наверное, во всем виноват я: Юра Милославский около двух лет работал под моим началом в маленькой заводской редакции, и мы с ним много трепались «за жизнь». Он с большим уважением относился к Чичибабину как поэту, и я ему рассказал

всю историю, изложенную выше. Мне казалось – слушает внимательно... Но он тогда вынашивал план выезда в Израиль и, наверное, внимал в пол-уха. Мы с ним много спорили: я уже сочувствовал «отъезжающим», во всяком случае, понимал их мотивы и порывы, но все же для себя считал невозможным покинуть родину, при всех ее пороках. Правда, я говорил Юре: если создастся предпогромная обстановка – уеду, конечно, причем именно в Израиль. Но в пылу спора он меня однажды даже назвал «предателем» (еврейского народа)... Тем не менее, я – здесь, а он, крестившись в Иерусалиме, «ерданул»¹⁷ в Штаты. Вольному – воля. Но врать-то зачем?

* * *

Борис возвратился из заключения летом 1951 года – как раз к красивым помидорам нового урожая. Приехал – с женой, звали ее Клава. Милославский же ошибочно называет ее Мотей. Почему? Как правильно указывает он (и в своей давней мемуарной заметке, и в недавнем (1996 г.) интервью «Литературной газете»), Борис привез первую жену из лагеря, где она работала по вольному найму. Правда, Юра, со слов иерусалимского священника о. Ильи, сидевшего вместе с Борисом, утверждает, что первая жена Чичибабина служила там «начальницей спецчасти», – возможно, это так, да беда в том, что Юра обсчитался в женах Бориса: соединил первую, Клаву, и вторую, Мотю, в одно лицо. Но, помилуйте, господа: Мотя osobисткой никогда не была, а была – паспортисткой в домоуправлении, где Борис служил бухгалтером. Впрочем, мы забежали вперед, но уж тут – не по своей вине, а из-за Милославского.¹⁸

С Клавой Борис прожил недолго, я видел ее лишь однажды и ничего о ней сказать не могу. В Харькове вчерашнего зэка, с его «собачьим» паспортом или даже просто справкой, не привечали, особенно учитывая статью, по которой он отбывал срок, работу найти было очень трудно. Наличие судимости, да еще по зловещей 58-й статье, отпугивало кадровиков. Восстановиться в университете и продолжать там учиться было и вообще невысказано, да уже и не по возрасту. Пришлось соглашаться на любую работу. Какое-то время он был рабочим сцены в театре русской драмы. Потом окончил бухгалтерские курсы – и уселся за счеты в ЖЭКе... Мы иногда с ним встречались, и у меня в глазах сцена: сопровождая его по каким-то учет-

¹⁷ «Ерданул» – словечко из сленга русскоязычных репатриантов в Израиле, от «еридá» (спуск, нисхождение. – Ивр.) – антоним слова «алия» (восхождение, подъем – имеется в виду: к Сиону).

¹⁸ Справедливости ради – и чтобы хоть как-то уравновесить свои резкие упреки по его адресу, должен признать, что литературоведческие оценки Ю. Милославским творчества Чичибабина, как правило, верны и глубоки, а некоторые его наблюдения удивительно согласуются с моими.

ным делам в военкомат, я ожидал в коридоре и через открытую дверь видел, как привычно-смирненно стоит он перед каким-то чином, а тот его отчитывает, читает какую-то нотацию, Борис же послушно кивает головой...

Иногда он заходил к нам на Лермонтовскую и даже принимал участие в дружеских юношеских пирушках, на которые сходились мои школьные друзья. Это было еще до его второй женитьбы. Борис читал свои и чужие стихи, мои приятели смотрели ему в рот. Но по возрасту и масштабу своему это еще не была достойная его аудитория, да и сам он производил впечатление человека, сильно помятого обстоятельствами и еще не окремавшего от ударов судьбы.

Читатель, может быть, надеялся узнать у меня причины того, что его роман с Марленой не имел хэппи-энда. Но я этого сделать не могу: тут не мой секрет. За одно ручаюсь: не было между ними никакой житейской грязи и пошлости. Достойнее всего сказать: так уж случилось.

Вместе с тем, если бы он вернулся один, может, отношения и возобновились бы. Но он прибыл – с Клавой. А уже в декабре сестра вышла замуж за Ефима Захарова – своего довоенного соученика, с которым возобновила знакомство буквально за три недели до замужества. Да, их роман продолжался три недели и... всю жизнь (пишу эти строки в ноябре 1997-го, и дай им Бог подольше быть живыми и вместе!)

У Бориса в отношении к юношескому роману давно было несчастливое предчувствие. Вспомним «Махорку», сочиненную в тюрьме (полностью это стихотворение в двух вариантах: подлинном и искаженном политредактурой – приводится на стр.59-60):

Один из тех, что «Ну, давай покурим»,
сболтнет, печаль надеждой осквернив,
что у ворот задумавшихся тюрем
нам остаются рады и верны.

А мне и так не жалко и не горько.
Я не хочу нечаянных порук.
Дымись дотла, душа моя, махорка, –
мой дорогой и ядовитый друг!

Откуда этот надрыв, эта внутренняя сердечная боль у человека, который расстался с любимой и любящей, вроде бы, не имея повода сомневаться в прочности ее чувств? Но сердцу виднее. Видно, чуяло оно: не быть им вместе.

Клава не долго прожила в семье Полушиных, расставание их с Борисом, кажется, не было тяжким для обоих. Она поступила работать на завод, ушла жить в общежитие, а затем и вовсе уехала из Харькова. С середины 50-х он надолго связал свою жизнь с Мотей и поселился у нее на Рымарской, в «романтической», но, увы, убогой и

тесной мансарде. Рядом с его друзьями-интеллектуалами Мотя выглядела деревенской простушкой, однако это ничуть не смущало ни их, ни ее, ни, тем более, Бориса, хотя со временем его отношения с нею стали все больше разлаживаться.

В тот короткий промежуток, который разделял возвращение Бориса и замужество Марлены, в ее жизни случилось одно мимолетное знакомство, курьезный эпизод, о котором и упоминать бы не стоило, не выплыви впоследствии его косвенное, но существенное приложение к жизни Бориса.

Начался 1951-1952 учебный год, сестра приступила к работе в вечерней школе, которая находилась очень далеко от центра, от нашего дома на Лермонтовской (куда нас с нею и с бабушкой переселили в маленькую каморку, лишив ведомственного – более просторного – жилья). Ездить надо было в трамвае, который шел в район ее работы (поселок ХТЗ – тракторного завода) в то время часа полтора, а то и больше. За это время много народу входит и выходит из вагона, нередко завязываются интересные разговоры, а то и знакомства – особенно у людей общительных и любопытных, какова Марленка. Надо удивляться и благодарить Бога, как это у нее в жизни не было при этом ситуаций, закончившихся для нее трагически, – уж такая была всю жизнь бездумная и неосторожная.

Вот является поздно вечером домой – и рассказывает:

– Ты знаешь, вошел на одной остановке молодой мужчина, этак славянский красавец, белокурая бестия. Заговорил с кем-то – а голос... Ну никогда такого не слыхала: низкий, грудной, прямо бархатный какой-то. И речь – правильная, московская, литературно безупречная. Пока ехал – все в мою сторону поглядывал, а выходя, с подножника оглянулся и сказал мне: «До свидания!»

Потом еще раз или два они виделись в трамвае – и даже обменялись незначачими фразами. А однажды вечером она мне говорит:

– Сегодня днем возвращаюсь домой из магазина – мне навстречу со стороны кладбища идет этот мой новый знакомец, «Голосистый», с двумя женщинами, которых держит под руки. Увидал меня, женщин отпустил, распрощался с ними, а сам подходит ко мне: «Вы что, здесь живете? Можно, я вас до дома провожу?» Довел до дома. «А можно к вам зайти?»

– И ты разрешила?!

– А что ж тут такого? Ведь дома – бабушка. Да он вел себя вполне прилично, только... (смущенно смеется)... сразу же предложил руку и сердце. Ну, у меня есть безошибочный тест – я ему говорю: «Да у нас родители сидят по 58-й статье!» А он: «Ну, и что ж тут такого? Дайте мне бумагу и ручку с чернилами. Как вас зовут? А родителей как?» – Сидит и пишет: «Многоуважаемый Давид Моисеевич! Многоуважаемая Блюма Абрамовна! Мы с Марленой полюбили друг друга с первого взгляда...». И так далее... (Весело, залиvisto хохочет).

Я буквально оторопел, но в следующий миг принялся отчитывать свою старшую (на пять с половиной лет, все-таки!) сестру за ребяческое безрассудство. Но она явно не была настроена на серьезный лад.

– Слушай, да кто он такой, ты хоть поинтересовалась? – спросил я.

– Говорит, что заведует гаражом. Ходит, хотя уже прохладно, в каком-то «клифте» (куртке). Рассказывает, что воевал, а до войны учился в Московском театральном училище или институте и был женат на актрисе, игравшей роль Маши в довоенном фильме «Дубровский». Жена умерла, а потом в Харькове умер и их сын – вот с его могилы он и возвращался, когда мы встретились. Да ты не бойся, не крути головой так удрученно: ничего страшного не случится. Но голос, голос! Конечно, он не врет: такие хорошо поставленные голоса только у артистов и бывают!

Потом он и еще приходил. Однажды занял у нее 50 рублей и взял почитать книжку – «Кола Брюньон» Ромэн Роллана, с дарственной надписью Юлика Даниэля: «Теперь у меня не осталось ни Кола!» Являлся, когда меня не было дома, и я, наконец, восстал: «Если он и в самом деле порядочный, то почему прячется от меня?» И вот как-то сестра мне сообщает: он хочет со мною познакомиться и предложил встретиться и вместе пойти в кино. Попросил и билеты купить.

Вечером стоим возле кинотеатра – ждем. Но «жених» так и не явился. Смущенная, но не слишком озадаченная Марленка поплелась за мною в кинозал на какой-то из многочисленных тогда фильмов-спектаклей Малого театра. И больше этот человек не являлся, а уже на «октябрьские», то есть к седьмому ноября, она встретилась со своей истинной судьбой – Фимой Захаровым и думать забыла о белокуром красавце с бархатным голосом. Но, как оказалось, он о ней не забыл. Три дня отделяло нас от того уже согласованного момента, когда Фима привезет на тачке свои пожитки, а я со своими, для которых и тачки не нужно, отправлюсь жить на время к тете Тамаре, папиной сестре... Поздний вечер. Жених Фима только что ушел домой, бабушка легла в постель, готовимся ко сну и мы: уже почти 12 ночи.

Вдруг в дверь стучат громко семь раз. Это значит – к нам: в квартире – еще шесть семей! Открываю дверь – передо мною высокий белокурый парень с трубкой во рту и с двумя крупными яблоками в руках, которые он держит перед собой.

– Марлена дома?

Прямые пряди рыжеватых волос, рассыпавшиеся по обе стороны высокого лба, сбили меня с толку – мне показалось, это один из старинных Марлениных приятелей Стасик Славич, и я впустил посетителя. Уже в следующий миг мне стала ясна ошибка, однако было поздно: гость вошел в нашу комнату. Я поспешил следом – и тут же, к своему ужасу, понял, что гость в стельку пьян.

Марлена, остолбенев, стояла перед ним, а с постели на нас на всех помаргивала ничего не понимающая бабушка.

– Здравствуй, Марленочка, – заговорил вошедший, еле ворочая языком. – Я хочу с тобой выпить за упокой души моей жены и сына.

– Вы пьяны, я с вами пить не буду, – проговорила сестра испуганно. Впрочем, он не обиделся, не разъярился, а только сказал мне, указывая на нее:

– Вон оно стоит, сокровище, и кому только достанется?

Я попытался его выпроводить, но он вытащил из кармана «клиф-та» бутылку водки, поставил ее на столик, положил рядом два яблока и сказал мне:

– Ты – ее брат? Ну, давай выпьем за знакомство. Есть луковица?

Марленка тем временем прошмыгнула мимо нас в коридор, а оттуда на кухню, где возилась еще соседка. В поисках луковицы явился туда и я: «Что будем делать?»

– Фелинька, умоляю, придумай что-нибудь, выведи его... – лепетала она. Я вернулся в комнату, дал ему луковицу, которую он тут же разрезал пополам. Я налил по стакану водки, но для себя под столом на полке поставил пустой запасной стакан.

– А я сегодня в церкви был, – заплетающимся языком сообщил он. – Свечки поставил по усопшим. Девять свечек... по пять... рублей – сорок пять рублей...

Он опрокинул содержимое стакана себе в глотку. Я же рассчитывал за это время перелить свою водку в пустой стакан, но, не имея практики, попался на горячем.

– Э-э-э! – завопил мой собутыльник, – так дело не пойдет!

Я ему объяснил: уже поздно, смотри – мы мешаем бабушке спать, и сестра тебя боится, пьяного! Пошли-ка лучше на улицу...

К моему удивлению, он легко согласился, но усовершенствовал мое предложение:

– Слушай, – сказал он, – я живу на Рымарской. Пошли сейчас ко мне – и будем пить всю ночь!

Я дал немедленное согласие, как будто всю жизнь мечтал о такой перспективе.

Мы вышли, забыв на столе водку, яблоки и еще что-то, на лестнице он тяжело опирался на мою руку, и я еле свел его с третьего этажа и крыльца, все время трепеща, как бы он не наблевал прямо в парадном: мы лишь недавно вселились, и я волновался о репутации нашей и, особенно, сестры в глазах новых соседей. Сведя, наконец, этого пьяного верзилу с крыльца, я внезапно вывернулся, вырвал свою руку из его цепких лап и бегом устремился наверх. Хорошо, что сестра ждала у двери, впустила меня – и мы тут же захлопнули дверь и вставили в нее палку вместо засова.

Еще на лестнице я слышал за собой его тяжелые, пьяные шаги, тут же раздался оглушительный стук в дверь, я спросил: «Что тебе нужно?»

– Отдай рукавицы! – послышалось из-за двери. Требование законное. Я вынес и передал в щель приоткрытой двери рукавицы, остаток водки и даже яблоки. Он все это забрал – и исчез навсегда. Ни взятой в долг полсотни, ни книжки о своем тезке (я позабыл сказать, что звали его – Коля... Ну, не Брюнон, конечно, а – Якубовский) он не вернул.

И вот через много лет, уже в шестидесятых, у Бориса на Рымарской, где он жил у второй жены, Моты, отмечался день рождения Бориса.

В маленькой чердачной комнатке народу собралось, что в трамвае в час пик. Мы с Мотей сидели рядом, выпили, по ее предложению, на брудершафт, и, несмотря на тесноту, пошли танцевать. Проводя свою партнершу в зазор между другими танцующими парами, я вспомнил табличку на входной двери: «Матильда Федоровна Якубовская» и задал вопрос, споткнувшись на еще непривычном «ты»:

– А ты, случайно, не родственница Николая Якубовского?

Вдруг Мотя остановилась, как вкопанная:

– Ты его знал?! Откуда??? Это мой первый муж!

– А где он?

– Если б я сама знала! Мы с Борисом не можем зарегистрироваться, потому что сперва надо развестись, а жив мой муж или нет, неизвестно...

Конечно, я тут же сообщил сестре о своем сенсационном «открытии». Так теперь и не знаю, нашелся ли его след. Судя по тому, что новая квартира была Борису с Мотей дана на двоих, как-то свой вопрос они решили. Но выяснилась ли при этом судьба Якубовского?

История, которую я здесь рассказал, достаточно ясно показывает, к какой среде прикоснулся Борис, связав жизнь вторым браком. И все-таки я не стал бы называть этот брак однозначно несчастным. Да, конечно, Мотя не была по интеллекту и развитию своему ровней Борису, однако многие годы была ему настоящим другом, сумела проникнуться его интересами, помогала ему в работе, знала наизусть многие его стихи и, конечно, сама много почерпнула от него в своем духовном развитии. Она принимала в доме и на даче его многочисленных и не всегда спокойных гостей, поила-кормила, скрашивала, как могла, убогий чердачный уют.

Как ни странно, развязка настала как раз тогда, когда они, наконец, не без содействия писательского союза получили маленькую квартирку – взамен той развалюхи на Рымарской, которую так живописно показал Э. Рязанов в своем фильме о Чичибабине под неудачным названием «Поэт и счетовод» (неудачным уже потому, что речь идет не о двух лицах – ср.: «Поэт и царь», «Поэт и гражданин» – а все-таки об одном...). О трагедии разрыва с Мотей – стихи «Уходит

в ночь мой траурный трамвай...» Они полны безысходной боли, безутешных сожалений и, кажется, не оставляют места для односторонних упреков. Было бы несправедливо бросить камень в сторону женщины, много лет сопутствовавшей поэту¹⁹.

Мне писали, что Мотя была на его могиле, что старость ее не легка. Знаю также, что их разладом был усугублен и без того тяжелый духовный кризис, который тогда переживал Борис. Его спас третий брак – с Лилей Карась. Об этом выразительно сказано во многих его стихах.

Теперь, когда жизненный путь Чичибабина завершен, по-новому и больней звучит его юношеский завет: «Красные помидоры кушайте без меня». Без самого поэта трудно разбираться в сложных перипетиях его жизни – и совсем неуместны здесь взаимные дразги, запоздалые упреки, с чьей бы стороны они ни исходили. И его другая заповедь, хотя и относится к конкретному адресату, мне кажется, должна быть услышана каждым из нас:

...не оскверни души своей враждой
и злостью!

¹⁹ Подробнее и конкретнее мне довелось высказаться на эту тему в своей рецензии на вышедшие в Харькове книги: «Борис Чичибабин в стихах и прозе» и «Борис Чичибабин в статьях и воспоминаниях». См.: Феликс Рахлин «Грешник-праведник». Журнал «22», Тель-Авив, 1999 г., вып. 112.

V. «ЧЕТЫРЕ КНИЖКИ ВЫШЛИ У МЕНЯ. А ТОЛКУ?..»

Мы уже видели, что приобрести читателя, быть прочитанным, услышанным, понятым – было заветной мечтой юного поэта. Именно такое стремление отразилось в его смешной и трогательной манере «самоиздаваться». Тюрьма, лагерь и последующие мытарства настолько отдалили исполнение этой мечты, что она стала казаться и вовсе невозможной. Но хрущевская оттепель все переменяла, – правда, не сразу.

По возвращении из лагеря он попал, что называется, не в свою тарелку. Прежней литературной среды практически не было: частично она была уничтожена идеологическими разгромами и репрессиями 1946, 1948, 1950-го и последующих годов, частично распугана. А частично – развращена, науськана на все честное, независимое, а то и скомпрометировала сама себя своим собственным поведением.

...Моя сестра, выйдя замуж, на первых порах ушла в семью, погрузилась в житейскую пучину, а вскоре после воцарения Никиты вынуждена была уехать в один из райцентров Сумской области, так как туда был послан ее муж – инженером межколхозной машинно-тракторной станции (заметьте: он не был ни коммунистом, ни даже комсомольцем, но, в силу семейно-бытовых обстоятельств, согласился поехать «по призыву партии» в сельскую местность «на укрепление сельского хозяйства»). А некоторые из прежних литстудийцев в период идеологических погромов были рекрутированы погромщиками в коммунистическую «черную сотню», оплевывали Чичибабина, когда он был за решеткой, и общение с ними – во всяком случае, до наступления идеологической оттепели – было для него невозможно.

С упоением внимала ему моя юношеская компания. Среди моих друзей были люди, ставшие впоследствии профессиональными литераторами (известный ныне кинокритик Мирон Черненко, рано скончавшийся кинодокументалист и очеркист Игорь Гасско). Эти несколько юношей составляли ядро того кружка, о котором я как-то уже рассказал в мемуарном очерке «Заговор перфектистов», опубликованном в Израиле (журнал «22», вып. 106).

В этой истории, казалось бы, нет прямого выхода на моего героя. Однако хватит и косвенного: его имя и стихи были нам всем хорошо

известны, и все мы в какой-то мере (а я – так в огромной) росли под его влиянием.

В 1951 году мои друзья-перфектисты уже могли оценить если не весь масштаб таланта Бориса, то уж, по крайней мере, его неординарность. Но такой аудитории ему было, конечно же, недостаточно, а другая образовалась нескоро. Гораздо, однако, скорее, чем можно было ожидать, если бы не случилась на политическом дворе России хрущевская оттепель.

С ее началом (и это также было следствием потепления советской жизни) сочли безопасным призвать меня в армию, которую, как предполагалось ранее, сын двух врагов народа мог разложить. Во время моей службы прогремел XX съезд, родители мои были реабилитированы и вернулись домой. Реабилитировали и Бориса.

Вернувшись в 1957 году из армии, я вскоре встретил его в городе – и был поражен и обрадован происшедшей в нем переменой. Радостно возбужденный, он сразу похвастался, что у него теперь много новых интересных друзей, стал читать новые свои стихи – некоторые были великолепны: «Родной язык», «Зимние стихи» (последняя их строка особенно хороша: «Отчизны отчетливый воздух», а еще там было такое: «С морозца по льду пробежаться, похукивая на руки» – Борис читал гулко, напористо, подчеркивая эти ассонансы на «у»... Между тем, стояло пыльное харьковское лето, и под влиянием стихов я почувствовал жгучую тоску по зиме, морозу, снежку...)

Среди новых друзей оказались актриса, мастер художественного слова Александра Лесникова, актер и бард Леонид Пугачев, филолог и поэт Марк Богославский... Пугачев положил на музыку и пел тюремно-лагерные стихи Бориса («Махорка», «Красные помидоры...»), через Юлика Даниэля его стихи были разнесены по литературным домам Москвы. Харьковчанин по рождению, московский поэт Борис Слуцкий (сам лишь в эти годы, во многом благодаря авторитетной поддержке Ильи Эренбурга, вышедший наконец на широкую литературную дорожку), будучи в гостях у родной сестры в Харькове, познакомился с Чичибабиным, высоко оценил его стихи и содействовал их первым публикациям – прежде всего в московских «толстых» журналах. Кажется, именно Борис Абрамович «пробил» в Москве первую книгу Бориса «Молодость». Харьков и тут оказался глухой провинцией, выжидая, пока кто-нибудь в столице по поводу стихов бывшего политзэка первый скажет восторженно-авторитетное «Э!»...

Если верно помню, первая публикация (в «Октябре» или «Знамени»?) вышла под его паспортной фамилией: Борис Полушин. А об авторе во врезке было сказано, что он – был студентом, солдатом, лесорубом, рабочим сцены... Такая вот романтическая биография. Говорилось даже, что лес рубил он на Урале или на Севере (и это совершенно верно). Однако почему не доучился, как угодил на лесоповал, какая нужда заставила таскать и ставить декорации в театре русской

драмы вместо того чтобы писать русские стихи и «с этого» жить – на эти вопросы биографическая справка хранила гордое молчанье. Из правды была выброшена самая сердцевина!

Стали появляться и новые журнальные публикации, а затем и книги. Полушин в них уступил место Чичибабину, но и у этого поэта биография оказалась весьма романтической: «Окончив в 1940 году Чугуевскую среднюю школу, поступил на филологический факультет Харьковского университета, но с начала войны оставил университет и пошел работать в авиаремонтные мастерские. Служил в Советской Армии в разных частях Закавказского фронта, работал на лесоповале в Кировской области (вот уж точно сказал он о себе: «Непоседушка я, непоседа!» – Ф.Р.). Был токарем, рабочим сцены, бухгалтером»... Ну, прямо Джек Лондон какой-то, вечный скиталец, специалист по несмежным профессиям! И это – не для первого знакомства: таким он предстает в биографической справке, предваряющей его третий (!) сборник – «Гармония» (Харьков, 1965 г.).

Еще до появления первых публикаций, а затем и после них, стихи Чичибабина попали в рабочие кабинеты Маршака, Сельвинского, Твардовского... Маршак ссудил нищего поэта деньгами. Сельвинский подарил ему книгу своих стихов с надписью: «Большому русскому поэту» (эту надпись я сам видал – так же, как другую, точно такую же, но принадлежащую перу Евг. Евтушенко – разумеется, они не сговаривались!). Сверхтребовательный Твардовский в «Новом мире» поместил чичибабинские стихи...

Вполне возможно, что я назвал не всех, а лишь мне известных покровителей музы поэта. За это прошу прощения у других...

Первая книга Б. Чичибабина «Молодость» готовилась к выходу в издательстве «Советский писатель». Когда ее уже решили издавать, в Харькове идеологические власти к Чичибабину относились еще весьма настороженно. Однако советско-писательский «узун-кулак» (беспроволочный телеграф, по Ильфу и Петрову) действовал весьма оперативно, и в Харькове тоже решили издать «первую» книгу своего земляка. Таким образом, у него вышло сразу две «первых» книги, но харьковская оказалась все-таки «первее!»²⁰ Однако если «Молодость» составлена без обилия идеологических пережимов, то харьковская книжка «Мороз и солнце»²¹ так и гремит большевистскими фанфарами.

Открывается она стихотворением «Ленин», за ним следует «Быть как Ленин», далее – «Рабочие», с рефреном: «Самые лучшие люди на

²⁰ Сам Б. Чичибабин называл своей первой книжкой все-таки московскую: потому, видимо, что с нее «все началось». Но по датам подписания к печати харьковская (04.06.1963) опередила московскую (29.06.1963) на 25 дней.

²¹ Одновременно вышла в свет одноименная книжка стихов А. Алдан-Семенова – тоже бывшего ээка.

свете – это рабочие!» (прилагательное в этом рефрене богато варьируется: «самые сильные», «смелые», «щедрые», «дружные» – словом, как говорится, «далее везде»).

Хочу уточнить свою позицию. У Бориса такие стихи, действительно, были. Часть из них он создал потому, что, действительно, «так думал», искренно исповедовал коммунистическую идеологию, как огромное большинство современников. Я не собираюсь его в этом упрекать, тем более, что и сам думал примерно так же. Однако другую часть своих «идейных» произведений он написал именно в связи с конъюнктурой, политическим ангажементом своего времени, а главное – власти.

Впрочем, стихи искренние от конъюнктурных отличить нетрудно: первые – это стихи, а вторые – ... нестихи! (Я украл этот «термин» у своей сестры). Коммунистическая идея была созвучна альтруистическим порывам его души, и в этом случае рождались такие, например, строки:

Знать не хочу ни угла, ни имущества.
Мне бы еще раз пожить да помучиться.
Вот что люблю я и вот что я знаю:
солнца красу,
сосны в лесу,
рыбу в реке,
книгу в руке –
да Революции алое знамя!

Уж как там ни относиться к революции, а ведь – красиво!
Он признавался, –

что хоть и холоден очаг,
что хоть и слова молвить не с кем,
но до сих пор в моих вещах
смеется галстук пионерский.

Вот такие стихи ничто не заставляло его писать, кроме собственных чувств, мыслей, заблуждений. Ведь даже свой призыв к бунту («Мать моя посадница») он сочинил с мечтой: «То-то ладно заживем по заветам Ленина!» – из-за нее и в тюрьму попал, не понимая, что туда его посадили как раз в соответствии с теми заветами... Так отчето было ему не написать о Ленине стихи с рефреном (рефрен – один из его излюбленных приемов письма): «Я хочу быть таким, как Ильич!» Или – о том, как «именем Советской власти комсомольца взяли под замок», и к нему в мечтах явился Ильич «и присел на узкую кровать» (к Багрицкому – вы помните? – в порядке бреда приходил и присаживался на койку Феликс Эдмундович, – хорошая компания у наших поэтов!). Но ведь из-за того, что у Багрицкого в «ТБЦ» не та компания и не те идеи, которые нам сейчас по сердцу, нельзя же отрицать, что поэма – талантлива, как и ее автор.

Все эти соображения мне важны потому, что как в Израиле, так и на родине Чичибабина его и устно, и письменно упрекали в приспособленчестве, искательстве. Я хочу защитить его от незаслуженных упреков и, вместе с тем, показать, как время, политика и человеческая подлость деформировали даже независимый характер и губили даже честную репутацию.

Приняв за истину официально насаждавшийся, канонизированный образ «великого и простого», «самого человеческого» Ильича, он тем более в своем спонтанном, не для официальной печати творимом, творчестве возмущался «пузатыми кесарями», «жирными мальвами», чей «бархат был тяжел и огнен» – вроде бы в цвет любимого флага, но – иной, фальшивый. Может, если б не провинциальные редакторы, ходившие «под обкомом», то и не было бы в его книжках бьющей в уши барабанины, больше осталось бы стихов искренних, не искаженных. Но в том-то и дело, что редакторы, подталкиваемые сворой партийных надзирателей, бдительно стояли на страже. А измученному, выморенному безвестностью, обнадуженному оттепелью поэту очень хотелось выйти, наконец, к читателю.

На чичибабинском вечере в Иерусалиме (июнь 1994 г.) наша общая с ним давняя приятельница Рената Муха пересказала их разговор того времени. Она у него спросила:

– Слушай, зачем ты согласился на требования редакторов?

– Напечататься очень хотелось, – ответил Борис, смущенно улыбнувшись.

По всей правде, то была не единственная причина. Советская система публикации угодных и удушения негодных авторов была разработана весьма тонко и хитроумно. Автор получал под издаваемую книгу большой аванс, разумеется, тратил его – и тут попадал в кабалу к издательству: выйдет книга – уплатят и остальное, не выйдет – могут по договору аванс и удержать. Хорошо, как есть из чего отдать, а ежели не из чего? Поневоле станешь шелковым. А гонорары выплачивались между тем весьма щедрые, и большой был соблазн послать к чертям немилую (в данном случае – бухгалтерскую) работу и профессионализироваться в писательстве. Освободить себе время для «чистого» творчества. Так жили многие «звисные пысьменныкы», как – на якобы «украинском» – пел Юлий Ким в веселой песенке о Коктебеле, – и не «звисные», никому не ведомые – тоже. Можно назвать десятки писательских имен, которых нынешний читатель начисто не помнит, хотя прошло не так уж много времени. А ведь эти литераторы прожили долгую жизнь – и кормили себя и своих домашних, в основном, от литературных трудов своих...

Наиболее талантливые или удачливые – или же такие, кому мирволили власти – «стригли купоны» с многочисленных переводов своих книг, издаваемых в «братских республиках» и за рубежом. Драма турги – с доходов от постановок своих пьес. Киносценаристы – с так

называемых «потиражных». Эстрадники и «текстовики» – с каждого исполнения своих программ, песен, реприз. Ошибочно думать, что эта жизнь была «разлюли-малина». Какая-то верхушка, действительно, благоденствовала, но большинство профессиональных литераторов было приковано к своей литературной тачке: издаст, скажем, книжку в год – жизнь обеспечена, не издаст – «так таки да – плохо!»

Отсюда – необходимость для профессионального писателя в сторонней «халтуре» в виде руководства литературной студией, регулярных платных выступлений перед «трудящимися», оплачиваемых (чаще всего профсоюзами) «творческих отчетов» и т. д. Отсюда же и крайняя зависимость от работодателя: издательств, редакций и редколлегий журналов, лично от редакторов и целой камарильи всяческого влиятельного сброда. И разные виды заискивания, задабривания, соперничества, периодические возлияния за свой счет в пользу «нужных людей», «могарычевые дела» и тому подобная гнусь превращались в норму писательского быта. Говоря словами Блока, «так жили поэты».

Всего этого, однако, Борис Чичибабин не знал или знал недостаточно, – когда принял решение расстаться со счетами и арифмометром, чтобы всецело отдаться творчеству. И со многими реалиями вскоре же столкнулся. Прежде всего – с охранительной редакторской политикой. И – Бог мой, как же сильно он себе навредил, соглашаясь на правки, которые у него, по-видимому, вымогали под угрозой зарубить книжку (иного объяснения его странной сговорчивости найти не могу...)

Вот один из самых ярких примеров.

В главе «Красные помидоры...» полностью цитировалось одно его тюремное стихотворение и было упомянуто другое – тоже лагерное: «Махорка». Первое Евтушенко назвал шедевром, без которого немислима теперь любая сколь-нибудь полная антология русской поэзии. Я считаю, что то же можно сказать и о втором. «Помидоры» вообще, кажется, напечатаны впервые в СССР уже во время «перестройки». «Махорка» же увидела свет еще в 1965 году – в книге «Гармония». Но – в каком виде?! Мне, читавшему это стихотворение в авторской рукописи, когда он отсидел лишь малую часть из своей «пятилетки», было физически больно увидеть его в книге. Сейчас поймете, почему.

«Махорка» написана (а, скорее всего, сложена устно, без записи на бумагу) в 1946 году и принадлежит к тем, буквально считанным, стихотворениям, дату создания которых Чичибабин счел нужным проставить под текстом при публикации в своей первой бесцензурной книге «Колокол». Родилось оно в тюрьме и принадлежит к не слишком многочисленным у Чичибабина произведениям на тюремно-лагерную тему.

Сравним первоначальный (привожу его по памяти) и «отредактированный» автором под нажимом издательства «Прапор» тексты. Сначала, впрочем, они полностью совпадают:

Меняю хлеб на горькую затяжку,
родимый дым приснился и запах.
И жить легко, и пропадать не тяжело
с курящейся сигаркою в зубах.
Я знал давно, задумчивый и зоркий,
что неспроста, простужен и сердит,
и в корешках, и в листиках махорки
мохнатый дьявол жметя и сидит.

Пока что у редакторов нет оснований беспокоиться. Налицо лишь неоспоримо высокие качества текста: нестандартность (родимый ДЫМ – вместо ожидаемого ДОМ, необычный порядок слов – вроде бы, алогичный: привычнее было бы (но ведь и скучней!) – «сидит и жметя», и почему «приснился и запах»?). – Но ведь как красиво – даже сердце щемит... Отчего такая напряженная, драматическая экспозиция, что заставило героя поступиться хлебом ради ядовитого зелья? Куда это его забросило от «родимого дыма»? И, главное, почему?

Все подобные рассуждения, конечно же, не одолевают читателя, но возникают в его «предсознании». Дальнейший текст, в своем первоначальном варианте, отвечает на все вопросы, потому что в нем содержатся реалии тюремной жизни. Драматизм экспозиции и завязки, таким образом, вполне оправдан. Но это никак не устраивает советского редактора: «у нас» поэты в тюрьме не сидят, а сидят – враги и преступники. Следовательно, надо текст менять, чтобы и догадаться ни одна собака не могла, что речь о тюрьме.

Вот и пошла писать губерния: редактор давит на автора – автор душит сам себя.

Первоначальный вариант:

А здесь, среди чахоточного быта,
где номера зловонны и мокры,
все искушенья жизни позабытой
для нас остались в пригоршне махры.

Новая редакция:

А здесь, где все заманчиво и ново,
Где холод лют, а хижины мокры,
Все ароматы быта городского
Для нас остались в пригоршне махры.

(разрядка здесь и дальше моя. – Ф.Р.)

Оказывается, трагедия не в том, что человек попал в неволю (о таковой в свободной стране какой может быть разговор?), а горе –

разлучиться «с ванной, гостиной, фонтаном и садом», попасть из домашних условий – в походные!

Следующую строфу менять не пришлось – почти. Но это такое «почти», которое на деле означает «аж!»

Первоначальный вариант:

Горсть табаку, газетная полоска...
Какое счастье проще и полней?
Но вдруг во рту погаснет папироска,
и заскучает в оля обо мне.

Новая редакция:

Но вдруг во рту погаснет папироска,
и заскучает кто-то обо мне

Не правда ли, выразительный синоним у «воли»? Редактору решительно безразлично, что от такой подмены обесмысливается стихотворение (ведь если хоть кто-то все же скучает по герою, то вся горечь предыдущих и последующих раздумий просто ни к чему...). Так оно и оказывается – по требованию палачей-редакторов автор добивает свое детище:

Первоначальный вариант:

Один их тех, что – «ну, давай покурим»,
сболтнет, печаль надеждой осквернив,
что у ворот задумавшихся тюрем
нам остаются рады и верны.

Новая редакция:

И добрый друг, неумолимый деспот
ввернет словцо, не ведая вины,
что нас еще не разлюбили, дескать,
что, дескать, ждут нас, рады и верны.

Всевышний не остановил руку Авраама – сын его Ицхак, его детище, его кровиночка, погибает... Для Поэзии такие жертвы убийственны. И неслучайно, вместо глубоко впечатляющего образа «задумавшихся тюрем» (кто стоял у их мрачных, безмолвных ворот, тот его особенно веско оценит), выплывают не замеченные ни редакторским, ни, главное, авторским взором и ухом весьма немелодичные «насрады»... (См. выше: «Ждут нас, рады...»)

Мудрено ли, что в окружении таких строк читатель не запомнил ни тревожный зачин, ни горестную концовку, хотя они и не подверглись кастрации:

А мне и так не жалко и не горько,
я не хочу нечаянных порук.
Дымись дотла, душа моя махорка,
мой дорогой и ядовитый друг.

Ну, как оценить высочайшие и трагичнейшие чувства, коими проникнуты и зачин, и финал, если выедена и выплюнута середина, утаена глубинная причина трагедии?!

Судьба некоторых правок, произведенных тогда Борисом, довольно загадочна. Ну, почему, возвратив «Махорке» в своих «перестроечных» книгах ее первоизданный вид, он все-таки оставил вместо выразительных «номеров» (так в тюрьме иронически называют камеры) фальшивые «хижины»?²² Ну, какие хижины в тюрьмах? А если даже он, забыв, что стихи именно тюремные, решил перевести их в лагерный план, то и тут хижины ни при чем: лагерные бараки их ничуть не напоминают. И куда девались тюремные «ароматы» – ведь было: номера з л о в о н н ы !

* * *

Пример с «Махоркой» – не единственный. В одном из задушевнейших стихотворений Бориса – в его поэтической декларации «До гроба злости не избуду...» «злость» была при публикации заменена на «страсть» – да так эта неуместная «страсть» осталась и до сих пор. Следующая строка: «В края чужие не поеду» – как раз вполне устраивала идеологических стражников. Хотя дело было в середине 60-х, то есть задолго до начала эмиграционного движения 70-х – 90-х годов, но на всякий случай, в стране, отгородившейся от всего мира, она пришлась ко двору.

У Бориса эта мысль возникла, скорее всего, в связи с полной невозможностью поехать за рубеж: денег на это не было, его туда не звали, да и не выпустили бы. Тогда из Союза выезжали только особо доверенные люди... Когда же настали перестроечные времена, и возможность поглядеть на мир появилась, он поехал, да еще и с удовольствием: и в Италию, и в Германию, и – дважды – в Израиль... Пусть, однако, никто не усмотрит в этих словах упрека поэту в неискренности; просто не нужно, читая стихи, забывать –

...о поэтической позе,
именуемой нашей судьбой.

(Марк Богославский, из юношеских стихов).

Но вернемся к стихотворению Бориса. Далее он декларирует:

Я не был сроду – и не буду,
каким пристало быть поэту.
Не в игрищах литературных,
не на пирах, не в дачных рощах –
мой дух возвращивался в тюрьмах,
этапных, следственных и прочих.

²² Эту же несообразность отметил в своем интервью «Лит. газете» Ю.Милославский.

Мы уже видели, что советская тюрьма в советской литературе – понятие табуированное. Особенно же недопустимо было упоминать, что автор там сидел. Помнить об этой «строчке» его жизни должны были только «органы». Но стыдливое отношение к тому, что в стране имеются тюрьмы, не оставляло наших правителей долгие годы. В 1980 году, когда через Харьков бегуны-спортсмены должны были пронести огонь Московской Всемирной Олимпиады, на одном из корпусов огромной Холодногорской тюрьмы (давшей некогда название всему району Холодной горы – ведь в старые времена узилище называли словом «холодная»²³) нарисовали фальшивые окна, чтобы участники олимпийской эстафеты и следующего за нею эскорта не догадались об истинном назначении этого угрюмого здания...

Мудрено ли, что редактор не мог оставить в книжке упоминание ни об этапных, ни о следственных, ни, тем более, о прочих тюрьмах.

Редактор морщится – поэт меняет строчку, неизбежно меняется и рифма, и стихотворение приобретает вполне кастрированный вид: никаких вам «игрищ», а им на смену приходит нечто постноблагоднадежное:

Не на читательских трибунах,
не на пирах, не в дачных рощах, –
мой дух возвращивался в буднях,
в трудах строительных и прочих.

Далее идут «приемлемые» строчки, и даже –

Мне жизнь дарила жар и кашель –

сошло (кашлять и температурить – разрешается...). Однако потом – опять не слава Богу:

...а чаще сам я был нешёлков
когда давился пшенной кашей
или махал пустой кошелкой...

Редактор ошарашенно смотрит на автора. Оба они перед встречей вдоволь намахались пустыми кошелками в поисках хлеба насущного – и домой возвратились с полупустыми, – да ведь писать-то про это нельзя, а уж тем более – печатать! Нет уж, вы, Борис Алексич, исправьте! И вместо позорной, но яркой и правдивой авоськи в стихах возникает нечто стертное:

...по-голубиному не хаживал,
по-соловьиному не щелкал.

²³ Встречавшееся мне в печати утверждение, будто Холодной эта гора называется потому-де, что там холоднее, чем в других районах города, – полагаю, вздорная выдумка, «народная этимология».

У большого Поэта – пронзительные строки:

Поэтам снится только вольность,²⁴
а я с неволей не расстанусь,
а у меня вылезит волос
и пять зубов во рту осталось...

– Чш-ш-ш! – пугается редактор. И понять его можно: слово «вольность» из русского языка было изъято еще императором Павлом, а кроме того, разве ж можно – «пять зубов»? Для советского писателя маловато...

И поэт, беззубый после пяти лет тюрьмы и лагеря, расставшись с пшенной кашей, которую ему все равно не прожевать, – варит манную:

Бывало тягостно и плохо (??? – Ф.Р.),
но, громовой и оберукий...

(...а это еще что такое: «оберукий»? Неужто вместо «пяти зубов»?)

Я сам творил себя, эпоха,
прорабом, а не побирухой.

Боюсь, что мой рассказ о расправе над стихотворением не позволяет читателю оценить первоначальный его текст, исполненный достоинства и гордости. Особенно они звучали в рефрене:

И все-таки я был поэтом!

Рефрен этот рельефно выделялся на фоне таких признаний:

Я был простой конторской крысой,
знакомой всем грехам и бедам,
водяру дул, с вожжами грызся,
тишком за девочками бегал...

В первоначальном варианте было – «с друзьями грызся»; «с вожжами» – и звучней, и выразительней, но до поры до времени было бы неправдой – жизнь, однако, позаботилась о том, чтобы столкнуть его и с вожжами... Так или иначе, но редакторская цензура не пропустила даже грызню с друзьями, а уж о водяре, конторской крысе и девочках и говорить нечего: «не положено!» Все четыре строки были похерены.

В строфе:

Влюбленный в черные деревья
да в свет восторгов незаконных,
я не внушал к себе доверья
издателей и незнакомок... –

²⁴ Цитирую первоначальный текст, сохранившийся в моей памяти. Впоследствии строка приняла такой вид: «Поэты прославляли вольность...»

голубые издательские мундиры не могли, конечно, стерпеть объяснения поэта в любви к чему бы то ни было «незаконному», а потому строчка была заменена:

...в зверюшек, в рыбок, в насекомых... –

после чего упоминаемое в стихотворении отсутствие доверия издателей к поэту стало уж абсолютно немотивированным: вышло, что даже любовь писателя к растительному и животному миру кажется им подозрительной.

А трагическая концовка:

И все-таки я был поэтом,
в три Бога мать! – я был поэтом,
я был взаправдашним поэтом –
и подыхаю, как поэт... –

изящной подменой одного словечка превратилась в светлый апофеоз. Нет, речь идет не о полуматерном речении – его Борис читал лишь в тесной компании, заменяя в более широких аудиториях вежливым эвфемизмом: «Ей-Богу, так...», – тут он и сам знал меру и вкус²⁵.

Я имею в виду другое: по настоянию редакторов он заменил «некрасивое» п о д ы х а ю на оптимистическое... ПОБЕЖДАЮ.

Вот, господа, как надо укрощать художников!

* * *

Столичный вариант. Выше упомянуто, что московская книжка – «Молодость» – не была столь же заидеологизирована, как харьковские сборники. Отчасти, возможно, это потому, что редактором был «все-таки» поэт (Егор Исаев). Однако и здесь редакторское вмешательство носило все тот же охранительный характер. Даже по краткой биографической справке это видно. Там сказано: «Борис Чичибабин – харьковский рабочий. Последнее время он работал в таксомоторном парке». Так – да не так: в этом парке он и в самом деле служил, но, как сам писал в стихах, – «конторской крысой». Однако, по советским понятиям, рабочий – «красивше»... Соцреалист Е. Исаев выправляет этому чудаку Чичибабину биографию – или вынуждает его самого на такую правку.

Было:

Их стих богатый,
во взорах – молнии.
А я – бухгалтер,
чтоб вы запомнили.

²⁵ Но редактору и того оказалось мало: «ей-Богу» не подошло с точки зрения научного атеизма, и строчка приняла такой вид: «Сто тысяч раз я был поэтом!»

Стало:

Их стих рокочет
и мечет молнии.
А я – р а б о ч и й :
чтоб вы запомнили.

Переквалификация – мгновенная!

Будущий лауреат Ленинской премии Е. Исаев²⁶ задним числом исправляет бывшему эзку его неприглядную, неблагонадежную анкету.

Было:

Со мной в тюрьме и в армии
Поэзия была.

Стало:

Со мной в страде и в армии
Поэзия была.

А в самом деле: место ли поэзии в тюрьме? Туда только поэтов сажают. Перечень таких примеров можно было бы продолжить...

* * *

Неверно думать, что Чичибабин не сознавал, насколько все это ужасно. На книжке, которую он мне подарил, было признание:

«...со жгучим стыдом за эту кастрированную книжку».

Все-таки эти жертвы становятся понятны, когда видишь, рядом с изувеченными обрубками, творения, сохранившие первозданный вид. Пусть ценою прискорбной сделки, но свет увидели такие достижения его лиры, как «Битва», «Чем ты пахнешь, яблоня...», «Любить, влюбиться – вот беда...» и другие. Стоило ли ради этих стихов калечить и убивать другие – вопрос пустой. Можно лишь сказать по Твардовскому: «Так это было».

Насколько внутренняя цензура вошла в плоть и кровь как авторов, так и издателей, покажет и такой пример. В журнале «Дружба народов» в начале «перестройки» было опубликовано знаменитое «диссидентское» стихотворение Чичибабина «Памяти А.Т. Твардовского» – именно то, которое (вместе со стихами об «уходящих» и «остающихся») стоило автору исключения в 1973 году из Союза советских писателей²⁷. Одна из самых крамольных строф звучала так:

И если есть еще народ,
то почему его не слышно
и отчего во лжи облыжной
молчит, дерьма набравши в рот?

²⁶ Впрочем, может быть, и не он: стихотворение уже побывало в руках журнальных редакторов, обеспечивающих первую его публикацию...

²⁷ В упоминавшихся уже воспоминаниях соученика Бориса по чугуевской школе Н. Коржа ошибочно «стихи, посвященные Твардовскому» указаны как причина его ареста в 1946 году. Но «Посадница» не посвящена Твардовскому, стихи о нем написаны после смерти Твардовского.

Не знаю: сам ли поэт или по требованию редакции произвел замену, только вместо *д е р ь м а* в журнале напечатано: *в о д ы*.

В своем письме критику Т. Ивановой, которое она обильно процитировала в одной из своих публикаций, я указывал и на этот пример позднего рецидива цензорского мышления. Уж не знаю, это ли послужило толчком, но в обоих изданиях книги «Колокол» восстановлен первый вариант – хотя и менее ароматный, зато более точный.

(Хочу воспользоваться случаем, чтобы исправить собственную неточность. В упомянутом моем письме к Т. Ивановой есть рассуждения, основанные на ошибке в моем списке стихотворения: переписчик написал вместо «облыжный» – «сольжный», я же принял это за оригинальный неологизм, придуманный Чичибабиным, и принялся его расхваливать. На ошибку мне указал сам автор – я готов был провалиться от такого конфуза, но он лишь снисходительно улыбался).

История литературы, особенно русской, знает немало примеров того, как проницательные текстологи терпеливо освобождали произведения классиков от цензурных искажений, восстанавливали подлинный текст. В случае с Борисом Чичибабиным (думаю, правда, что он не был единственным автором, с которым это произошло) дело куда сложнее: ведь правку выполнял сам автор²⁸, и разобраться, где он внял указаниям литературно-идеологических скалозубов, а где «сам так захотел», часто совершенно невозможно. Однако, может быть, найдутся автографы, авторитетные списки или копии чичибабинских рукописей?

Хочется верить, что выйдет в свет полное собрание сочинений Бориса Чичибабина. Если не удастся установить «канонические» тексты, то, по крайней мере, стоит опубликовать варианты стихов, которые помогут читателям лучше понять и оценить личность поэта, а также трагедию и почерк его времени.

²⁸ Сестра, однако, пишет мне: «Один раз мы были вместе в издательстве... и он сказал своему редактору Жене Сурковой: «Ну, Женя, ну, вы же знаете: я этого ничего не умсю. Ну, переделайте сами», а я продолжила: «Что-то убавьте, что-то напишите заново». И был общий хохот». Я все-таки считаю сомнительным, чтобы Чичибабина правил собственноручно редактор: уж слишком «чичибабинская» в этих правках вся поэтика и стилистика.

VI. «ИЗ ВСЕХ СКОТОВ МНЕ ПО СЕРДЦУ ВЕРБЛЮД...»

Давайте сначала вспомним это стихотворение:

ВЕРБЛЮД

Из всех скотов мне по сердцу верблюду.
Передохнет – и снова в путь, навьючась.
В его горбах угрюмая живучесть,
века неволи в них ее вольют.

Он тащит груз, а сам грустит по сини,
он от любовной ярости вопит.
Его терпенье пестуют пустыни.
Я весь в него – от песен до копыт.

Не надо дурно думать о верблюде.
Его черты брезгливы, но добры.
Ты посмотри, ведь он древней домбры
и знает то, чего не знают люди.

Шагает, шею шепота вытягивая,
проносит ношу, царственен и худ, –
песчаный лебедин, печальный работяга,
хорошее чудовище верблюду.

Его удел – ужасен и высок,
и я б хотел меж розовых барханов,
из-под поклаж с презреньем нежным глянув,
с ним заодно пописать на песок.

Мне, как ему, мой Бог не потакал.
Я тот же корм перетираю мудро.
И весь я есмь моргающая морда,
да жаркий горб, да ноги ходока.

Случайно сохранились листочки с моей дневниковой записью об истории создания этих стихов:

«5 декабря 1964 года.

Пугачев как-то спросил у Бориса:

– Какое животное тебе больше всего по сердцу: жираф, страус или верблюд?

(Кажется, они шли по зоопарку).

Борис ответил, примерно, так:

– Жираф – он какой-то не наш, не настоящий. Страус – дурак. А вот верблюд – другое дело, верблюда я понимаю.

Под влиянием этого разговора были написаны им потом стихи о верблюде, которые я отношу к лучшим в его творчестве.

За одну точную портретную строчку:

«Его черты брезгливы, но добры», –

я готов был его расцеловать.

Сам он, прочтя сегодня это стихотворение для Б.М. Рабичкина, воскликнул:

– Классика!

То есть, сам он тоже ценит его больше других стихов.

Еще Борис сегодня читал у Марлены «Кацивели», стихи о Достоевском, «Пастернаку» («Как холодно нам без тебя смеяться и плакать») и др. Были Лесникова, Пугачев, Валька Чаговец, Филатов».

Недавно, в телефильме о Чичибабине, автор и ведущий – Эльдар Рязанов назвал несколько особенно ценных им стихотворений Бориса, и среди них – «Верблюд». Мне было очень приятно, что наши оценки сошлись... Сегодняшняя рязановская – с той моей давней, зафиксированной в старой и едва не утерянной записи.

Запись эта, кроме истории написания одного из стихотворений Бориса, дает некоторое представление о тогдашнем круге его общения: Александра Лесникова – мастер художественного слова, заслуженная артистка, популярная в Харькове «чтица», еще в конце 50-х – начале 60-х годов включившая стихи Чичибабина в свой репертуар и читающая их до сих пор (я слушал ее в 1995 году на весеннем Чичибабинском празднике поэзии в Харьковском институте культуры). У поэта есть стихи ей посвященные, где он называет ее «русской Шахерезадой»:

О язычница севера, светлое чудо,
в наши трезвые сны ты зачем и откуда!..
Ты проста неспроста. Сердцу снится твой облик.
Ночь запутала хмель в волосах твоих теплых.
Вот еще один друг мне судьбою подарен.
Мне слова ни к чему. Я молчу, благодарен.
И люблю твой талант – человечный и вещей,
и свищу тебе в лад свои лучшие вещи.

(«Александре Лесниковой», в кн.: Б. Чичибабин, «Гармония», Харьков, 1965).

В другой, свободной от вычерков, редакции это давнее – конца 50-х годов – послание напечатано в предсмертной книге Бориса «Цветение картошки». Вот строки оттуда, которые никак не могли увидеть свет в прежние времена:

За стихи, что от шпиков таились под спудом,
за пропавших во тьме и за выживших чудом,
за влюбленных пришельцев из лагерной школы,
чудаков с чердаков, чьи певучи глаголы...

Несколько слов о других лицах, упомянутых в моей записи.

Рабичкин Б.М. – киевский литератор, знакомый Марлены.

О Пугачеве уже шла речь, подробнее о нем рассказ впереди – в главе «Художник, бражник и плужник».

Валентин Чаговец – харьковский тележурналист и литератор, автор книжки рассказов «Топографы».

Аркадий Филатов – физик, поэт и журналист, долгое время друживший с Борисом и Марленой.

Наверное, лишь случайно в тот вечер в кругу друзей не было Марка Богославского с женою Олей Кучеренко. Филатов, Богославский, Пугачев, Марлена – вот, пожалуй, наиболее тесный круг тогдашних друзей Бориса.

По крайней мере, троих из них через несколько лет коснется донос, написанный одним харьковским официозным поэтом.

В стихотворении Чичибабина «Живем – и черта ль нам в покое...» есть такая строфа:

Я грелся в снежные заносы
у Революции костров,
и на меня писал доносы
Парис Жуаныч Котелков.

Вслед за автором назовем и мы этого поэта таким необычным именем...

С «Парисом Жуанычем Котелковым» у меня связано несколько разнообразных воспоминаний – довольно противоречивых. Не стоит представлять его таким уж монстром, записным сексотом. Говорят, когда-то был он неплохим поэтом, но я этого времени уже не застал. В Харькове он занимал положение официозного мэтра, периодически возглавлял парторганизацию Союза писателей, писал и выпускал книжки плохих стихов (среди которых помню и славословие Брежневу, написанное еще тогда, когда будущий генсек только начал выдвигаться на первый план – там было что-то про храброго «чернобрового полковника»). Помню, как меня удивила и озадачила хвалебная рецензия в «Литературной газете» на его книгу – она была подписана

самим Михаилом Светловым – не только авторитетным, но и чрезвычайно строгим ценителем стихов. Книжку свою Котелков подарил мне сам (мы были знакомы), читать ее было невозможно... Как мне известно, именно Котелкову было посвящено стихотворение З. Вальшонка «Снимите шляпу: книги умерли...», кончающееся так: «О нет, уж лучше от инфаркта дух испустить в какой-то миг, чем шествовать за катафалком безвременно усопших книг!»

В начале «поэтического бума» конца 50-х – начала 60-х годов после литературного вечера моей сестры к ней в квартиру на Подгорной набилось народу, как в трамвае, и сюда же явилась группа «правильных» писателей, вдруг полелевшая... Хорошо помню Котелкова, пившего водку по-фронтовому – из железной кружки... Тут дело не в кружке (стаканов и стопок на всю ораву не хватило) и не в водке даже (Котелков алкашом не был), а вот в этой внезапной, вызванной временным креном в общественных настроениях, готовности демонстративно браться с теми участниками литературной жизни, коих раньше он, в лучшем случае, в упор не замечал, а в худшем – жестоко травил.

Скоро он опять поправел: например, выступая перед «читателями» у нас на заводе (часть из них не читала никогда и ничего и почти все определенно не читали Котелкова), писатель объяснял читателям, почему партия критиковала стихотворение Евтушенко «Бабий Яр»: «Вы понимаете, друзья, мы все сочувствуем евреям, которых убивали фашисты. Но у Евтушенко получается, что фашисты убивали только их, а ведь это неправда». У Евтушенко так не «получалось» – он писал о евреях как жертвах специально направленного геноцида, вековой антисемитской традиции, выразившейся и в отсутствии памятника над Бабьим Яром. И Котелков это отлично знал. Но как солдат свой криводушной партии защищал ее фальшивую политику.

О доносе Парис-Жуаныча мне известно вот что. В 1966 году был осужден, вместе с Синявским, Юлик Даниэль, и это, в глазах всезнающих властей, бросило тень на харьковчан, с которыми он общался: Кадю Филатова, Марлену, Бориса, Марка. У Бориса и Марлены в производстве были книжки, которые все же успели выйти. Но потом против них приняли закулисные меры, в результате которых дальнейшие публикации были полностью заблокированы. Оставалась лишь одна отдушина: их произведения лежали в портфеле редакции «толстого» журнала, выходившего в Киеве на русском языке. Отделом поэзии там заведовала NN. Она-то и сообщила Марлене по секрету, что главному редактору журнала пришло письмо от члена

редколлегии П.Ж. Котелкова. «По нашим сведениям» (писал Котелков), Рахлина, Чичибабин и Богославский (возможно, там были и другие фамилии) «связаны» с небезызвестным Даниэлем, и поэтому от публикаций их стихов следует воздержаться. Особая подлость доноса состояла в том, что к тому времени «связана» с заключенным Даниэлем из них из всех фактически была лишь Рахлина – именно она вступила в переписку со старым другом. Таков был всю жизнь ее, если хотите, принцип – она бесстрашно высказывала его гебистам, не раз пытавшимся ее запугивать и увещевать во всех своих «профилактических беседах» с нею: «Я друзей не предаю». А что это были не просто слова, свидетельствуют и поездки к Борису, и переписка с заключенными Даниэлем и Алтуняном, ссыльной Ларисой Богораз.

Когда Марлене впервые передали письмо от Юлика Даниэля из лагеря (конец 1966 г.), меня, помню, более всего поразило – нет: потрясло! – обратный адрес: Мордовская АССР, станция Потьма, поселок Явас... Это был адрес лагеря, где большую часть своего заключения отбыла наша мама. Именно там мне довелось в 1954 году пережить страшные дни и часы: мне не давали обещанного свидания, потом предоставили – но лишь два часа, притом в присутствии целой своры лагерного начальства, а мать, между тем, была истерзана сведавшей ее душевной депрессией, непрерывной тревогой, предшествовавшими днями ожидания встречи, столкновениями с начальством, объяснившим ей, что свидание не состоится... Поразительно, что одним из наиболее зловредных маминых мучителей там, в лагере, оказался начальник режима ее лагпункта капитан Перетягин, внешне, лицом, как две капли воды похожий на... Бориса Чичибабина! Не веря собственным глазам и памяти, я решил себя проверить и в разговоре с мамой спросил, несмотря на то, что этот Перетягин сидел за моей спиной (и лицом к узнице – они все так сидели, видно, так было специально задумано):

– Мама, ты обращала внимание на сходство вашего начальника режима с... Ну, на кого он похож?

– На Бориса! – не задумываясь сказала мать. Ну, конечно: сходство было полное. Маму стерег, охранял и мучил физический двойник Бориса, выходец из калужской или рязанской деревни... Чего не бывает!..

Потом, после юридической и политической реабилитации родителей, пережитой в семье как самый светлый праздник, я и думать забыл о той Потьме, о том Явасе – не то чтобы они ушли из памяти, но мне почему-то думалось, что лагеря того (в системе ГУЛАГа он именовался «Дубравлагом») уже давно не существует. И вот – на тебе:

даже номер почтового ящика не изменился! И сидит в том лагере Юлик Даниэль, который когда-то, будучи совсем юным, подбил меня на то, чтобы выкрасить нашему рыжему коту «губы» Марлениной помадой. А сторожит Юлика, может быть, все тот же Перетягин...

Итак, в результате доноса (ну, конечно, не только его!), Бориса, Марлену, Марка вовсе перестали печатать, и этот запрет продолжался два десятилетия! Только перестройка вернула в литературу этих поэтов, стихи которых были помещены во всесоюзных (потом, соответственно, в российских и украинских) журналах и вышли отдельными книжками.

А тогда, в середине шестидесятых, «при Борисе» состоял еще и Алик Басюк (о нем – отдельная, VIII-я, глава). Временами наезжал из Москвы Юлик Даниэль. Они с Борисом не были близки, но все же иногда встречались в компании общих друзей. Сложность, неоднозначность их взаимоотношений оставляю за рамками своего повествования.

Помню, как незадолго до своего ареста, в разгар застолья по случаю 40-летия Марлены (29 августа 1965 года) Юлик появился в ее квартире на Подгорной. Дверь из коридора отворилась, он возник и остановился у входа, щурясь на яркий свет; я, потрясенный его появлением из Москвы, так же молча вскочил со стула и «по-ленински» устремил к нему правую руку, указующую перстом. Все были обрадованы, но мне хорошо запомнилось тревожное, подавленное состояние гостя. Он стал рассказывать о сгущающихся в Москве тучах над зачатками свободной мысли, о сталинистской ориентации нового – брежневского руководства (со времени смещения Хрущева не прошло еще и года). Когда вскоре стало известно об аресте Юлика, я живо припомнил эти его настроения и понял (до сих пор убежден), что, кроме тревоги за судьбу страны и общества, они объяснялись его опасениями за свою личную судьбу. Мы в Харькове (по крайней мере, я и сестра) ничего не знали о его «второй жизни», то есть о том, что он-то и есть тот таинственный Николай Аржак, о котором уже несколько раз писали советские газеты – как и об Абраме Терце, оказавшемся его другом Андреем Синявским.

Но вот – уж не помню, как – стало известно об их аресте, и к Марлене пришел буквально сраженный этим известием Кады (Аркадий) Филатов. Это был талантливый и независимо державшийся молодой человек, писавший интересные, яркие стихи. Как-то у одного молодого литератора, хорошо знавшего литературный Харьков, я спросил: неужели Борис – один действительно стоящий поэт во всем городе, нет ли еще кого-то примерно того же масштаба. В ответ мне

была названа фамилия Филатова. Через время они с Борисом познакомились и сдружились.

Говоря об аресте Юлика, Аркадий, помню, зарыдал: он с Даниэлем дружил, бывал у него, оставил в его квартире свою рукопись... Я был потрясен и, хотя обычно все больше помалкивал в присутствии столь уважаемых мною литературных китов, тут счел необходимым заметить, что-де «слезами горю не поможешь» и что «нам» надо хорошенько подумать, что предпринять.

Предпринято ничего не было: Даниэль с Синявским были громко судимы, протестов никто из харьковчан не подписывал, Марлена, правда, немедленно после отправки Юлика в лагерь вступила с ним в регулярную переписку, Борис, по-моему, боялся это сделать, да и близок он с Юликом никогда не был, Кадю никто не тронул, а вскоре он бросил работу преподавателя в высшем военном училище (а, может, его именно «тронули», изгнав из этого весьма засекреченного учебного заведения? Такое вполне было возможно тогда!) и, с учреждением в Харькове «Вечерки», профессионализировался как журналист. Редактор «Вечернего Харькова», бывший первый секретарь обкома комсомола Милюха собрал в своей редакции целую гурьбу молодых поэтов – в том числе ярко талантливых – таких, как украинские поэты Станислав Шумицкий, Олекса Марченко, писавший порусски Александр Черевченко и – Аркадий Филатов тоже. Я был одним из первых авторов этой новой в городе газеты, в дальнейшем продолжал в ней печататься, иногда бывал в редакции, а порой Аркадий приходил в качестве ее корреспондента на завод, где я работал редактором местного радиовещания. Он заходил ко мне, и я ему даже помогал советами, связывал с нужными для его работы людьми. От него всегда пахло спиртным (чего раньше я не замечал), а то, что он писал, вызывало у меня некоторую брезгливую жалость. Я и сам не создавал ни в этой, ни в любой другой газете шедевров – брался за любую журналистскую поденщину, но только не за рифмованные репортажи. А вот Кадя практиковался именно в этом дурацком жанре, поощряемом Милюхой: выберет «передовика производства» и накаляет о нем поэму, которую Милюха помещал обычно на первой странице, с портретом «героя». Стихи были ничтожные, подобные же «художественные» произведения писали и его коллеги. Не помню, кто именно из них (кажется, Олекса Марченко) сочинил вот такой рифмованный текст о «кавалере» (но, скорее, «даме») ордена Ленина, почтальоне Марь-Иванне (мы ее хорошо в семье знали, так как много лет именно она носила нам письма: женщина была недобрая, неприветливая, брызгливая и корыстная...) Можно поэму писать и о

почтальонах, и о токарях, и даже, наверное, о «рулевых» ассенизационного обоза (если в «музобозе» – название телевизионной передачи – есть рулевой, то отчего бы ему не быть и там?), но хорошими стихи будут, только пройдя через сердце. А в данном случае такого не наблюдалось.

Зато наблюдалось другое. Однажды я приехал в редакцию «Вечерки» утром, в самом начале рабочего дня. Зашел в комнату, где сидел Филатов, и застал там неестественное оживление: вся стайка поэтов что-то друг у друга тихонько спрашивает, каждый другому подмигивает, и все чего-то ждут. Вдруг появляется кто-то из их же «когорты». Общее оживление, все с облегчением вздохнули, радостно потирают руки, пришедший вынимает из карманов две бутылки «беленькой»... Мне тоже предлагают выпить. Я отказываюсь, никто не настаивает, но каждый принимает свою «дозу»... Все это – на работе, в преддверии – повторяю – будничного трудового дня!

Такие забавы добром не кончаются. В пьяном виде погиб (уж не помню, как) ярко одаренный Шумицкий. Кое-кто вынужден был лечиться от алкоголизма. Филатов потом уехал из Харькова – кажется, в Москву.

Еще об одной дружеской связи Бориса хотелось бы здесь рассказать. Однажды на Рымарской, где он жил у «Мотика», я застал его в необыкновенном оживлении: где-то он познакомился с молодым поэтом, чьи стихи ему необыкновенно понравились. Он тут же стал их читать, а об авторе рассказал, что тот тяжело болен и в преодолении болезни проявляет незаурядное мужество. Вскоре мы все познакомились с Леонидом Темисом – по литературному псевдониму Тёминим. Впоследствии он бывал и в Марленином доме. Один из таких вечеров описан в моей мемуарной зарисовке «Искусству нужен...», напечатанной в тель-авивских «Новостях недели». Там речь идет о том, как у сестры в застолье группа ее друзей играла в озорную словесную игру под названием, обозначенным в заглавии той мемуарной заметки. Игра заключалась в том, что нужно придумать рифму к именам или фамилиям присутствующих, заверстанным в некую сакраментальную фразу. Например: «Искусству нужен Леня Темин, как старой жопе сто соломин». Присутствие «жопы» обязательно. В моей памяти сохранился момент, когда Борис торжественной и громкой скороговоркой, под общий хохот, выкрикнул:

– Нужна искусству, ах, Марлена,
как старой жопе, эх, полено!

Прошу придуманную им частушку включить в канонический текст полного собрания его сочинения. Хотя бы для увековечения Марлены...

Я шучу-шучу, а на душе кошки скребут. Сколько гадости человеческой навалилось на этих ярких, своеобразных, стремившихся к независимости людей в те свинцовые десятилетия! Сколько скотов их окружало и пыталось уподобить себе!

...Из всех скотов мне по сердцу верблюды...

Поистине верблюжье терпение понадобилось Борису Алексеевичу да и другим персонажам этой главы, чтобы выдержать годы безвременья, обрести «угрюмую живучесть», не сорваться с копыт!

...Знаете, а ведь это, в самом деле, его автопортрет:

И весь я есмь моргающая морда,
да жаркий горб, да ноги ходока!

VII. «...ХУДОЖНИК, БРАЖНИК И ПЛУЖНИК...»

Этот человек определенно был одним из ближайших друзей Бориса. Лешке, Лехе, Леониду Пугачеву посвящено немало чичибабинских стихотворений.

То был щедро одаренный природой, разнообразно талантливый человек – обаятельный, добрый, злой, забулдыжный, искренний, простецкий, оригинальный. «Художник, бражник и плужник» (Б. Чичибабин).

Актер по основной своей профессии, он работал в харьковских театрах: музкомедии, украинской драмы, но в этом качестве не казался мне выдающимся. Однако артистическая слава у Леши была. Не слишком громкая, зато – в особой публике: среди научной, художественной элиты, «андеграунда». Здесь он стал известен как исполнитель бардовских песен – например, здорово пел «Товарищ Сталин, вы большой ученый» и «Окурочек» Юза Алешковского. Причем пел по-своему, без эпигонства. Не хрипел «под Высоцкого», не разжижал голосок «под Окуджаву», что делали многие подражатели.

Голос у него был густой, низкий, «бархатный» – настоящий мужской. Начинает, бывало, с популярной в культовые годы «Песни о Сталине» – поет сосредоточенно, серьезно, «вдохновенно»:

На просторах Родины чудесной,
Закаляясь в битвах и труде,
Мы сложили радостную песню
О великом друге и вожде!

И вдруг гитара меняет лад, а сам исполнитель – уже не величавый «Марк Рейзен», а приבלатненный хмырь с фиксой во рту, поджавшийся, настороженный и вместе с тем бесшабашно разудалый, себе на уме, постигший ничтожную цену громких слов:

Товарищ Сталин, вы – большой ученый,
в языкознании знаете вы толк,
а я – простой советский заключенный,
и мне товарищ – серый брянский волк.

Да: не так уж, видно, он прост, этот эзочок, ежели с неподдельной горечью и сарказмом восклицает, адресуясь к вождю народов:

Здесь вы из искры раздували пламя,
спасибо вам! – я греюсь у костра.

Он поет не от имени пусть приблатнившегося, но интеллигентного, в глубине своей, автора песенки, а так, как эта песня написана: от лица криминализованного народа, с его неистребимой мудростью, с его лукавинкой и ершистой непокорностью даже самому свирепому рабству:

Вчера мы хоронили двух марксистов.
Мы их не накрывали кумачом:
один из них был правым уклонистом,
другой, как оказалось, ни при чем.

А как исполнял он «Окурочек»? Это песня о людях, лишенных человеческих радостей, но сохранивших человеческое достоинство даже в крайнем своем унижении. Надо было видеть, как вдохновенно лицедействовал Пугачев, показывая диалог двух антагонистов, но и двух, вместе с тем, уголовников: свирепого тюремщика – и жалкого зэка:

– Негодяй! Ты немало истратил
в кабаках на блистательных дам! –

с нескрываемой завистью, зло очерившись, говорит палач, десять суток подряд угощающий обитателя карцера зуботычинами за фетишистское пристрастие к драгоценной находке – окурочку со следами помады; зэк проиграл его в карты, за игру попал в БУР и теперь расплачивается... Но – находит в себе силы на достойный ответ мучителю:

– Это – да-а-а!!! – говорю, – гражданин надзиратель!

И столько скрытого человеческого торжества над тупостью и завистью «гражданина начальника», что тот явно не выдерживает – взрывается. Зритель и слушатель не видит этого: перед ним не сцена, а песня. Но – безошибочно знает, что произошло: ведь песню исполняет Актер! Меняется тон исполнения – перед нами паясничающий блатняк, качающий несуществующие права – и лишь этим способный хоть как-то защититься:

Только зря, – говорю, – гражданин надзиратель,
рукавичкой вы мне по губам!

Эти песни до сих пор поются и хорошо известны. Но лучшего их исполнения я не видел и не слышал.

Однако еще больше ценили Леонида Пугачева за его оригинальный репертуар: Леша стал замечательным бардом, то есть исполнял песни собственного сочинения.

Надо, однако, иметь в виду, что стихов он писать не умел. По его собственному признанию, за всю жизнь сочинил лишь такие строчки:

Осень.
Падают листья
Кончилось лето.
Но я советский человек –
переживу и это!

И Леша стал сочинять музыку на стихи понравившихся ему поэтов. Так он «вышел» на Чичибабина. Стихи Бориса уже циркулировали среди Лешиных друзей – он положил на музыку его «...помидоры» и «Махорку». И пленки с этими песнями пошли гулять по стране.

Не знаю, когда они познакомились – Борис и Леша, но впервые я увидел Пугачева у сестры. Вскоре он стал частым гостем ее вечеров, много пел и крепко сдружился с Марленой и Фимой.

Он вполне мог бы сыграть в спектакле роль столь любимого Борисом Емельки Пугачева: это была та же фактура, тот же типаж. Плотный, плечистый, широкоскулый, курносый, черноголовый, с живым взглядом плутовских глаз, он, как мне казалось, не случайно был однофамильцем знаменитого донского и уральского казачьего атамана, крестьянского царя. Так и вижу его стриженным под горшок и принимающим от Петруши Гринева заячий тулуп с барского плеча...

Леша был зятем маляра высшей квалификации, расписывавшего стены и потолки царских дворцов в Петербурге. Этому своему тестю он смолоду много помогал в заработках, и тот ему передал свое мастерство художника-альфрейщика. Может быть, поэтому Леонид пристрастился к рисованию?

Была у него оригинальнейшая манера выказывать лучшим друзьям, в том числе и новым, свое особое расположение: он... ремонтировал им жилье! Так было и после знакомства с сестрой и ее мужем. Комнаты, которые они занимали в коммуналке, были порядком запущены: вместе с родителями сестра и ее семья вселялись туда по срочному обмену (отец наш тяжело болел, потом и умер в этой квартире – словом, было не до ремонтов). Сдружившись с Марленой и Фимой, несколько раз побывав у них дома, Леша однажды без лишних слов объявил:

– Через два дня приступаю к побелке-покраске. Это, это и то – подвиньте, накройте.

Материалы подбирал сам, колер – тоже (по согласованию с хозяевами квартиры). В ту пору на некоторое время вошло в моду окрасивать стены одной и той же комнаты в разные цвета: одна стенка, скажем, салатная, другая – «кофе с молоком» и т. д. Это было им также учтено. Но, сверх того, он еще и разрисовал комнату, служившую детской, по желанию детишек сестры, картинками на темы книжки о Винни-Пухе. На противоположной стене, уже по собственному желанию, он нарисовал со спины сутуловатого человека в шля-

пе и предлинном пальто. Рядом, хвостом к зрителю, был нарисован бредущий куда-то вместе с этим человеком мохнатый козел. И хотя человек был к зрителю повернут спиной, все безошибочно в нем узнавали Бориса Чичибабина!

Дело было где-то в самом начале 60-х, мама прожила здесь, в одной комнате с детишками, персонажами из Винни-Пуха и фигурой нарисованного Бориса с козлом, до осени 1964 года, вскоре после ее смерти Марлене удалось обменять квартиру, и, по-моему, так она ее и оставила обменщикам: с рисунками Пугачева.

Но Леша не только малярничал-альфрейничал – он еще и всерьез рисовал – в основном, по воображению, вырезал гравюры на линолеуме, а оттиски дарил друзьям.

С дорогой, Леша Пугачев,
и здравствуй, и прощай!
Кто знает, брат, когда еще
приду к тебе на чай?
Я ревновал тебя ко всем,
кому от щедрых крыл
ты, на похмелье окосев,
картиночки дарил.
А я и в праздничном хмелю, –
покличь меня, покличь! –
ни с кем другим не преломлю
коричневый кулич.
Твой путь воистину не плох,
тебе не впасть во тлен,
иконописец, скоморох,
расписыватель стен.
Еще и то дрожит в груди,
что, среди прочих дел,
по всей Россиюшке, поди,
стихи мои попел.
Тобой одним в краю отцов
мне красен гиблый край.
С дорогой, Леша Пугачев,
и здравствуй, и прощай!

(Из стихотворения «Посошок на дорожку Леше Пугачеву, в кн. «Колокол», издания 1989 и 1990 гг.).

«...Картиночки дарил...»

То были картинки-фантазии, рисунки-символы. Скажем, нарисовано развевающееся по ветру белье на веревке, а подпись под рисунком гласит: «Паруса». Или – бредущий по дороге белобородый Саваоф; перед собою он гонит колесо от телеги. Подпись: «Старик-кладовщик». Пьяница, обнявший уличный фонарь. Рисунок называется: «Вечером, с получки».

Некоторые из таких картинок, подаренных Борису, дали толчок уникальному творческому явлению.

Художник Леонид Пугачев придумал их сюжеты, нарисовал их на бумаге или вырезал и оттиснул гравюры.

Поэт Борис Чичибабин написал к этим рисункам сонеты – целый цикл. Он так и называется: «Сонеты к картинкам».

Композитор Леонид Пугачев эти сонеты положил на музыку.

Бард Леонид Пугачев стал исполнять родившиеся песни в малых и больших аудиториях.

И, наконец, Борис Чичибабин стал одним из благодарных слушателей произведений, рожденных этим литературно-музыкально-графическим дуэтом.

Цикл «Сонеты к картинкам» опубликован в двух последних книгах Б. Чичибабина – «82 сонета и 28 стихотворений о любви» (Агентство ПАН) и «Цветение картошки» (Московский рабочий, 1994). В этих двух сборниках есть отличия по составу и количеству стихотворений данного цикла, но не об этом речь. Меня удивляет, что, наряду с сонетами, действительно, созданными по картинкам, в тот же цикл включены другие, совершенно иначе задуманные... Конечно, дело и право автора – какие стихи куда ставить и как называть. Но, не осуждая покойника (Чичибабина), все-таки стоит вспомнить вдохновителя основной части сонетов, вошедших в данный цикл и давших ему общее название. Это «Паруса», «Вечером с полочки», «Постель», «Осень», «Что ж ты, Вася?», «Не вижу, не слышу, знать не хочу», «Старик-кладовщик» и другие. Для меня загадка, почему ни слова нет в этом цикле, или хотя бы в авторском примечании, о Леше. А ведь читатель первой из названных двух книг может решить, что сонеты цикла сделаны к картинкам оформлявшего ее художника, в то время как дело обстоит совсем иначе...

Что толкнуло Бориса пристегнуть к тем сонетам такие, которые никаким боком к ним не относятся, да еще и поместить их под тем же названием? Например – «Сонет с Маршаком» или «Письмо в Америку» – они-то к каким картинкам написаны?

Непонятно. Но – ничего не поделаешь.

Рассказать об интереснейшем творческом содружестве художников я счел долгом перед памятью обоих.

Да, Леонида Пугачева уже давно нет на свете. Он умер от рака в возрасте, который принято называть цветущим, задолго до смерти Бориса.

Посетив в мае 1995 года могилу наших родителей, мы с Фимой, Марлениным мужем, подошли и к свежей могиле Бориса – она от них в ста шагах. Потом пошли на соседнее кладбище, где покоится «художник, бражник и плужник», «иконописец, скоморох, расписыва-

тель стен». Актер. Композитор. Певец. На черной гранитной плите его рельефный портрет. Лешка изображен с гитарой через плечо, в момент выступления. Могила хорошо ухожена, на ней свежие цветы. Идти от Бориса к Леше – не более 10-ти минут.

С дорогой, Леша Пугачёв!
И здравствуй, и прощай!

* * *

Есть у меня мечта: собрать сохранившиеся (надеюсь на это) «картинки» Леши; вылущить из опубликованного Борисом цикла те сонеты, которые написаны, действительно, к Лешиным гравюрам; взять сохранившиеся (даже у меня есть) магнитофонные записи с Лешиными песнями и тексты Чичибабина – и перенести их на нотонсец; разыскать в домашних архивах Лешкины фото, сделанные во время исполнения им песен – были очень выразительные, помнится, снимки; очистить современными способами любительские магнитофонные записи от шумов и помех...

И все это вместе опубликовать в книге-альбоме двух авторов: Леонида Пугачева и Бориса Чичибабина.

А чтобы показать, насколько это было бы интересно и даже злободневно, воспроизведу здесь несколько сонетов, написанных Чичибабиным именно к рисункам Пугачева.

Предупреждение: Привожу тексты по памяти – примерно, в том варианте, в котором они исполнялись Пугачевым. Этим объясняются некоторые отличия (впрочем, незначительные) от текстов последних книжных публикаций.

ПАРУСА

Есть в старых парусах душа живая.
Я с детства верил вольным парусам.
Их океан окатывал, вздувая,
и звонкий ветер ими потрясал.
Я сны ребячьи видеть перестал
и, постепенно сердцем остывая,
стал в ту же масть, что двор и мостовая, –
сказать по-русски, крышка парусам.
Иду домой, а дома нынче стирка.
Душа моя состарилась и стихла.
Тропа моя полынью поросла.
Мои шаги устали и неловки –
и на простой хозяйственной веревке
тряпьем намокшим сохнут паруса.

ВЕЧЕРОМ С ПОЛУЧКИ

Придет пора – и я пойду с сумой,
настанет день – и я дойду до ручки,
но дважды в месяц – летом и зимой –
мне было чудо – вечером с полочки.

Я покупал по лавкам, что получше,
я брился, как пижон, и – бог ты мой! –
с каким я видом шествовал домой,
неся покупки, вечером с полочки.

С весной в душе, с весельем на губах,
идешь-брeдeшь, а по пути – кабак:
зайдешь – и все продуешь до полочки.

Давно темно. Выходишь, пьяный в дым,
и по пустому городу один.
Под фонарями. Вечером. С полочки.

ОСЕНЬ

О, синева осеннего бесстыдства,
когда под ветром желтым и косым
приходит время помнить и поститься,
и чад ночей душе невыносим.

Смолкает день, закатами косим.
Любви – не быть, и небу – не беситься.
Грустят леса без бархата, без ситца,
и холодеют локти у осин.

Взывай к рассудку, никни от печали,
душа – красotka с голыми плечами.
Давно ль была, как роща, весела?

Но синева отравлена трагизмом,
и пахнут чем-то горьким и прокислым
хмельным-хмельные эти вечера.

НЕ ВИЖУ, НЕ СЛЫШУ, ЗНАТЬ НЕ ХОЧУ

Не вижу неба в петлях реактивных,
не вижу дымом застланного дня,
не вижу смерти в падающих ливнях,
ни матерей, что плачут у плетня.

Не слышу, как топочет солдатня,
гремят гробы, шевелятся отцы в них,
не слышу, как в рыданиях безотзывных
трясется мир и гибнет без огня.

Знать не хочу ни жалости, ни злобы,
знать не хочу, что есть шуты и снобы,
что боги врут в руках у палача.

Дремлю в хмелю, историю листаю –
не вижу я, не слышу я, не знаю,
что до конца осталось полчаса.

Бог их знает, этих поэтов: как у них получается – быть провидцами? На заре творчества своего Борис (в якобы исторических стихах «Смутное время») предсказал нынешнюю смуту и проруху, постигшую Россию: «По деревням ходят деды, просят медные гроши... И никто нам не поможет. И – не надо помогать!» Неважно, что две последних строки оказались цитатой и были потом закавычены – главное, угадал тенденцию времени тогда, когда империя, вроде бы, расцвела после Великой Победы (См. подробнее об этом стихотворении на стр. 106-107, а также 156.). Не дай Бог сбудутся и предчувствия его сонета! Но одно ясно: он так верно передал стремление современного человека закрыть глаза, заткнуть уши и вычеркнуть из жизни тревогу за будущее, которому грозит беда: – не настать вовсе. Кажется, этот сонет был написан к одноименной символической картинке с изображением обезьяны, зажмурившей глаза и заткнувшей уши. Пел Леша его, как и многие другие сонеты, с частым включением мелодекламации, а последнюю фразу проговаривал речитативом, с непередаваемо горькой интонацией, с выражением трагической скорби на подвижном, простецком, таком плутовском, таком пугачевском лице!

Мелодия «Парусов» напоминала мне шотландские или английские песни, она была бы хороша в кинофильме о пиратах – и как контрастировали с этой романтикой прозаические слова: стирка, тряпье... Грустная история современного человека, неизбежно теряющего романтические иллюзии! Трагедия одиночества – в исповеди пьяницы (сонет о получке)... А «Осень» он стилизовал под жестокий цыганский романс – сперва раздумчивый, потом – в темпе бешеной пляски...

И вот, на фоне этих классических по стилю текстов, такое, например:

Я – демократ не на заморский лад
какой-то там ква-ква-адвокатуры.
Я – демократ и рыцарь диктатуры
в рабочей робе, красен и крылат.

К какой, спрашивается, картинке этот сонет? Не выходит ли он сам, что называется, вон из ряда? И такие-то тексты, чужеродные, мешающие читателю увидеть автора с его лучшей стороны, включены в цикл, который без них был энергичным, цельным, эмоциональным. А эти рассудочные, натужные декларации выглядят, мне ка-

жется, посторонними вкраплениями, портящими впечатление цельности²⁹.

Главным в Пугачеве был его талант, раздольная русская широта, доброе сердце, сочувствие униженным. Это о нем вспоминал Юлик Даниэль в своих лагерных или тюремных стихах, которые называются «Про эти стихи»:

Им не уйти, не скрыться нипочем
от этих буден,
их петь не будет Лешка Пугачев.
А, может, будет?

Пугачев – пел. И, в том числе, «эти стихи»...

²⁹ Эти строки писались задолго до выхода в свет книги «Борис Чичибабин. В стихах и прозе» (Харьков, 1998), подготовленной к изданию самим автором, но изданной посмертно. «Сонеты к картинкам» (именно к тем, пугачевским!) выделены здесь в отдельный цикл, с посвящением: «Памяти Лешки Пугачева». Я решил все-таки не изымать из своих записок рассуждения о сонетах «Лешиных» и «не Лешиных», как не потерявшие значения в контексте предыдущих публикаций цикла «Сонеты к картинкам».

VIII. «ЧТО НИ КЛИКУША, ТО И ТИП...»

А теперь – к тому, кто всегда знал, что врет, но никогда за свои враки не отвечал.

Это – Александр Басюк. Он, действительно, стал с конца 50-х годов заметной фигурой в окружении Бориса. Но в 1946 году они даже не были приятелями. Поскольку Борис почти всегда все время проводил рядом с Марленой, то не могу представить, где бы и когда они могли сдружиться. Да и были это в своем роде антиподы: захваченный серьезными идеями и высокими нравственными максимами Борис и сумасбродный, без границ болтливый, по-хулигански шкодливый Алик. Правда, учились они в одном и том же университете.

У Бориса с Марленой был серьезный, возвышенный, восторженный роман – Алик же отпускал по их адресу двусмысленные... да нет: пожалуй, один конкретно-пакостный смысл имевшие шуточки. Грех не смертельный: молодые люди на эти темы всегда охотно болтают – и часто не по Лидии Чарской. Но общего у них с Борисом было мало. Разве что одно: оба появлялись регулярно на занятиях «ЛИТа» – литобъединения при союзе писателей.

Я о Басюке знал до поры лишь из рассказов Марлены. Она приводила факты, свидетельствовавшие о нем как о человеке с неуравновешенной психикой, чудаке и скандалисте, да притом и пьянице, не отвечающем за свой невоздержанный язык.

Например: встречает некто Алика в аптеке – тот покупает одеколон (парфюмерия в то время продавалась и в фармацевтических учреждениях).

– Ну, Басюк, тебя надо поздравить: ты остепенился, стал следить за собой!

– Кто: я остепенился? – возмущается Басюк. И, опровергая такое обидное предположение, на глазах у непрошеного доброжелателя отвинчивает крышечку флакона и весь одеколон опрокидывает себе в глотку...

Марлена не раз высказывала удивление: как это его «за язык» не посадили? Ведь сажали в те времена за сомнительный анекдот, поли-

тически острую шутку, а иногда и просто за жалобы на трудную жизнь. Когда забрали моих родителей, понадобилось хоть как-то обосновать их арест. Вызвали «свидетелем» одинокую нашу соседку, жившую ниже этажом, простую, славную женщину... И под нажимом следователей, таращась и тужась от неимоверных усилий припомнить хоть что-либо подходящее, она рассказала, что моя мать сетовала на слишком маленькую зарплату. Мама работала рядовым бухгалтером и получала, действительно, гроши. Тем не менее, в «деле» было отмечено, что она... агитировала против советской власти! Правда, впоследствии ей нашли более тяжкое обвинение – участие в зиновьевской оппозиции, а потому криминальным высказыванием по поводу маленькой зарплаты – пренебрегли.

Алик же нес ежедневно такое, что криминал и придумывать не надо было. Но – ходил на свободе.

Шуткам его нельзя было отказать в определенной грациозности. Вот одна из них – по поводу того, что киевский писатель и журналист Иван Рябокляч получил Сталинскую премию.

Басюк загадывает загадку: ставит, одну на другую, все четыре лады шахматной партии, а сверху водружает белого (то есть, как правило, желтого) коня:

– Что это?

Угадать, естественно, никто не может. Алик торжественно провозглашает отгадку:

– Рябокляча на высоте!

Невинная шутка? Не скажите. В 1950 году на комсомольской конференции я слышал, как представитель МГБ рассказывал о студенте, который «позволил себе» преступное высказывание о романе Петра Павленко «Счастье» – тоже удостоенном Сталинской премии:

– Представляете, товарищи комсомольцы, – голосом кипящего чайника выкрикивал возмущенный чекист, – он сказал, что в этой книге не поймешь, где там счастье, а где – несчастье.

(Между тем, сообщу по большому секрету, студент был совершенно прав; в книге описана судьба тяжело изувеченного на фронте полковника Воропаева, приехавшего в разрушенный войной Крым – поднимать сельское хозяйство. Полковник изранен в боях, вокруг – разруха и беда, в самом деле, разобраться трудно: где ж оно – счастье-то? Разве что – в коммунистической партийности и в том, что герою удалось полюбоваться на товарища Сталина, прибывшего на Ялтинскую конференцию).

Так вот: того студента забрали за одну фразу, а Басюка, за множество, терпели. Правда, сели они оба в одно и то же время...

Алик благополучно доучился до последнего, 5-го, курса, но тут разразился скандал. Темой своей дипломной работы Басюк нерас-

четливо избрал проблематику и образы сатирической дилогии И. Ильфа и Евг. Петрова. Живущий в Израиле Леонид («Люсик») Хаит, известный режиссер, а в середине сороковых – студент харьковского юридического института, в одной из своих опубликованных здесь статей ярко живописал тогдашний «культ» романов об Остапе Бендере. И в этом плане выбор, сделанный студентом Басюком, вполне естественен. Но как раз тогда эти романы впали в идеологическую немилость, и защита дипломной работы сорвалась. Алик диплома не получил. Однако к преподаванию литературы в средней школе его допустили, и он стал учителем где-то в районе Мерефы – одного из райцентров Харьковской области.

Примерно в то же время или на год раньше я с ним познакомился лично. Круглоголовый, суетливый, болтливый до умопомрачения (собеседников), он поразил меня своими шутовскими выходками и переполненным матерщиной лексиконом.

При первом же знакомстве стал мне говорить сальности о взаимоотношениях моей сестры и (давно уже сидевшего в то время) Бориса. Прервав его, я заявил, что, если он сейчас же не прекратит болтовню на эту тему, я его побью. Сказать по чести, не знаю, как бы это сделал: с пятого класса по-настоящему не дрался. Но Алик немедленно замолчал.

(К слову, сальности по адресу влюбленных – и вообще-то низость, а в данном случае были несправедливы вдвойне. См., например, стихотворение Бориса «Я рад, что мне...», публикуемое в этой книге на стр. 165).

Потом мы не раз с Аликом встречались случайно в разных местах. Я захаживал, например, иногда в Союз писателей – на занятия литстудии. Алик же был там, видимо, завсегдатаем. Выходки его на этих заседаниях бывали порой уморительны.

Однажды читал свой рассказ начинающий писатель, не первой молодости человек по фамилии Оболдуев. По принятой там процедуре, перед обсуждением рассказа каждый мог задать автору свои вопросы.

Едва автор кончил читать, руку выбросил вверх Басюк:

– У меня вопрос! – сказал он своим высоким фальцетом. – Скажите: Оболдуев – это ваша настоящая фамилия – или же псевдоним?

– Настоящая фамилия, – простодушно ответил автор рассказа (сказать по правде, совершенно бездарного).

– Большое спасибо, – смиренно и вежливо поблагодарил Басюк, – я так и думал!..

Зал грохнул. Незадачливый новеллист был уничтожен еще до обсуждения.

Остроты Басюка ходили по городу. О нем говорили (повторяя впрочем, его собственные слова), будто ему принадлежит «самая короткая в мире басня»:

НКВД пришло к Эзопу
И – хватъ за жопу!

* * *

Смысл басни ясен:
Не надо басен!

Вызвав Алика на соревнование, другой записной хохмач нашей эпохи, Мирон Черненко (впоследствии известный московский кино-критик и журналист) сочинил еще более краткую, но гораздо более скабрзную басню:

Мартышке сделали минет.

* * *

МОРАЛИ в этой басне НЕТ!

Оказалось, однако, что Мирон соревновался вовсе не с Басюком: совсем недавно я прочел в каком-то авторитетном журнале, что басню об Эзопе сочинил драматург Николай Эрдман – автор пьесы «Самоубийца».

В том же американском сборнике «У голубой лагуны», где опубликован мемуар Милославского, о Чичибабине интересно и в целом точно вспоминает один из его питомцев и младших друзей – поэт Александр Верник. В воспоминаниях говорится и о Басюке, как об алкаше и ханыге (что к тому времени, увы, стало фактом). Но есть один прокол, в котором Верник ничуть не виноват. Там написано, будто бельмо на глазу у Басюка было результатом его избиения в тюрьме или в лагере. Однако это выдумка самого Алика! Я видел его с готовым бельмом еще до момента, когда он попал в тюрьму. Он в то время рассказывал, что это – следствие операции: будто бы в глаз ему попала (чуть ли не по кровеносным сосудам) личинка бычьего или свиного солитера... Я запутался окончательно: по крайней мере, это, наконец, правда? Или, пожалуй, можно воскликнуть гоголевской фразой: «Вот подлец Собакевич: и тут надул!»

Но не только Верник («легковерник») стал жертвой Басюковской выдумки. Однажды у Бориса, еще на Рымарской, кто-то, как об известном и не вызывающем сомнения факте, упомянул о глазе Алика, «выбитом на допросе». Алик был тут же и успел хорошо налижаться – впрочем, и я был поддавши, иначе, может, и не стал бы выводить его на чистую воду.

– Алик, – сказал я ему, – ты зачем все наврал? А помнишь, ты мне рассказывал об операции?

Поднялся хохот. Стал доискиваться правды и Борис. Алик помрачнел, но опровергнуть меня не мог (оказались тут и еще люди, помнившие о «солитере»). Он счел за благо, напустив на себя вид оскорбленной невинности, убраться из квартиры на улицу.

И вместе с тем, это был человек уникальных способностей: обладал, например, абсолютной памятью, мог шпарить наизусть без запинки и ошибки целые романы.

Для мерепянского школьника его уроки были целым праздником: он им на память пересказывал Дюма, Буссенара, Жюль Верна... Правда, что при этом оставалось от школьной программы, сказать не берусь – всего вероятнее, что ничего, однако на переменах и после уроков он с увлечением гонял вместе с подростками футбольный мяч. Но счастье было недолгим: его посадили.

Зато в «большой камере» внутренней тюрьмы он нашел еще более благодарных слушателей: бывшего комбрига; бывшего офицера гестапо Киропу Габриэляна, выдавшего себя в плену за украинца Габрелю, а затем, спустя несколько лет после войны, выловленного чекистами; какого-то животновода; какого-то эмигранта; и – ... моего отца, бывшего ученого-экономиста. Это из его записок я взял перепечатавшие сидевших в камере.

Там, как рассказывал отец, вспыхивали самые разнообразные дискуссии, каждый излагал то, что знает по своей специальности. Отцу, таким образом, доводилось читать контрикам лекции по марксистской политэкономии. Конечно, все присутствующие могли без труда загнать его в угол, что, видимо, и делали. Забавно, однако, что все они (во всяком случае, и Алик, и Кироп) вышли на волю гораздо раньше моего отца, которого (как видно, за особую преданность коммунизму) продержали в лагере уже после реабилитации (!) лишней месяц! Для сравнения: лица, сотрудничавшие с оккупантами, но не отягощенные участием в расправах, казнях и т. п., были амнистированы в 1955 году, а старые большевики, осужденные «по букве Т» (троцкизм), отпущены, в большинстве случаев, лишь после XX съезда партии, то есть – на год позже!

Вскоре по его возвращении Борис и Алик вместе пришли поприветствовать отца. Рассказывая мне об этом, папа сказал:

– С Борисом мы обнялись и расцеловались, а Басюку я кивнул, но руки не подал.

По-видимому, там, в камере, у них бывали нешуточные идеологические стычки. Алик любил работать на аудиторию и, полагая, вел себя с правоверным коммунистом нагло и вызывающе – на потеху всей камерной гопкомпании во главе с гестаповцем.

Уже после смерти отца Басюк стал было мне рассказывать, как над папой издевались (в Холодногорской тюрьме) уголовники. Я эту

историю знал – от человека, который тогда за отца вступился³⁰. Но Басюка я не хотел слушать – и вновь, как когда-то, сказал ему, что если он не прекратит свой рассказ, я его побью. И он вновь поджал хвост. Разговор этот шел при Борисе.

К моменту ареста Басюк был женат на хорошенькой актрисе по имени Люба. Мы с нею познакомились в домике у внутренней тюрьмы, где принимали передачи. Однако потом, уже после его возвращения, она его оставила.

Личность его все более распадалась. Общий наш знакомый, харьковский поэт Зиновий Вальшонок, объяснил мне причины такой психической деформации личности Басюка: он был единственным сыном очень состоятельных родителей и, будто бы, лет до 13-ти находился в семье на положении тяжело больного, а потому рос неизменно избалованным и взбалмошным дитятей.

К концу 60-х, как правильно показано у Верника, Басюк сформировался как отпетый и окончательный алкаш. Встретив меня в городе, бывало, не отвяжется, пока не выдурит трешку «в долг». Но долгов, разумеется, никому не отдавал. А ведь еще в начале 60-х в харьковском кукольном театре шли его пьесы и инсценировки (название одной я помню: «Индонезийская сказка»), и у него, художественно, иногда появлялись, пусть на пропой, но собственным трудом заработанные деньги.

Впрочем, даже пьяный, он принимался рассуждать о большой политике, кликушествовал (но, может быть, и пророчествовал?), предрекая миру страшные беды и катастрофы, коих никто не предвидит. Однажды, идя со мною по Сумской от Бориса, стал кричать на всю эту, главную в Харькове, улицу:

– Не Америка наш враг! Главный враг – Китай! А эти идиоты в Политбюро того не понимают!

И вот такого-то человека и Борис, и Мотя терпели в своем доме. Более того: Басюк в течение нескольких лет пребывал в роли своеобразного второго «я» Чичибабина, его неотлучной тени или, лучше сказать, карикатуры, – вроде тех живых карикатур, которые в античном Риме сопровождали триумфаторов, передразнивая их позы и телодвижения. И, как ни покажется, может быть, странным, своими бредовыми (а, возможно, как это бывает у юродивых, провидчески-ми) идеями оказывал на поэта заметное влияние.

Например, думаю, не без такового написал Борис свое «Фантастическое видение в семидесятые»:

³⁰ Д.И.Кваша

О, Господи, подай нам всем скончаться за год
до часа, как Китай пойдет войной на Запад.

.....
Весь мир пойдет на снесь для той орды бродячей,
да так, что даже смерть покажется удачей.
С изысканностью мук Европе спорить нечем:
слыхали, чтоб бамбук рос в теле человечьем?
В кишку воткнут, ловчась, и, боль навив мотками,
по сантиметру в час пойдет вгрызаться в ткани.
И желтый сатана с восточною усмешкой
поднимется со дна над жизни головешкой...

(«Цветение картошки», стр. 24).

Возможно, что Басюк катализирующим образом действовал на творческий потенциал Бориса. Но как же он бывал неудобен!

Никогда нельзя было сказать наперед, что ему стукнет в голову.

Однажды у Бориса на дне рождения Алик, сидя за столом и уже совершенно упившись, вдруг, без малейшего повода (по-видимому, что-то в пьяном мозгу примерещилось), вскочил и ткнул кулаком в бок одного нашего родственника – как на грех, человека крайне вспыльчивого, а в молодости занимавшегося боксом. Тот не стал разбираться, а хорошим боксерским хуком отправил Басюка в нокадаун.

* * *

Басюк допился до цирроза печени, долго и трудно болел. В больницу к нему, кроме Бориса и Лили, не приходил никто. Я слышал даже, что они не оставляли его до последнего дня.

Этот штрих – уже не к портрету несчастного забулдыги, а к очерку личности поэта.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ГЛАВЕ VIII-Й

Первым критиком этих моих записок – и как раз главы об Александре Басюке – стала Анна Яковлевна Фишелева – бывшая харьковчанка, живущая с недавних пор в Израиле и здесь раскрывшаяся (в том числе и мне) как оригинальный и тонкий поэт. Привожу без комментариев (приберегая самые необходимые на потом!) ее возражения в моей записи:

«– Об Алике вы написали слишком жестоко и, местами, несправедливо. Он не был трусом: очертя голову, без малейшего страха вя-

звался в драку, а то, что он дважды отступил перед вашим бурным возмущением (один раз – его сальностями по адресу Марлены, второй – его рассказами о том, как уголовники терзали вашего папу) объясняется не малодушием Алика, а, скорее всего, его деликатностью: он понял, что вам больно это слушать... Моя младшая сестра была его ученицей в той самой школе, о которой вы пишете, и она до сих пор в восторге от его уроков – думаю, что именно его влияние отразилось в таком редком для провинциальной школы факте: из 38 выпускников 36 поступили тогда по конкурсу в вузы – так имеет ли значение то, что он отступал от утвержденной программы?! И не такие уж богатые люди были его родители: отец – хозяйственник, мать – врач, они много работали, вечно были заняты и, возможно, в самом деле не уделили воспитанию сына необходимого внимания. Мать Алика мне рассказывала: однажды она подобрала с улицы буквально пропадавшую от нужды барышню из «бывших», и та стала в их доме няней-воспитательницей для Алика. Вот она-то и распустила его еще в детстве... Да, Алик, действительно, стал к концу жизни беспутным гулякой. Но он был добр от природы, а Бориса Чичибабина очень любил и высоко ценил. Он нас и познакомил с Борисом Чичибабиным, – меня и мужа. Более того, где-то в конце 50-х или начале 60-х мы присутствовали при разговоре Алика с гостившим тогда в Харькове поэтом Григорием Поженяном. На правах старого знакомого Алик просил Поженяна оказать помощь Чичибабину в опубликовании его стихов. «Ты знаешь, какой это талант?! – восклицал он и с восторгом цитировал стихи Бориса. Поженян сказал, что готов показать эти стихи Вере Инбер – только срочно, к его отъезду, надо их отпечатать на машинке. Мы в этом Алику помогли, – «потребовав» взамен по одному экземпляру машинописи. Вскоре пришел восторженный отзыв Инбер – она давала Алику самую высокую оценку³¹. Возможно, в появлении первых публикаций его в журналах и первой (московской) книжки есть и ее заслуга, – а, тем самым, и Поженяна, и Басюка. То, что Алик умел и любил приврать – чистая правда, но насчет «личинки», каким-то образом попавшей в глаз и вызвавшей необходимость операции – это тоже чистая правда. Стоит еще сказать, что Алик, попав в тюрьму, никого за собою туда не потянул, никого не оговорил».

Глубоко благодарен А.Я. Фишелевой за ее замечания и сообщение. Позволю себе лишь возразить, что гадости говорить брату о се-

³¹ По поводу этого сообщения моя сестра в замечаниях к рукописи книги пишет: «Увы! Никакого «восторженного» ответа Веры Инбер не существовало. Был казенный, безо всякого интереса и участия к читателю, вообще говоря <столь> хамский, что я ей даже написала письмо, на которое она, конечно, не ответила!»

стре или расписывать сыну, как мучали отца – вряд ли было следствием деликатности... Отступление от школьных программ или игра учителя в футбол со своими учениками никогда не были, в моем представлении, «криминалом» – но были таковыми в глазах начальства, и я привел эти примеры лишь как свидетельства неординарности Басюка. Но что правда, то правда: в моем наброске характера Алика (как и остальных «героев» моего повествования, как и центрального их персонажа – самого Б. Чичибабина) могли проявиться – а точнее, не могли не проявиться! – мои личные оценки, мое личное отношение, – увы! возможно, и несправедливое. Это неизбежная особенность мемуаров как жанра, их слабая – а вместе с тем и сильная сторона. И на всевозможные впредь упреки такого рода могу от души ответить лишь призывом:

– Господа! Пишите мемуары!

* * *

Но замечания Анны Яковлевны оказались полезны еще и тем, что заставили меня вспомнить об упущении: среди окружения Бориса я не упомянул ни о ней, ни о ее покойном муже, Борисе Васильевиче Сухорукове. В их доме Чичибабин бывал не раз и с большой теплотой был принят, получил духовную поддержку, читал свои стихи.

Б.Сухоруков был фигурой яркой и хорошо известной читающему Харькову. По полумистическому совпадению обстоятельств, с ним и его семьей переплелась жизнь моей сестры и ее сына. До войны, в пионерлагере, он был пионервожатым ее отряда. Потом в его жизни был фронт, ранения, он окончил юридический институт, но с юриспруденцией распрощался при обстоятельствах неординарных: свою едва ли не первую защитительную речь произнес... в стихах! Стихи он писал еще на фронте, а литературную деятельность продолжил как корреспондент «Комсомольской правды». Много лет Б.В. Сухоруков проработал потом в крупнейшей харьковской научной библиотеке имени Короленко – на очень скромной, но и довольно видной должности методиста. Вел активную просветительную деятельность читая лекции; между прочим, руководил литературным кружком в одном из четырех заводских клубов того предприятия, на котором я работал – также руководя одной из литературных студий (на этой почве мы и познакомились). Потом Марленин сын женился на его дочери – мы собрались у сестры за общим столом уже как родня... За этим же столом они потом вновь встретились и с Борисом Чичибабиным – помню, как «по кругу» каждый из них читал свои стихи... Сборник стихов Б. Сухорукова недавно издала в Израиле его вдова.

Не могу удержаться и не привести здесь шутку известного харьковского остролиста А. Хазина – того самого, которого сталинский «идеолог» Жданов обозвал «пошляком». Сухоруков был человек совершенно русский, но, как многие русские интеллигенты, порою разительно смахивал на еврея. Хазин об этом сказал так:

– Сухоруков спереди похож на организатора еврейского погрома, а сзади – на его жертву...

Излишне говорить, что добротнo, истинно интеллигентному Борису Васильевичу антисемитизм был столь же чужд и ненавистен, как и Борису Алексеевичу. Оба были женаты на еврейках и при известном повороте обстоятельств могли очутиться в Израиле. Когда я думаю об их собратях (и «со-сестрах!»), с которыми это «таки да» случилось, мне вчуже становится стыдно за тех чересчур ревнивых «патриотов» Израиля, которые, вопреки «Закону о Возвращении», готовы сделать (а иногда и делают!) их жизнь здесь несносной и оскорбительной...

IX. «НАМ СТАЛИ ГОВОРИТЬ ДРУЗЬЯ...»

Приведу это стихотворение (оно есть в обоих «Колоколах») так, как запомнил по первоначальной редакции – впрочем, она мало отличается от напечатанной:

* * *

Нам стали говорить друзья,
что им бывать у нас нельзя.
Что ж, не тошней, чем пить сивуху,
прощаться с братьями по духу,
что намекают нам тайком
на времена и на райком.
Окончат шуткой неудачной,
и – вниз по лестнице чердачной.
А мы с тобой глядим им вслед
и на площадке тушим свет.

Горечью и болью, сознанием гордого одиночества поэта пронизаны эти строчки, написанные после короткой хрущевской оттепели, в дни первых заморозков, когда Никита, науськиваемый сворой своих идеологических советников, вдруг набросился на художников, скульпторов, писателей и поэтов и «по-молодецки, по-немецки»³² принялся «грозить им пальцем». Вслед за московскими «встречами руководителей партии и правительства с деятелями искусства и литературы» (впрочем, не помню: может, и наоборот – «деятелей с руководителями», – черт их там разберет и запомнит, кто с кем встречался, кого называли первыми, кого – вторыми, а ведь придавалось же этому значение!) – так вот: вслед за московскими встречами прошли подобные судилища и в столицах республик, – и, не в последнюю очередь, в Киеве. Там в это время на главном республиканском идеологическом посту третьего секретаря украинского партийного ЦК воцарился один из харьковских вурдалаков от пропаганды и агита-

³² Цитата из забытой шуточной, дореволюционных лет, песенки немецкого повара: «Па-немецки, па-маладэцки – вот работа мой!» Германский фюрер говаривал, что интеллигенции время от времени надо грозить пальцем...

ции – Андрей Данилович Скаба, записной юдофоб и хранитель чистоты грязных сталинских идей.

Да простится мне короткое отступление в историю нашей семьи: Скаба оказался ее злым гением. Когда родители были реабилитированы, отец, исполненный самых радужных надежд, был намерен возвратиться к любимой вузовской работе, снова преподавать политическую экономию, от которой был отторгнут в 1936–37 году незаслуженным исключением из партии. Перед ним «извинились», ему вернули партбилет – так верните же возможность заниматься своим делом! Но поскольку «партия – наш рулевой», а в области общественных наук – особенно, он и обратился за поддержкой к третьему секретарю харьковского обкома, державшему в своих руках вузы – вообще, а гуманитарные науки – в особенности. Этим секретарем был Скаба. И в помощи он решительно отказал. Разговаривал сухо, недружелюбно, буркнул: «Подавайте на конкурс», но ясно было, что это пустая отговорка. Отец оставил свои попытки, устроился на должность начальника отдела, где работа была крайне запущена, вгрызся после шестилетнего пребывания на северной каторге в интенсивную работу – и через четыре месяца слег в параличе. К работе ему, правда, удалось вновь вернуться... на один день: сил не хватало, он снова слег, а вскоре и умер.

По тому, как Скаба с ним разговаривал, у отца сложилось впечатление, что тот проникнут ненавистью к происшедшим переменам, считает их временными и чисто тактическими (что, кстати, оправдалось и событиями: уже осенью 1956 года советские танки раздавили восстание в Будапеште, «мятежное» правительство Имре Надя было свергнуто, сам он казнен). В те дни вышло специальное (и, разумеется, секретное) постановление ЦК КПСС, предупреждавшее о «неправильных» высказываниях некоторых реабилитированных товарищей, озлобившихся на партию и скатившихся на позиции буржуазного либерализма... На самом деле это был явный откат «ленинского ЦК» к сталинщине. Тем не менее, хрущевский доклад о «культе» уже сделал свое дело, оттепель продолжалась, и первые существенные «морозы» снова грянули только в 1963 году.

Началось, как, может быть, помнит читатель, с художников. Мое крайнее (впрочем, столь частое в людях нашего поколения) невежество в изобразительных искусствах оставляло меня достаточно равнодушным к тому, что творили еще более невежественные власти, давя бульдозерами выставки, громя «абстракционистов» и «формалистов». Меня, однако, одолевало предчувствие, что за литературу примутся тоже. А вот здесь индифферентным я оставаться не мог: судьба Бориса Чичибабина, Марлены и группы других поэтов, получивших в городе, а отчасти и за его пределами, известность на фоне развернувшегося тогда «поэтического бума», не могла меня не тре-

вожить. Как и судьба поэтических звезд всесоюзного масштаба. Относительная свобода высказываний, получившая особое развитие в «эстрадной» поэзии тех лет, волновала и будоражила сердца. Вот почему, очутившись однажды на занятии литобъединения в союзе писателей, я даже высказался в таком, примерно духе, что-де художников пускай бьют и им поделом, а вот не добрались бы до литераторов... Как бы не досталось, под сурдинку, под общий шум, нашим любимым поэтам: Евтушенко, Вознесенскому, Ахмадулиной «и другим» (под другими я имел в виду, прежде всего, Бориса).

В «Литературной газете», тогда еще тоненькой, четырехстраничной, появилось стихотворение Константина Ваншенкина:

В поэзии – пора эстрады,
ее сверкающий парад.
Вы, может, этому и рады...
Я вовсе этому не рад.
Мне этот жанр неинтересен,
он – словно мальчик для услуг.
Как тексты пишутся для песен,
так тексты есть для чтенья вслух...

И т. д.

Мне была понятна тревога хорошего поэта за качество литературы. Но жаль было потерять такую чудесную и необычную возможность слушать относительно свободное слово. Ведь в книгах все было заранее взвешено, вычищено, препарировано. А то, что звучало с эстрады, гораздо труднее было загонять в цензурные рамки. И, например, стихи Чичибабина, которые он читал на поэтических вечерах, и те же стихи, но уже напечатанные – это были зачастую совершенно разные произведения! А порой и противоположные по смыслу и ряду, как, надеюсь, мне удалось показать в главе «Четыре книжки...»

Я послал в «Литературку» реплику-возражение – сослался на пример Маяковского: известного эстрадного поэта, но, между прочим, не бездарного... Мою реплику напечатали, а рядом – ответ Ваншенкина. Как в большинстве споров, мы оба были правы. Не стоит, впрочем, пересказывать обмен аргументами, одно скажу: в подтексте моей заметки было беспокойство за Бориса, который на эстраде был очень хорош – и широко пользовался ею, чтобы донести до людей свои стихи – в том числе и звучавшие почти как крамола. Или даже без «почти». Ну, например, он читал не раз «Крымские прогулки» (стихи, осуждающие сталинскую депортацию крымских татар – да тем самым, пожалуй, и других народов), тогда же можно было услышать и его стихи с рефреном «Не умер Сталин!», бесстрашно оспаривавшие насаждаемое властями мнение, что с разоблачением «культы личности» все издержки тотальной диктатуры остались позади... Да мало ли чего можно было от него услышать на этих вечерах – напри-

мер, и о том, «что кесари наши пузаты, и главный их козырь – ко-рысть»...

Но ведь и то сказать: не он один вдруг стал такой смелый – под-распустились и другие писатели. После того как Никита Сергеевич, багровея от гнева, орал при большом скоплении народу на Вознесен-ского и Евтушенко, взялись и за писателей, живущих на Украине. И наш старый знакомец Скаба с высокой трибуны такого судилища вот так же пытался покрикивать на Виктора Некрасова, а про Чичибаби-на сказал буквально следующее (я запомнил):

– Харьковское радио предоставило микрофон некоему Чичиба-бину, который в своих, с позволения сказать, стихах пытался пропо-ведовать анархические взгляды.

А дело было так. На одном из своих поэтических вечеров (он проходил в Центральной лектории) Борис читал стихи, где была та-кая строчка:

...и над нами не надо начальства!

Ишь чего захотел! Да нешто без начальства можно? Холуи това-рища Скабы, да, наверное, и он сам, приняли это за пропаганду взглядов Бакунина, Кропоткина и Левы Задова. Но откуда начальст-во пронюхало, как услышало эту крамолу? Проще не бывает: перед Чичибабиным стоял маленький микрофон от репортерского магни-тофона, на который выступление записывала редактор отдела лите-ратурно-музыкального вещания Дебора Михайловна Демиховская. Запись вскоре прозвучала в эфире, и – то ли кто-то донес, то ли... опять-таки кто-то донес, а, возможно – по результатам проверки «микрофонных материалов»³³, но в Киеве дознались о преступной строке, а результат – критика из уст самого Скабы! По хорошо сло-жившейся традиции, в ответ на критику были приняты меры: Дебору Михайловну сослали в «Обласні вісті», и по привычке все ждали, что как-то взыщут и с поэта. В то время многие ожегшиеся на сталинском молоке дули на хрущевскую воду. И я – в том числе. Мне казалось, что над Борисом нависла реальная опасность. И я к нему явился с выражением солидарности – к сожалению, весьма неуклюжим. Воз-мущенный этими преподлыми экивоками: «некий Чичибабин», «с по-звольенья сказать», – я сел и сочинил свои куплеты о поэте, который жил-поживал «под грохот стихий» – «и писал он без дозволенья, с по-звольенья сказать, стихи». Затем появился «с позволения сказать, Скаба», делал свой «с позволения сказать, доклад»... И все бы ничего, но я вздумал живописать будущее – по тому образцу, который был

³³ Переносилось на бумагу ВСЕ, что звучало – с пленки или «живьем», и мне, бывшему редактору заводского радиовещания, оставившему эту работу в 1972 году, до сих пор снится – на седьмом году жизни в Израиле! – советский служебный сон, будто ко мне явилась комиссия, а у меня не хватает нескольких «микрофонных материалов»...

привычен: по модели, примененной к Зощенко, Ахматовой и ко многим другим жертвам партийного контроля над литературой. И Борису, даже без этого гороскопа, конечно же, опасавшемуся за свою судьбу, вздумал эти куплеты прочитать. Там, правда, были и «оптимистические» строчки:

Но останется после смерти
от поэта – живой огонь,
от чиновника, уж поверьте,
с позволенья сказать, лишь вонь.

Ничего себе оптимизм! Вообще-то я оказался (не правда ли?) тоже отчасти пророком: вот что значит поэзия! Но в каком-то ослеплении я вздумал прочесть эти – вот уж, действительно, с позволенья сказать – стихи самому Поэту, не подумав, что он вправе расценить мое сочувствие как похороны живого. Да при этом я еще и стал откровенничать: меня лишь недавно приняли в партию, и, если мои мрачные опасения оправдаются, то – как мне тогда к нему, Борису, приходиться?!

Короче: у меня есть опасение, что именно я своей «трусостью вслух» «вдохновил» его на стихи, процитированные в начале этой главы. Ну, может, не только я... Не слишком-то мне приятно делиться этим своим предположением, но ведь я обещал быть правдивым.

В тот день у него сидел старлей из академии имени Говорова – поэт Лорик (фамилии не помню). Зашел и вышел Алик Полтавцев – вольнодумный преподаватель истории КПСС, зять немислимой юдофобки Галины Кузьминичны Проценко – секретаря одного из городских райкомов партии, а после – директора одной из центральных школ...

Борис и Мотя провожали меня, как всегда, стоя на освещенной площадке лестницы, перед входом в их чердачную квартиру. Когда я спустился по скрипучей деревянной лестнице, лампочка погасла.

А мы с тобой глядим им вслед
и на площадке тушим свет...

Одно лишь меня утешает: все же я тогда к нему явился с поддержкой. Неуклюжей, косолапой, неумной, но – поддержкой.

Прошло несколько лет, и мне представился случай выступить в его защиту весьма публично. Об этом, однако, в следующей главе.

Х. «МОЯ ПОДРУГА ВАРИТ БОРЩ»

Критическая эскапада Скабы губительных последствий для Бориса не имела – все же пошли другие времена. После московской книжки «Молодость» один за другим вышли еще три поэтических сборника в Харькове: в 1963-м, 1965-м и 1968-м году. Партийные идеологи все надеялись приручить поэта – и, казалось, это им удастся. Все четыре получились, в целом, серо-посредственные, подровненные под среднеарифметический провинциальный стандарт, – «кастрированные», как выразился сам Чичибабин. И, вместе с тем, литературно-политические парикмахеры ощутили неожиданное и своеобразное сопротивление материала. Чем больше усреднялись по своей прическе книги этого поэта, тем чаще выбивались из-под припомаженных волос непокорные вихры. На вечерах, во время литературных встреч и просто в частных домах, да и в собственной их с Мотей труппе, а то и на даче, в домике, построенном для них на средства родителей и подаренном Борису, звучали совсем не такие стихи, каких ожидали от него непрошенные «слуги народа». То были печальные раздумья о судьбах родины и поколения, о порабощенной культуре («Клубится кладбищенский сумрак...»), гневные инвективы сталинщине и ее последышам («Клянусь на знамени веселом сражаться праведно и честно, что будет путь мой крут и солон, пока исчадь не исчезло»); грозные прорицания по адресу бонз («Их бархат был тяжел и огнен, но знал веселый баламут: не мы под окнами подохнем, не нас на свалку сволокут»); сигналы об опасности, обращенные к современникам («А новые крадутся, честь растеряв, к власти и к радости – через тела»); призывы к явлению новых обличителей («Когда ж ты родишься, в огне трепеща, новый Радищев, – гнев и печаль?!»); уничтожающие характеристики правящей элиты («антисемитские кретины и государственные хамы»); совершенно откровенные констатации («что кесари наши пузаты, и главный их козырь – козырь»)...

Или – как можно было стерпеть такое заявление: «Поэты уходят в изгнание, а с нами – одни холуи»?! Поразительно, что эти строки были написаны еще до бегства или высылки на Запад Виктора Не-

красова, Солженицына, Бродского, Коржавина и прочих, и прочих, и прочих, а значит, представляли собой пророчество чистой воды!

Холуи и кесари, антисемиты, кретины и хамы жаждали поквитаться с поэтом. Благо, он и сам им то и дело подставлялся.

* * *

Не знаю, кто присоветовал Борису бросить счетную работу и превратиться в «лицо свободной профессии», в вольного литератора. О некоторых последствиях этого шага уже было рассказано – однако, может быть, чересчур бегло. Например, о том, чем была чревата для Бориса литературная студия, которой он взялся руководить. В те годы поэтического бума этих студий развелось видимо-невидимо, так что даже не хватало литераторов-профессионалов, членов писательского союза, чтобы их возглавить. Например, при заводе, на котором я служил редактором заводского радиовещания, было четыре «культурпросветучреждения» (Дворец культуры и три клуба), и в трех из них имелись «творческие литстудии». При этом всеми тремя одно время руководили не профессиональные писатели, а просто – «кто понахальнее» (я – в том числе), а один из нас, некто Роженко, оказался стопроцентным шарлатаном: он, в частности, расклеил объявления, в которых обещал выучить всех желающих «написание романов, повестей, стихов и пьес». Из-за этого объявления, впрочем, его и выгнали, и к добрым двум десяткам графоманов стал ездить раз в неделю из города, прodelывая долгий путь в трамвае, сам главный харьковский критик Гельфандбейн. Однако и профессиональное чутье не помогло ему выявить среди них одного наглого старичка-плагиатора, по специальности – паяльщика, который успел переписать и тиснуть под своей фамилией в нашей многотиражке «Тепловозник» примерно половину стихотворений из книжки рабочего поэта с коломенского тепловозостроительного завода. Там тепловозы – здесь тепловозы, там рабочая бодрость и пролетарская сплоченность – и здесь тоже. Старичок и в мою литстудию захаживал, а литстраницы в многотиражке и вообще были моей епархией, так что я списанные им стихи и публиковал – но и подозревал все время, что они сплагированы... Однако коллеги, с которыми я делился подозрениями, стали меня упрекать: «Ты не веришь в силы рабочего класса!», а когда я обратился за сочувствием к Гельфандбейну, то и он меня опроверг: «Ну, что вы, Феликс: Буков (фамилия паяльщика) – это же самох-х-х-одок!» (т.е. самородок), и это прекартавое «Р» так было проникнуто верой в силы рабочего класса, выстраданной в горниле пережитых критиком многочисленных гонений, что я был вынужден заткнуть поддувало и не подозревать. Поэта-паяльщика, между тем, горячо полюбило начальство, объявило его ударником коммунистического труда и рост-

ком нового, коммунистического будущего (закрывая глаза на то, что росток этот пил – и явно не воду); его стихи стала публиковать и областная пресса, они были заверстаны и в готовившийся сборник «Молодой Харьков» (начинающему «поэту», между тем, было уже под шестьдесят...) И не знаю, чем бы он кончил, если бы обворованный им вдохновенный певец коломенских тепловозов, Александр Кирсанов, не обнаружил в посылаемой по обмену нашей многотиражке свои стихи под чужой фамилией. Автор книжки стихов, вышедшей в издательстве «Московский рабочий» (в Харькове ее не оказалось – единственный экземпляр, случайно купленный на каком-то подмосковном вокзале, имелся лишь у самого плагиатора) метнул пламенно-гневные письма в «Литгазету» и – в нашу многотиражку, мы еле уговорили «Литературку» не раздувать историю на всю страну... Оказалось, наш паяльщик – своего рода рецидивист: он уже сидел год до войны за то, что выдавал себя за... сотрудника госбезопасности. На сей же раз отделался общественным порицанием, которое ему вынес цеховой товарищеский суд.

История эта произошла как раз на гребне всеобщего стихотворческого помешательства. В эти годы уже никому бы не пришло в голову выдавать себя за чекиста. А вот за поэта!.. На короткое время поэт в России и в самом деле сделался чем-то большим, чем просто поэт, да ведь и строка эта была придумана тогда же...

Борис возглавил студию с совершенно другим составом участников: почти все они были жителями центра города, выходцами из интеллигентных семей. Впрочем, был и рабочий с завода «Серп и молот» – звали его Эдиком Савенко, и впоследствии он стал известен миру как Эдуард Лимонов. (Вот и попробуй не верь в силы рабочего класса...) Вообще же, поскольку студия находилась в самом центре Харькова – в Доме культуры работников связи, туда набежала куча литературных мальчиков и девочек, привлеченная именем руководителя, – среди них и немало одаренных. Назовем (впрочем, без оценок, которые пусть выставит сам читатель) известного израильского «русскоязычного» поэта Александра Верника, прозаика и поэта Юрия Милославского, живущего сейчас в Нью-Йорке... Захаживал сюда и тогдашний аспирант, а ныне профессор филологии харьковского университета Александр Гуторов. Да и будущая жена Чичибабина Лиля – она ведь тоже была его литстудийкой.

В ту пору студийцы были молоды, разогреты до кипения литературными и политическими страстями времени, непокорны, беспаспортны и – если не все, то некоторые – хамовиты. Борису с такой командой приходилось порой очень туго. Этому способствовал и его собственный дуализм: с одной стороны, он был нонконформистом, разоблачителем, ниспровергателем, с другой же – воспитанный своим временем и средой, все не мог расстаться – да ведь так до конца и не

распростился! – с «красными» иллюзиями («Но до сих пор в моих вещах смеется галстук пионерский». Или – такое: «Увы, мой стяг – мой стих, нам безусловно плохо; не узнает своих безумная эпоха». То есть: человек отсидел пять лет, но так и не понял, что те, кто его посадил – не «свои»... Или – вот еще: «Именем советской власти комсомольца взяли под замок»). Да плевать ведь им, что ты – красный комсомолец и за советскую власть: они своих премьеров, своих вождей и «любимцев партии», их же и создавших, сажали с еще большим удовольствием, чем открытых врагов. «Безыдейный», «анархический» Чичибабин оказывался этой своей чертой подобен нашим фанатическим родителям, вернувшимся из пяти-шестилетнего заключения еще более убежденными коммунистами... Или – Галине Серебряковой, после полужизни на «марксистской» каторге восхвалявшей Маркса. Или – бравому полковнику (и тоже, как Серебрякова, писателю), «червонному казаку» Илье Дубинскому, после 18-ти лет лагерей восклицавшему (сам при сем присутствовал): «Солженицын жалеет истинных врагов советской власти, которых мучают в лагере, – но что же: прикажете их булочками кормить? Да если придется – я их сам, сейчас, вот этой рукой!» – И показал аудитории, как бы он сейчас вот этой собственной рукой душил врагов родной, его посадившей и облгавшей, советской власти...

А окружавшие Бориса девочки и мальчики были уже совсем другими. Советская власть не являлась для них священной коровой. Им такая «диалектика» была непонятна, чужда, смешна, они ее напрочь отвергали. А, в силу жестокосердой своей молодости, при этом еще и пускались в глумливый спор с носителями этих странных пережитков донкишотского большевизма. И Борис оказывался под огнем издательской, бесцеремонной, остроумной и совершенно безжалостной критики. При этом, споры велись в открытую, вслух, во все более сгущавшейся атмосфере сталинистского реванша. И дети не знали, чем заканчивается вольнодумство в одной, отдельно взятой стране, а он это знал на собственной шкуре. И хотя писал все более острые, политически опасные стихи, смертельно боялся снова угодить за решетку. Вот почему он жаловался друзьям и знакомым – в том числе и мне:

– Я уже просто не знаю, что мне делать с этой публикой (литстудийцами): они такое несут...

Лично ко мне он обратился с просьбой:

– Слушай, приходи ко мне на студию – поможешь спорить с этими ребятами, заодно и свои стихи считаешь...

Мне было интересно там побывать – но и страшновато: спорить я умел не лучше его, наши с ним розовые большевистские аргументы легко побивались жизнью. Но в том-то и дело, что я уже и сам был с «червоточинкой» – и червь, меня точивший, назывался правдой ре-

альности. Я писал уже тайные стихи – тайные потому, что даже те, в которых агонизировала моя большевистская идейность (агонизировала – стало быть, все-таки жила!) – даже они уже были чреватые неприятностями, а стали у меня вырываться на бумагу и вовсе незаконные признания, наказуемые по статьям Уголовного кодекса как антисоветская клевета... Вот меня и тянуло туда, где люди говорят без оглядки. Хотя сам я последовать их примеру не мог: тоже ведь был напуган – и примерами не дальних мне людей.

Все же однажды решился – и пошел на занятие. Спора, однако, никакого не возникло, мне предложили почитать свои стихи, я прочел – правда, вовсе не тайное, но чем-то понравившееся даже самым зубастым из литмальчиков. Должно быть, их подкупила прямая речь персонажа, а также – самоотверженная рифмовка автором собственной фамилии:

– Кури, – говорит, – Рахлин! –
и рядышком подсел. –
А ну его, – говорит, – на хрен:
умаялся совсем!

Скандалная молодежь встретила меня на удивление доброжелательно: и черный, как жук, большеносый, персообразный Юра Милославский с увеличенными (из-за специальных очков) миндалевидными глазами, ходивший вперевалочку и, при интеллигентской внешности, пересыпавший речь мужицкими матюками, и юный, тонкошей, очень городской Саша Верник, едва выскочивший из пубертатного периода... Состоялся и шумный вечер – один из последних на излете той литературной лихорадки. Дело было где-то в 1966-м, оттепельные куцы свободы сворачивались, назревал процесс Даниэля и Синявского и уже обозначился пресловутый «застой». Деятельность студии и самого Бориса вызывала аллергию у «пузатых кесарей». Особенно большое раздражение возникло у них в связи с готовившимся студией вечером памяти Бориса Пастернака. Ошельмованный за публикацию в Италии своего романа «Доктор Живаго», великий поэт не был забыт интеллигенцией, и властям с этим пришлось смириться. Однако подготовки к вечеру они Чичибабину не простили – студия под каким-то предлогом была ликвидирована. А как раз в это время поголовное увлечение поэзией как-то враз прекратилось, «творческие» кружки один за другим распадались... И Борис в материальном плане оказался на мели. Именно тогда и пришлось ему вернуться к счётам и арифмометру.

Службу свою он не любил, тяготился ею (недаром же находим у него признание: «Нужде и службе верен поневоле...») И еще – там же: «А мне вставать мучень под будильник...» Не говорю уже о знаменитом: «Как страшно в субботу ходить на работу...») Но, вместе с

тем, выполнял эту неинтересную работу успешно и был за нее ценим, кажется, выше, чем за литературные труды. Впрочем, я уже писал, что многие его сотрудники и не догадывались, что работают рядом с великим поэтом. Что-то вроде миллионера Корейко в «Геркулесе», – только без миллионов...

Не выбыв еще из Союза советских писателей, он все больше и больше терял там почву. Последняя книжка «Плывет «Аврора» пачками лежала на прилавках и в подсобках книжных магазинов не распроданная, как писания какого-нибудь Бориса Котлярова или Александра Кравцова. И то сказать: к этому времени целыми обоями неутомимые и неистребимые шутники стали выстреливать по всей России анекдоты о Чапаеве, Дзержинском и даже – о Ленине с Крупской! То был результат глубокого общенародного разочарования в десятилетиями насаждаемом культе, не подкрепленном и, более того, дискредитированном делами. Ведь пока вера жила – эти личности не входили в скабрзные притчи. А теперь:

«– Наденька! – (Сдавленным, сладковатым, фальшивым голосом Ильича, – так, как имитировали его замечательные актеры Щукин и Штраух). – Наденька, что это там заг-г-гемело (загремело)?»

– А это, Володенька, железный Феликс с Коллонтай в сенях трахнулся!»

И рассказывали такое, и сами при этом ржали, – не только «беспартийные галушки», но и КОММУНИСТЫ. Сойдясь между собой, любили поставить вопрос ребром: «Между нами, товарищами, откровенно говоря: КУДА МЫ ИДЕМ???»

И в такой обстановке, в 1968 году, под лязг советских танков о пражскую брусчатку, берет советский человек в руки «книгу лирики» (так значилось в подзаголовке нового чичибабинского сборника) и читает в оглавлении: «Думайте о коммунизме», «Ленин», «Комсомольцы», «У «Авроры» такие пушки...», и опять: «Плывет «Аврора». Листает – а со страниц: «Коммунизм – бессмертный клич», «Да, гений, вождь, кем будущность горда...», «Я хочу быть таким, как Ильич...», «Нас недаром кличут Комсомолом...» – и так далее, и тому подобное, – обычная, навязшая в ушах политическая трескотня и тягомотина.

В этом болоте, в этом вареве, в этой навозной куче политического словоблудия не так-то легко было разыскать превосходные, прекрасные, не тронутые порчей стихи. Но они – были! Например – «Родной язык» – восторженный гимн русской речи. Или – «По деревьям ходят деды...», известное в рукописях самиздата, а теперь и по последней прижизненной книге Чичибабина как «Смутное время».

Я об этих стихах уже упоминал (на стр. 27, 83), они вошли центральной частью в цикл-тетраптих «Былое и грядущее» – по-моему,

специально для них и созданный в целях «проходимости». Одной из частей тетраптиха стала нарочито искаженная «отсидочная» песенка с рефреном «Мать моя посадница», приспособленная, в данном случае, к рассказу о восстании Пугачева. Тем самым описываемая русская смута отнесена была к прошлому, в то время как первоначально (примерно в 1945-1946 году) стихотворение воспринималось как прозрачная аллюзия. Но приведем его полностью, в незатронутом правами виде, для читателя, не знакомого с этим произведением:

СМУТНОЕ ВРЕМЯ

По деревням ходят деды,
просят медные гроши.
С полуночи лезут шведы,
с юга – шпыни да шиши.

А в колосьях преют зерна,
пахнет кладбищем земля.
Поросли травой сорной
беспризорные поля.

На дорогах стынут трупы.
Пропадает богатырь.
В очарованные трубы
трубит матушка-Сибирь.

На Литве звенят гитары,
Тула точит топоры.
На Дону живут татары.
На Москве сидят воры.

Льнет к полячке русский рыцарь.
Захмелела голова.
На словах ты мастерица,
вот на деле какова?..

Не кричит ночами пѐтел,
не румянится заря.
Человечий пышный пепел
гости возят за моря...

Знать, с великого похмелья
завязалась канитель:
то ли плаха, то ли келья,
то ли брачная постель,

то ли к завтраму, быть может,
воцарится новый тать.
«И никто нам не поможет.
И не надо помогать».

Недавно в Тель-Авиве, беседуя с известным историком-медиевистом, я, к слову, процитировал это стихотворение, сказав, что оно было задумано как аллюзия. Профессор удивился: в его восприятии, это просто стихи на историческую тему, может быть, правда, претендующие на философское, художническое осмысление прошлого – но не более того... Я, однако, помню четко, как оно воспринималось всеми слушателями в середине сороковых годов: например, слова «На Москве сидят воры» заставляли их в испуге оглядываться по сторонам, – как, впрочем, и предположение, что «к завтраму, быть может, воцарится новый тать»... (Кто – тать старый – все знали безошибочно, однако помалкивали, потому что – необъяснимый парадокс эпохи! – все этого усатого татя безумно любили и безумно страшились (что, может быть, одно и то же). Не говорю уже о том, что на фоне послевоенной разрухи и деревенские нищие, и запахи кладбищ, и отсутствие петушиного крика в опустошенных селах – все это были сиюминутные реалии.

Если, однако, и это не убеждает современного читателя, то приведу последний аргумент: зачем бы автору в 1968 году прятать это стихотворение (если оно есть лишь рифмованный пересказ учебника Панкратовой или даже «Истории...» Карамзина) за соответствующий контекст – да при этом еще и снабжать дополнительным четверостишием, которого не было в первоначальной редакции – нет и в предсмертной публикации 1994 года:

Сами справимся с бедою,
плюнем пламени в лицо,
но вовек в свое, в святое,
не допустим пришлецов...

А кстати: закавыченные строчки стихотворения – «И никто нам не поможет...» и т. д. – оказывается, цитата. Мне об этом рассказала сестра.

Цитата – из стихов Георгия Иванова! Не зная этого, весьма мною уважаемый Мих. Копелиович в одной из своих статей высказал надуманное предположение, что Борис закавычил здесь некий «глас народа». Но ведь в публикации 1968 года кавычек не было! Много лет Борис эти строки в кавычки не брал – возможно, сам не заметил заимствования, а, может, не считал нужным его обнаружить... Он вообще иногда на удивление вольно обращался с чужими текстами – надеюсь, мне удастся привести забавный пример, с неожиданной стороны показывающий этого оригинального человека.

Переживания политические и гражданские роковым образом совпали с чрезвычайно сложным периодом в личной жизни Бориса.

Именно в эти годы зашли в тупик его отношения с Мотей. Нелегко был разрыв с женщиной, которая была ему женою и другом в течение добрых пятнадцати лет. По-моему, именно тогда и было создано трагическое стихотворение «Уходит в ночь мой траурный трамвай...», из которого приведу лишь концовку:

...Как я хотел хоть малое спасти.
Но нет спасенья, как прощенья нету.
До судных дней мне тьму свою нести
по свету.

Я все снесу. Мой грех, моя вина.
Еще на мне и все грехи России.
А ночь темна, дорога не видна...
Чужие...

Страшна беда совместной суеты,
и в той беде ничто не помогло мне.
Я зло забыл. Прошу тебя: и ты
не помни.

Возьми все блага жизни прожитой,
по дням моим пройди, как по подмостью,
но не темни души своей враждой
и злостью.

Можно понять, каким спасением для него была явившаяся, как дар свыше, новая любовь, так щедро воспетая им во многих стихотворениях и сонетах, посвященных Лиле. Оставив и в самом деле все нажитые и даренные блага бывшей жене (полученную совместно квартиру, подаренную отчимом дачу с участком сада и даже, насколько я знаю, с любовью и величайшим тщанием собранную библиотеку, которую Мотя ему просто не отдала!), он перебрался к Лиле и лишь теперь – но до конца дней – связал свою, до самого доньшка русскую, жизнь с еврейской семьей. Дело было в 1967 году.

К этому времени относится один эпизод его литературной жизни, в котором мне довелось принять некоторое участие, чего он, впрочем, не заметил. Случай же, по-моему, заслуживает рассказа, так как показывает сгущающуюся над ним тучу, да и вообще интересен в хронике времен Бориса Чичибабина.

Многотиражка того трамвайно-троллейбусного управления, где стал работать Борис Полушин, опубликовала стихотворение Бориса Чичибабина «Приготовление борща». Оно есть в книге «Цветение картошки» рядом с заглавным стихотворением сборника. Сходство заглавий, конечно же, не случайно, как и соседство стихотворений: Борис хотел, видимо, лишний раз подчеркнуть свою заветную мысль о том, что «Поэзия – везде» (кстати, было у него стихотворение и под

этим названием – оно вошло в одну из первых его журнальных публикаций, если не в первую).

Стихи о борще – не лучшие у Бориса, но это, так сказать, типичный Чичибабин: красочное описание будничного события, каскад колоритных зарисовок, из которых восставляются перпендикуляры к небесам; ряд поэтических сопоставлений и глубоко серьезных шуток. Вот несколько примеров:

Моя подруга варит борщ.
Неповторимая страница.
Тут лоб как следует наморщ,
чтоб за столом не осрамиться
...Ты только крышку отвали,
и грянет в нос багряный бархат,
когда картошку вдруг бабахнут
ладони ловкие твои.
...Владыка, баловень, Кощей,
герой, закованный в медали,
и гений – сроду не едали
таких породистых борщей.
Лишь добрый будет угощен,
лишь друг оценит это блюдо,
а если есть меж нас иуда,
пусть он подавится борщом!..
Клубится пар духмяней рош,
лоснится соль, гремит посуда...
Творится благодное чудо –
моя подруга варит борщ.

Из приведенных отрывков можно понять, что эта бытовая картинка – не столь уж безобидная: например, экивок в сторону иуды – отголосок реальных, мне хорошо известных и частых разговоров о подсаживаемых в компанию сексотах – стукачах. Все-таки придрать-ся к стихотворению трудно. Однако чего не сделаешь, ежели нужно. И вот – придрались... К этому времени репутация у Бориса была весьма подмочена не только его давней (официально снятой и даже отмененной, но фактически – хранимой в памяти властей) судимостью, но и множеством неосторожных стихов, близостью (через Марлену) к Даниэлю, а также – неосторожными поступками, вроде задиристой дискуссии с секретарем харьковского промышленного (!) обкома партии Василием Васильевичем Тесленко. Дело было еще при Хрущеве, простота и демократичность вошли в большую (но краткую) моду, и идеологический (по промышленности) босс вспомнил, что они с этим непокорным поэтом вместе учились в чугуевской школе. Так что для Бориса он был просто Васей.

Вася Тесленко купил бутылку водки и пришел к однокашнику в его жалкую Мотину мансарду – как видно, навести мост между обкомом и поэтом. Поэт водку выпил, но в ходе разговора принялся кричать:

– Нет, вот ты мне лучше объясни: почему ты жирный, а я – худой?

Добряк Василь Васильич обиделся и ушел. Ай-я-яй, какой же ты, Боря, неосмотрительный, да разве ж так можно?

Перестав быть секретарем обкома, Тесленко возглавил одну из харьковских областных газет («Красное знамя») – правда, не ту, в которой появился античичибабинский фельетон «Наборщуваль»... Но мир газетный и партийный были тесно переплетены между собой, а борзописцы чутко улавливали симпатии и антипатии начальства – и своего, и соседского...

Фельетон, написанный в развязном гаерском стиле, был глуп и нелеп. Аргументация предельно плоская – вроде того, что автор недоумевал: как это можно назвать борщ – породистым? Ну, там, породистая собака или лошадь – это дело понятное, но – борщ?! И вообще, что это за тема для стихотворения: готовка борща. Писать, что ли, не о чем?

Я решил вступить за Бориса и послал реплику в уже толстую – 16-страничную – «Литературку». К моему удивлению, реплику напечатали. Под заголовком «Поэзия и борщ» там было сказано:

«Многотиражная газета «Харьковский электротранспорт» напечатала стихотворение Б. Чичибабина «Приготовление борща». Это вывело из равновесия С. Василчина, который на страницах областной газеты «Социалыстычна Харківщина» (22.III.67 г.) разразился гневной рецензией. Еще бы: ну что за тема для поэзии – борщ! Как могла она возникнуть у автора? Сидел, должно быть, поглядывал в окно и на потолок... «И вдруг поэтов ноздри уловили нечто доселе неизведанное!.. Поэтова подруга варила борщ!.. И в поэтовой голове родилась первая строка. Ну, а дальше как по маслу...»

Не правда ли, какое глубокое проникновение в творческую лабораторию? Оставалось лишь цитировать и комментировать, что и сделал критик, издеваясь над каждой строкой.

Пользуясь таким методом анализа художественных произведений, очень легко не оставить камня на камне от всей современной поэзии. Скажем, вот стихотворение Е. Винокурова «Моя любимая стирала» (фи, какая тема – стирка!). Или, например, Э. Багрицкий осмеливался писать о пирогах: «вас нежный сахар инеем покрыл, и вы лежите маслянистой грудой среди ржавых груш и яблок восковых». Нежным бывает не сахар, а супруг, ржавыми – не груши, а гвозди, восковыми – не яблоки, а свечи...

Примерно такое понимание природы поэзии ощущается и в реплике С. Василчина «Наборщуваль...», написанной на стихи Б. Чичибабина. (Ав-

тор – рабочий трамвайно-троллейбусного управления³⁴). Этот поэт выпустил за последние годы три поэтических сборника. (Кстати, о последнем из них тепло писал в «ЛГ» Виктор Боков). Можно было бы лишь приветствовать появление рецензии хотя бы на одно стихотворение. Вероятно, это стихотворение и в самом деле не лишено недостатков. Но ведь нельзя же так препарировать стихи.

Газета «Социалистична Харківщина» в кои-то веки обратила внимание на поэтическую рубрику многотиражек. И обидно, что редакция предоставила слово рецензенту, который явно переборщил.

Ф. РАХЛИН
Харьков»

(«Литературная газета», № 17, 26 апреля 1967 г.).

Эта заметка – предмет моей маленькой гордости. Чтобы ее написать, а главное – послать, надо было преодолеть собственную трусость, «засветиться» перед многочисленными партийными организациями и КГБ, обнаружив свои подлинные симпатии. Я занимал самую низовую, нищенскую по зарплате, ничтожную по влиянию – и все-таки, тем не менее, «номенклатурную» должность редактора радиовещания крупнейшего харьковского военного завода. Меня знал – и заметно придирался ко мне! – сам идеологический секретарь обкома партии товарищ Сероштан. И сам председатель областного комитета по радиовещанию и телевидению товарищ Лашенко. И – следующий председатель, товарищ Приходько, тоже сам. И другие всякие тузы, а уж шестерки и подавно. Хотя бы тот же Василь Васильич, пузатый однокашник Бориса (он же и «кесарь»). Все они могли иметь (и, действительно, имели) непосредственное влияние на мою судьбу – партийную, служебную и человеческую. Но к тому времени я уже достиг некой кондиции в критической оценке советской действительности – и не мог (и не хотел) промолчать.

Однако мои опасения оказались напрасными. Заметку просто постарались не заметить. Редактриса трамвайной многотиражки (лицо заинтересованное, так как после критики в областной печати к ней немедленно предъявил претензию родной трамвайно-троллейбусный партком: зачем напечатала чичибабинский «Борщ»?) рассказала, что на каком-то семинаре журналистов Василь Васильича, возглавившего областную организацию журналистского союза, спросили: как воспринята критика в адрес «Соцки» (так у нас газетчики называли «Соц. Харківщину»). Василь Васильич ответил невозмутимо:

– Так ведь это «Литературка» «Соцку» раскритиковала. Вот если бы «Правда» – тогда другое дело...

³⁴ Заключенное в скобки пояснение дано редакцией «ЛГ»: я-то знал, что Борис – не рабочий, а бухгалтер-«подснежник» (т.е. лишь числящийся рабочим). Думаю, что из «Литературки» позвонили в трамвайное управление, а оттуда была названа официальная должность Полушина.

Даже по чисто литературному вопросу «в авторитете» была у хозяев жизни не газета писателей, а – официоз ЦК КПСС. Он понимал в электротехнике, в теории относительности, в агрономии, в квантовой механике и даже в приготовлении борща больше, чем вся Академия наук вкуче с шеф-поваром гостиницы «Метрополь»...

Настолько мой голос оказался комариным писком, что его не услышала, вероятно» и сама «Сытничиха», как называли заочно главного редактора «Соцки» – могущественную Александру Матвеевну Сытник. Когда через какое-то время мой приятель, служивший в той газете, хотел взять меня в свой отдел, то мы оба опасались, что она вспомнит мою фамилию в связи с той чичибабинской историей. Но она ничего не помнила, и не попал я под ее начало потому, что меня «не захотел» ее заместитель – зоологический юдофоб (впрочем, возможно, он-то как раз и помнил?..)

Но что – Сытничиха: сам Борис не заметил тот исторический факт моего «самоотверженного героизма», и я (не без некоторого хвастовства) ему рассказал о нем лишь перед самым своим отъездом в Израиль.

Было бы справедливо, если бы мир узнал фамилию рецензента, скрывшегося под псевдонимом «С.Василчин». Но мне ее назвали его же коллеги из «Соцки»: неофициально, и неловко разглашать сведения, доставшиеся таким случайным путем. Удовлетворимся тем, что именно к таким, как он относится энергичное пожелание Чичибабина:

«...Пусть он подавится борщом!»



Боря Полушин –
выпускник школы, 1940



«Солдат части минометной», 1944



Семья поэта. Слева направо, сидят: Борис, мама Наталья Николаевна Чичибабина,
отчим Алексей Ефимович; стоит сестра Лида. 1945 г.



Сидят: Блюма Маргулис и Давид Рахлин Стоят: Феликс и Марлена Рахлины, 1946

Имя твоё — название звезды,
 Я ты смеёшься, и ты со мною.
 Белая вьюга судьбой свистит.
 Что я скажу про счастье земное?

Пальцы твои поцелуев теплой,
 Волосы тайны, бесшумней темней.
 Белая вьюга, как белая птица,
 В ноги твои отдыхать садится.

Имя твоё — название звезды,
 Будущего отдалённые вести.
 Странно мне называть Вас „ты“
~~Имя твоё — название звезды,
 Будущего отдалённые вести.
 Странно мне называть Вас „ты“~~

Ну, расскажи, ну, каково тебе,
 Что с камнем шепчется каплей?
 Не о тебе ль вздыхает ступень,
 И дождь шумит не о тебе ль?

Ну, каково тебе, что в ленте
 Тумана, влаги и тепла
 Вурды плещутся, как лебеди,
 И в ночь оттаивает мгла?

Скажи сама, как старована
 Зима. С чего, — скажи сама, —
 Впотыная под март замаскиро-
 ванный,
 Декабрь, сводящий всех с ума?

С чего с издрюгой строгий
 Ассиметрический странный
 Я черт
~~Имя твоё — название звезды,
 Будущего отдалённые вести.
 Странно мне называть Вас „ты“~~



Марлена Рахлина и Юлий Даниэль, 1946
На обороте надпись рукою Даниэля:
«Печально я гляжу на наше поколение...»



Юлий Даниэль, 1946
На обороте надпись рукою Данэля:
«Нет, я не Байрон, я другой...»



Слева направо: Римма Бейлина, Лидия Шершер, Юлий Даниэль, Лариса Богораз,
Марлена Рахлина, Лидия Полушина, 1946. На обороте надпись рукою Даниэля: «В цветнике».



Юлий Даниэль, 1946



Марлена Рахлина и Лариса Богораз, 1946.
На обороте надпись рукою Даниэля:
«Чем бы дитя не тешилось...»



Марлена Рахлина и Лидия Полушина, 1946



Лариса Богораз, 1946



Лариса Богораз, 1989



Юлий Даниэль, 1946



Юлий Даниэль, 1970
фото сделано в Харькове через
несколько дней после освобождения



Феликс и Марлена Рахлины, 1948



Давид Рахлин и Блюма Маргулис в день возвращения Д.М.Рахлина из лагеря, 1956



Ефим Захаров и Марлена Рахлина, 1952



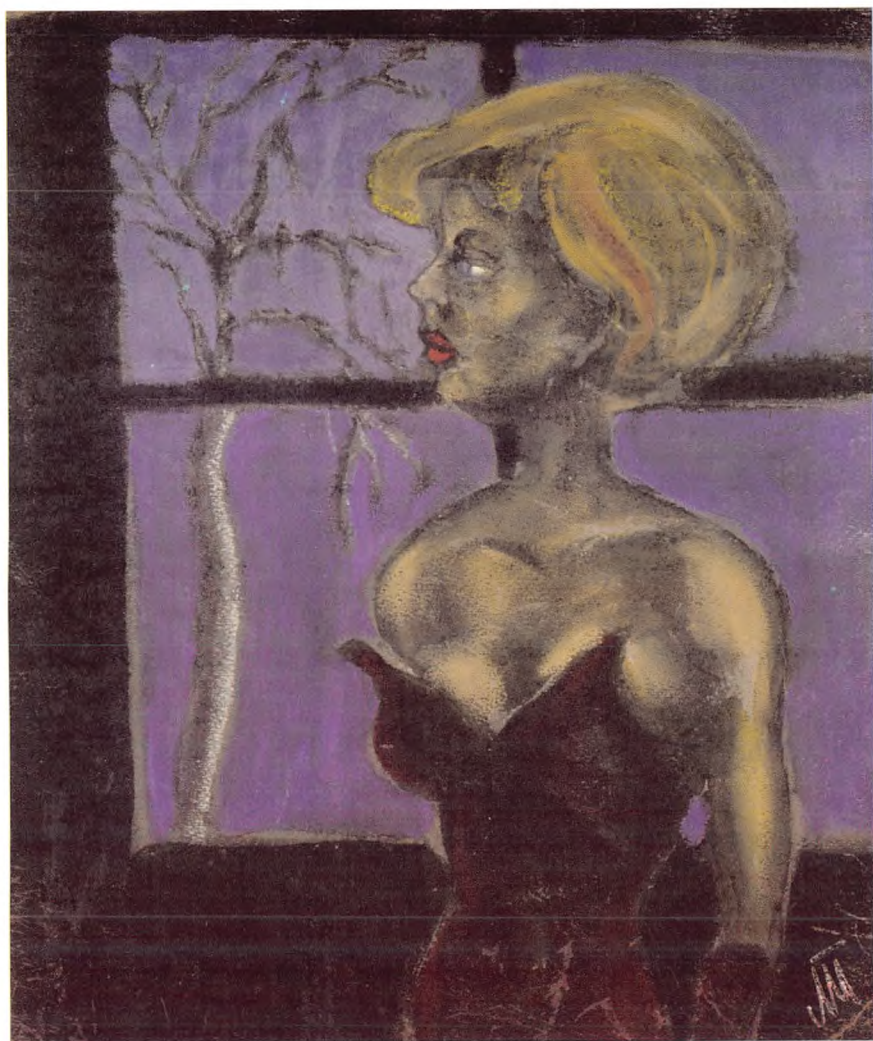
Феликс и Инна Рахины, 1954



Борис Чичибабин и Матильда Якубовская,
конец 50-х



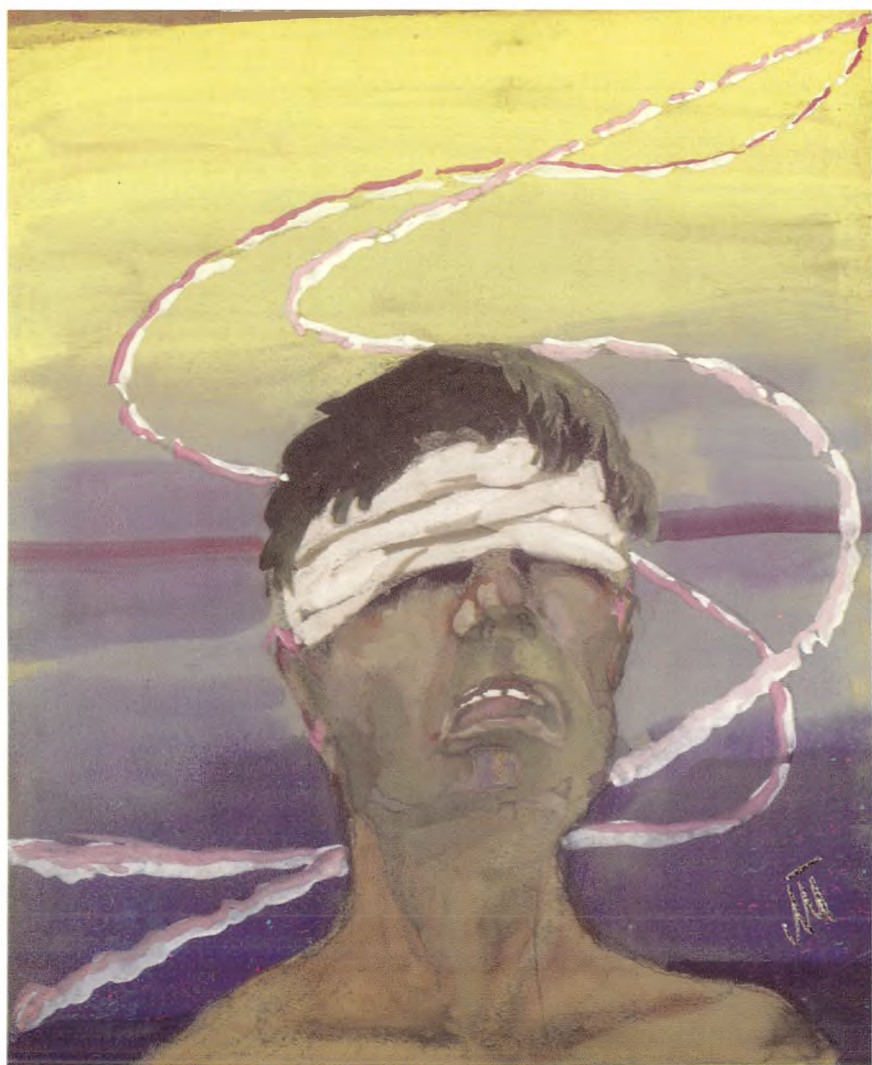
Плугса



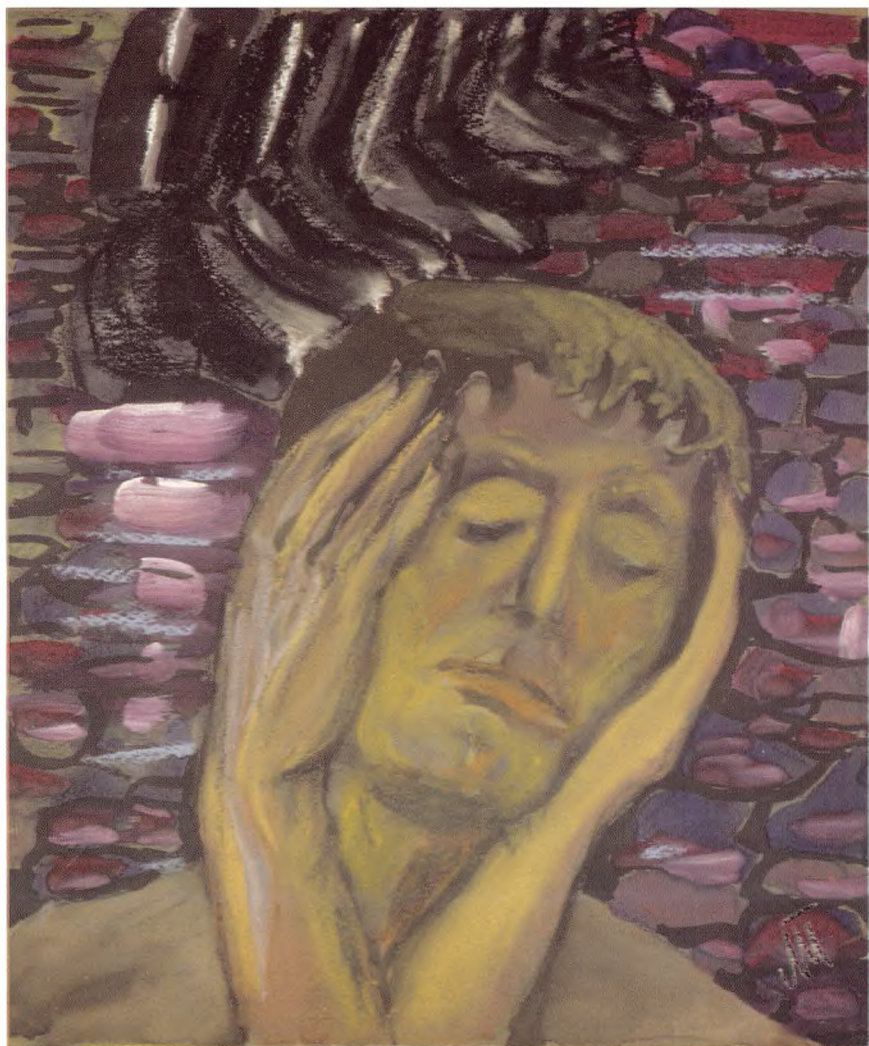
Осень



Вечером с полочки



Не вижу



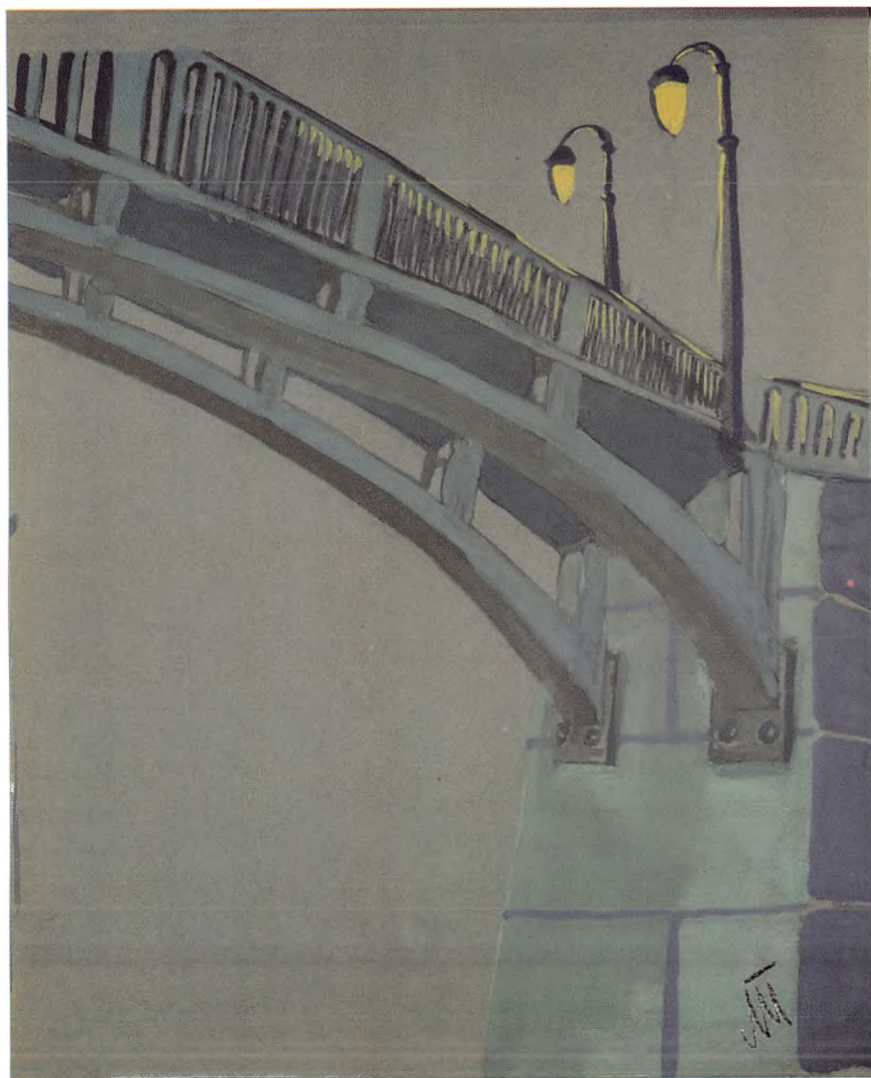
Не слышу



Не хочу знать



Сумеречная лестница



Мост в никуда



Слева направо: Марк Богославский, Александр Басюк, Борис Чичибабин, Аркадий Филатов, конец 50-х (квартира Чичибабина на Рымарской, 1)



Борис Чичибабин, начало 60-х



Леонид Пугачев, начало 60-х



Леонид Пугачев и Борис Чичибабин на даче в Высоком, начало 60-х



Александра Лесникова, начало 60-х



Марлена Рахлина, начало 60-х

Кончусь, останусь жив ли, —
Чем заростёт провал?
В игровом Путивле
Выгорела трава.

Школьные корридоры
Тихие, не звенят.
Красные помидоры
Кушайте без меня.

Как я дожил до прозы
С горькою головой?
Вечером на вопросы
Водит меня конвой.

Лестницы. Корридоры.
Хитрые письма...
Красные помидоры
Кушайте без меня.

Автограф стихотворения «Красные помидоры»



Леонид Темин, Матильда Якубовская и Борис Чичибабин, начало 60-х



Вечер в магазине «Поэзия». Стихи читает Борис Чичибабин, 1965



Вечер в магазине «Поэзия». Стихи читает Марлена Рахлина, 1965



Вечер в магазине «Поэзия». Стихи читает Аркадий Филатов, 1965



Борис Чичибабин, фото с дарственной надписью Леониду Пугачеву



Леонид Пугачев, середина 60-х



Борис Чичибабин читает стихи в школе, 1966



Леонид Пугачев, 1966



Борис Чичибабин и Лиля Карась, начало 70-х

Вошло в закон, что на Руси
при жизни нет житья поэтам.
О чём дружим, но не об этом
у чёрта за щипцу проси.

Но чуть взлетит на восток дух,
ниспадут ручейки в черниле, —
уж их по-царски хоронили,
за исключением первых двух.

Из дыма, из терний, из сков,
из рук недоорых, муч немалых
народ над миром поднимал их
и обережно, и высоко.

Из лучших лучшие слова
он находил про опочивших,
чтоб у девченок и мальчишек
всю жизнь кружилась голова.

Начто был загиб Пастернак,
тихоня, буча, нечестивец, —
а всё ж бессмертник причастился
и на его похоронах...

Иной венец, иную честь,
Твардовский, сам себе избрал ты,
затем чтоб нам жость слово правды
по-русски выдало прочесть.

Узнал, сердечный, какжовы
лады, что муза пожинала.
Ещё лады что без журнала,
друтой уйдёт без головы.

Ты слёг, о чуде не моля,
за всё свершённое в ответе.
О есть ли где-нибудь на свете
Россия, родина моя?

И если жив ещё народ,
то почему его не слышно
и почему во лжи облыжной
молчит, держа наёрваши рот?

Ведь одного его любя
превыше всяких мер и правил,
ты в ритму Меркина оправил,
как сердце вынул из себя?

И в зимний пасмурный день,
устав от жизни многотрудной,
лежишь на тризне малолетней,
как жил при жизни одинок.

Бесстыдство смотрит с торжеством.
Земля твой прах сыновний примет.
А там Маршак тебя обвинит,
„голубчик, — скажет, — с рождеством“.

До копа в горле жаль того нам,
кто был эпохи эталоном
и вот, умижен, слеп и наг,
лежал в гробу при орденах,
но с голодом неутоённым —
на отпеваньи потаённом,
куда пускали по талантам,
на воровских похоронах.

Автограф стихотворения «На смерть А.Т. Твардовского»



Борис Ладензон, Борис Чичибабин, Лиля Карась, начало 70-х



Марлена Рахлина и Фаина Шмеркина, 1971



Дома за рабочим столом, середина 70-х



Дома, после работы, середина 70-х



На дне рождения Генриха Алтуняна, середина 70-х.
Слева направо: Александр Калиновский, Семен Подольский,
Лиля Карась, Владислав Недобора, Генрих Алтунян, Борис Чичибабин

* * *

Марлене Рахлиной

Марленочка, не надо плакать,
мой друг большой.
Всё - суета, всё - тлен и слякоть.
Восприни душой!

За место спорят чернь и челядь.
Молчит мудрец.
Увы, ничем не переделают
людских сердец.

Забыв своё святое имя,
прервав полёт,
они не слышат, как над ними
орган поёт.

Не пощадит ни книг, ни фресок
бездумный век,
и зверь не так жесток и мерзок,
как человек.

Лицо прекрасное в морщинах,
труды и хворь, -
ты - прах, и с тем, кто на вершинах,
вообще не спорь.

Всё мрачно так, хоть в землю лечь нам,
над бездной путь, -
но ты не временным, а вечным
живи и будь.



«Как страшно в субботу ходить на работу...» Борис Чичибабин на субботнике, 70-е годы



На дне рождения Генриха Алтуняна, находящегося в заключении, начало 80-х.
Слева направо: Владимир Пономарев, Борис Чичибабин, Лиля Карась,
Белла Берман, Наталья Берман.



Собрание «Мемориала». За столом сидят Генрих Алтунян и Борис Чичибабин, 1989



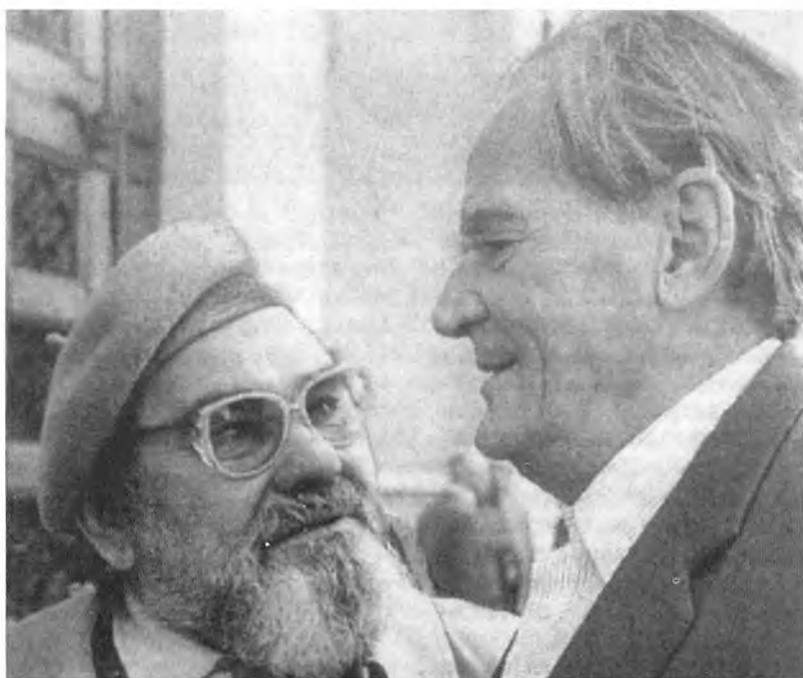
Собрание «Мемориала». Выступает Генрих Алтунян, за столом Феликс Рахлин, 1989



Борис Чичибабин, 1993



Марлена Рахлина и Борис Чичибабин, 1992



Микола Руденко и Борис Чичибабин, 1991



Надгробие Б. Чичибабину. Скульптор А. Владимиров.

Установлено в августе 1997 г. благодаря поддержке соотечественников, живущих за рубежом.

XI. «ВАМ, ФИЗИКИ, ВАМ, ШУЛЕРА...»

В начале 60-х годов, вскоре после первых космических полетов, советская общественность задалась актуальнейшим вопросом: нужна ли человеку в космосе ветка сирени? Именно так была озаглавлена дискуссия на страницах «Комсомольской правды». Конечно, в жизни страны, стоявшей на перепутье хрущевских реформ, были вопросы куда больней и важнее, однако нельзя отрицать, что обсуждаемая проблема, если быть снисходительным к неизбежным красотам журналистской фразеологии, в самом деле приобрела злободневный интерес, причем – общечеловеческий. Научно-техническая революция произвела переворот и смятение в умах, вызвала – да и продолжает вызывать – в самых разных странах и слоях фетишизацию наук, главным образом точных, а также ряда естественных, на второй план отошли гуманитарные знания – или же подверглись математизации и нормализации, зачастую – оправданным и плодотворным, но, может быть, еще чаще – вульгарно-шарлатанским. Чуткий, как всякий истинный поэт, к любым переменам в общественной ценностной ориентации, Борис Слуцкий отразил это явление в ставших крылатой фразой стихах: «Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне...» Небольшое стихотворение вызвало новую вспышку дискуссии. Как обычно и бывало в советских социалистических спорах, слышались и обвинения в «клевете». Да ведь и в самом деле, правомерно ли было считать, что лирика «у нас» на задворках, если налицо был «поэтический бум», книжки модных поэтов выходили неслыханными, астрономическими тиражами, а поэтические вечера собирали аудиторию, заполнявшую целые стадионы?!

И, между прочим, «физики», если под этим сугубо обобщенным термином разуметь людей науки и техники, составляли определенно большую, да и, в основном, несомненно, лучшую часть этой аудитории, превращаясь, хотя бы на время, в лириков, и зачастую – в восторженных. И наш, находящийся «в загоне», поэт распрямлял плечи, втягивал между лопатками свой жаркий верблюжий горб (все более и более обозначившийся с годами: как видно, последствие приобретен-

ного в детстве сколиоза) и вдохновенно читал час, полтора, а то и два свои замечательные, таинственные, «из пламя и света» рожденные слова. А «физики – химики – гуммиарабики» восторженно аплодировали ему, и те из них, которым удавалось с поэтом познакомиться, а тем более – подружиться, гордились этим, а иногда и хвастались тут же соседу по креслу: «А мы с ним вчера вместе пили водку!»

Но заканчивался вечер, и каждый возвращался к своим делам и пенатам: физики – в удобные, предоставленные вне очереди квартиры, к академическим зарплатам, к относительно (заметьте: я сказал – относительно, потому что речь у нас о тоталитарном СССР!) свободной жизни, в которой, если не бросаться в омут диссидентства (да оно еще и не народилось тогда), можно было даже власти ругнуть и Галича попеть. А наш поэт шел на свой немислимый чердак, а назавтра – хорошо если только обойдется выведением очередной липы в отчетности, а то ведь и на зачистку трамвайно-троллейбусных зайцев пошлют, вот и ходи по вагону – **салонный поэт!** – и спрашивай у тех же физиков-пассажиров: «Ваш билет? Ваш билет?» А ну как при этом какой-нибудь из знакомых физиков окажется, по совместительству, зайцем?! И весь этот приятный труд оплачивается лишь чуть пощеднее, чем уборщице или дворнику.

Так в загоне или в почете были в СССР лирики?

Не будем, однако, следовать примеру поэта-коммуниста, перестанем противопоставлять одну другой две ветви познания: научно-понятийную, логическую – и художественно-эмоциональную, тем более, что в живой жизни они сдружились. И – примерно в 1962-1965 годах – Борис Чичибабин довольно тесно общался с компанией молодых ученых, часть которых состояла в неформальном кружке, давшем себе название «Поптуриздат». (Они увлекались туризмом – и о каждом своем турпоходе «издавали» фотоальбом – тиражом, соответствующим количеству участников похода).

Ядро этой веселой, остроумной и очень еще молодой компании составляли Вова Малеев, Виташа Пустовалов, Олег Макаров и еще два-три человека, а также девушки – тоже, преимущественно, «научные», однако отнюдь не «синие чулки». Но, возможно, как раз с ними Борис и не общался. А вот с примкнувшими к ним Фимой Бейдером (впрочем, не физиком, а лингвистом, преподавателем английского языка в университете), его женой Светой Сазоновой (вот она как раз физик, а кроме того – моя двоюродная сестра и подружка детства), Фиминой коллегой по кафедре Ренатой Мухой, а также нашим общим с ними приятелем и уже тогда знаменитым физиком Марком Азбелем³⁵ – с этими, тогда еще очень и очень молодыми, людьми Борис одно время близко сошелся.

³⁵ Ныне профессор Тель-Авивского университета.

Не знаю, каковы были его отношения с супругами Воронель – Александром и Нелей (теперь, по своему литературному имени, она не Нинель, а – Нина). Эта весьма примечательная супружеская чета уже много лет продолжает играть заметную роль в культурной жизни русскоязычного Израиля, а в свое время оба окончили харьковский университет – тот же физмат, что и названный мною физик, потом переехали в Москву, где Саша занял видное положение как доктор физико-математических наук, а Неля стала... «лириком», профессионализировалась в литературе. Мне помнится, что какое-то (возможно, очень короткое) время и они общались с Борисом. Прибыв в Израиль, я привез для них и вручил Неле в подарок от их близкого друга новую, только что тогда вышедшую в Киеве, книгу стихов Чичибабина «Мои шестидесятые». Рожденная в украинском – и еще советском – государственном издательстве, она значительно отличается от изданной примерно в то же время в Москве первой бесцензурной его книги «Колокол» и включает в себя немало идеологических советов наигрышей чичибабинской лиры, столь отпугивавших читателя со вкусом. Боюсь, что этот презент мог в какой-то мере повлиять на представление Воронелей о творчестве поэта в целом. Так или иначе, было бы интересно прочесть когда-нибудь их воспоминания о нем и узнать их оценку его творчества – и не только по киевскому сборнику.

Что касается Фимы Бейдера, то с творчеством Бориса он познакомился благодаря тому, что жил, будучи студентом, у меня на квартире, и частенько я доставал из чемодана и читал ему вслух хранившиеся у нас в большом количестве лагерные автографы Бориса. Мой друг не раз слушал мои восторженные рассказы о поэте, да, может быть, я их и познакомил. И уж что совершенно точно – именно я познакомил как-то случайно, при встрече в магазине, Фиму со Светой, и вскоре они поженились. В родной и близкий мне сазоновский дом – сколь суматошный, столь и гостеприимный, вошел на всю жизнь человек сложный, даже трудный порою, но своим радушием и лучистым, из всех пор брызжущим обаянием усиливший притягательную прелесть этого дома. Сказать, что здесь всегда умели принять гостей, означает – ничего не сказать. Никогда и нигде я (а полагаю, что и многие другие) не чувствовал себя более дорогим и желанным, нигде не находил больше вкуса, смака, веселья ни в питье, ни в еде, ни в беседе... Именно в этой квартире, в огромной, по советским меркам, гостиной, устроили тетя наша Тамара (сестра отца) и ее муж, дядя Шура Сазонов, свадьбу моей сестре: ведь родители наши в то время «сидели»... Шура и Тамара заменяли и мне родителей на моей свадьбе: от некоторых гостей положение мамы и папы приходилось дер-

жать в секрете, а дядя Шура, в прошлом – ректор Харьковского университета (1938-1941 гг.), да и после – крупный вузовский деятель, к этому времени заведующий кафедрой политэкономии в горном институте, надел ради моего праздника пиджак с орденом и медалями и блестяще выполнил им самим на себя взятые функции свадебного генерала.

Однако на фоне молодой и наплевавшей на большевистские святыни компании их дочери и зятя он выглядел совершенно иначе. Помню, один из гостей – и близкий «Поптуриздату» – блестяще талантливый математик Мацаев³⁶, пропустив за одним столом с дядей Шурой уже не по одной и не по две рюмки, со специфически застойной настойчивостью выпрашивал у старика Сазонова (а выпить оба была весьма не дураки):

– Н-нет, Алек-сандр В-васильевич, в-вы мне все-т-таки объясните, ч-то это значит: «с-социализм у нас п-победил не только полностью, но и – ок-кон-ч-чательно»?

И Александр Васильевич, так же настойчиво и столь же успешно преодолевая трудности русского застойного произношения, терпеливо объяснял несведущему в общественных науках математику новую тогда формулу, выведенную Хрущевым (на которого, кстати, сам был ужасно похож). Объяснял-то хорошо, да формула оказалась не в жилу: и не полностью, и не окончательно победил у нас социализм... И – не победил ведь... Да и вообще: социализм ли это был?

Дядя Шура Сазонов преподавал много лет политэкономия социализма и, по-видимому, свято верил в те истины, которые излагал. В лице Бориса Чичибабина он нашел, однако, яростного спорщика, некротимого забияку. Борис доказывал, что социализма в СССР нет, что к власти у нас пришел новый класс, что новая буржуазия прибрала все к своим рукам, а человеку труда оставила – шиш с маслом.

– Александр Васильевич! – кричал он на хозяина дома при полной моральной поддержке младших членов семьи и большей части гостей. – Почему вы пользуетесь закрытым распределителем, а моя жена и я вынуждены стоять в очередях? Разве за это вы сражались во время гражданской войны?

Александр Васильевичу ответить было решительно нечего, хотя он и порывался как-то все объяснить с точки зрения политической экономии социализма. А Борис по просьбе компании принимался читать свои гневные инвективы, мрачные элегии, безысходные думы:

³⁶ Ныне профессор Тель-Авивского университета.

Когда с тобою пьют,
не разберешь по роже,
кто – прихвостень и плут,
кто – попросту хороший.

.....
Но мне важней тройне
в разгаре битв заветных,
на чьей ты стороне –
богатых или бедных.

Пусть муза и умрет,
блаженствуя и мучась.
Но только б за народ,
а не за власть имущих.

И Александр Васильевич, бывший (как и его двойник Никита) коногон и слесарь, а ныне – клиент магазина старых большевиков, метко названного его зятем: «Магазин «За что боролись?» – в бес- сильной досаде сжимал под столом кулаки, слушая стихи, в прошед- шем веке запоздалые... Старик невзлюбил Бориса и заочно называл его не иначе как «Чичибаба».

– Этот Чичибаба – он такое, несет, понимаешь?.. А они (т.е. Фи- ма со Светой) уши развесили и слушают его, понимаешь, как проро- ка! – жаловался он мне.

Но те же или такие же стихи ничуть не приветствовали и многие новые друзья поэта из числа молодых «физиков». Особенно бурные стычки вспыхивали, когда он принимался спорить с Марком Азбелем.

История карьеры Марка типична для послевоенного Союза. Окончив школу в 1948 году с медалью, он успел поступить на физи- ческое отделение университета (несколькими годами позже проходи- мость еврея на физический или радиофизический факультеты – и да- же при наличии у поступающего золотой медали! – была приравнена к нулю: еврей «не выдерживал» собеседования. А в 1948-1949 году та- ковое не догадались и не успели ввести...). Еще на студенческой ска- мье Марк сделал в теоретической физике работу, обеспечивающую ему зародыш будущей кандидатской и даже докторской диссертаций и означавшую, в своем дальнейшем развитии, важное научное от- крытие мирового уровня. Тем не менее, его не только не рекомендо- вали в аспирантуру, но направили преподавать физику в вечерней школе. Столь же нелепое, фактически – унижительное, при их таланте и научном потенциале, назначение получили спустя год соавтор Аз- беля по открытию нового физического эффекта Моня Канер и другой выпускник физмата – Витя Конторович (оба – мои одноклассники, окончившие нашу школу с золотой медалью). Оттепель открыла всем

троим новые возможности – их пригласили на работу в физические НИИ, и все трое защитили кандидатские и докторские диссертации. Азбель, однако, сделал это первый.

Характер защиты был весьма примечателен. Все одиннадцать членов ученого совета высказались о работе в панегирическом духе. Но после голосования оказалось белых «шаров» – пять, а черных – шесть... То есть – соискателя провалили. Тогда один из авторитетов объяснил коллегам, что они, фактически, высекли сами себя: ведь работе дана самая высокая оценка, ни слова не сказано отрицательно. Значит, что же: мы кривим душой, не имеем научного и гражданского мужества сказать правду? Или – другое: при голосовании большинство руководствовалось отнюдь не научными соображениями... Кого-то одного такое рассуждение убедило, и при повторном голосовании «за» оказалось подано шесть голосов, степень присвоили. Пять членов ученого совета, пусть и анонимно, расписались в черной зависти к молодому ученому – или в черной же евреебоязни, а скорее – и в том, и в другом. Года через два он защитил докторскую (но уже в Москве – и без приключений), а еще через несколько лет московский профессор Азбель и харьковский – Канер были представлены к Ленинской премии. И получили бы ее – если бы Азбель не оказался близким другом Юлия Даниэля – одного из двух фигурантов скандального процесса и если бы не фигурировал сам в качестве свидетеля – скорее защиты, нежели обвинения. А Канер пострадал заодно, – жалко им, власть имущим, что ли?..

Я для того так подробно рассказал об Азбеле, чтобы читателю стало понятно, с кем не побоялся вступать в споры Борис. Он-то не побоялся, но Азбель, как бы к нему ни относиться и что бы ни говорить, – это мощный интеллект, могучий логический (и софистический) аппарат, ему пальца в рот не клади. Я на это решился лишь недавно, уже здесь, в Израиле, когда мне неожиданно открылись слабые места, ахиллесовы пятки бывшего друга. А в те времена я безуспешно пытался выкатать – но всегда умолкал, побиваемый диалектически безупречными и неумолимыми рассуждениями оппонента.

Не могу сейчас реконструировать хотя бы тематику споров, но кое-что все же припоминаю. Азбель, например, придерживался взгляда на искусство как на функцию интеллекта, не имеющую ровно никакой цели – и уж, во всяком случае, воспитательной. Борис же всю жизнь исповедовал прямо противоположную веру. Мне запомнилось одно высказывание Марка, сделанное, кажется, не при Борисе, но демонстрирующее их антагонизм: известное стихотворение Евгения Евтушенко «Бабий Яр», направленное против международного антисемитизма – как гитлеровского, так и советского, он назвал проявле-

нием эксгибиционизма³⁷ (я тогда впервые услышал это слово, и по моей просьбе Азбель объяснил его значение). Борис, конечно же, не согласился бы с таким мнением – и, конечно, не соглашался с подобными... Для меня несомненно, что после одного из таких споров – и, должно быть, именно с Марком, – и родилось чичибабинское стихотворение «Вся соль из глаз повытекала...», – вот оно:

* * *

Вся соль из глас повытекала,
безумьем волос шевеля,
во славу вам, политиканы,
вам, физики, вам, шулера!

Спасая мир от милой дури,
круты вы были и мудры,
не то что мы – спиртягу дули
да умирали от муры.

Выходят боком эти граммы.
Пока мы их хлестали всласть,
вы исчисляли интегралы
и завоевывали власть.

Владыками, а не гостями
хватали время под уздцы, –
подготовители восстаний
и открыватели вакцин.

Вы сделали достойный вывод,
что эти славные дела
людское племя осчастливят,
на зло набросят удила.

По белу свету телепаясь,
бренча, как битая бутылъ,
сомненья списаны в утиль,
да здравствует утилитарность!

А я, дивясь на эту жуть,
тянусь поджечь ее сигаркой,
вступаю в заговор цыганский,
зову пророков к мятежу.

О, чары чертовых чернильниц
с полуночи и до шести!..

³⁷ Эксгибиционизм – сексопатологическая склонность к самообнажению и к публичной демонстрации половых органов.

А вы тем временем женились
на тех, кто мог бы мир спасти.

Не доверяйте нашим лирам:
отпетым нечего терять.
Простите, что с суконным рылом
втемяшился в калашный ряд.

Но я не в школах образован,
а больше в спорах да в гульбе.
Вы – доктора, а я – плебей,
и мне плевать на все резоны.

Пойду мальчишкой через век
сухой и жаркою стернею.
Мне нужен Бог и Человек.
Себе оставьте остальное.

Нужно ли говорить, что это стихотворение – вовсе не против физиков и науки как таковой. Вспомним строчку из совсем других стихов: «Чаплина с Эйнштейном солнечная пара». Кстати, «пара» эта сочетает в себе как раз идеал союза и единства точного знания – и искусства, начал эмоционального и рационального. Но фетишистского поклонения науке в ущерб искусству он стерпеть не мог. Бунтовщик по всей природе, он восстал против прагматизма, против расчеловечивания человека, которое слышалось ему в рассуждениях высококолобых мыслителей.

Не знаю, справедливо ли, но очень интересно отождествление поэтом, казалось бы, разнородных типов: политиканов – и «физиков», исчислителей интегралов – и завоевателей власти, подготовителей восстаний – и открывателей «азбель-канер-резонансов». И всех их он – совершенно неожиданно! – приравнивает к... шулерам! Почему? Да потому, что (мнилось ему – а, может, это так и есть хотя бы отчасти?) свою расчеловеченную, не во имя человека осуществляемую деятельность они оправдывают целями человеческой выгоды. Но уж какая нам выгода, извините, от «гадов-физиков», «раскрутивших шарик наоборот»?! Сотворивших – вместе с политиканами! – Хиросиму и Чернобыль?

Наверное, многое в этих рассуждениях примитивно, но что-то, как говорится, есть. Если остались еще в этом мире совесть, честь, сострадание, дружество, верность и другие иллюзии, делающие человека Человеком, то, право, они не от «физики», а – все-таки! – от Искусства. Хотя и «физики» – люди...

Впервые подъезжая автобусом к Иерусалиму, я вдруг увидел на укрепленном камнем откосе над дорогой из Тель-Авива надпись на

нескольких языках: иврите, английском, может быть, и арабском – и наконец по-русски:

«САДЫ САХАРОВА»

Честное слово, я вздрогнул от неожиданно острого и радостного волнения. Какое гармоничное сочетание слов! И как хорошо, что в еврейской стране отдали – притом так красиво! – дань благодарной памяти русскому гражданину мира, человеку Совести. Я знаю, что Чичибабин безмерно уважал этого великого физика и, конечно, не к нему, не к таким, как он, относятся слова его гневного посвящения:

«Во славу вам, политики, вам, физики, вам, шулера!»

ХІІ. «ОПЯТЬ Я В НЕХРИСТЯХ...»

* * *

Опять я в нехристях, опять
меня склоняют на собраниях,
а я и так в летах неранных,
труд лишний под меня копать.

Не вправе клясть отчаянный выезд,
несу как крест друзей отъезд.
Их Бог не выдаст – черт не съест,
им отчий стыд глаза не выест.

Один в нужде скорблю душой,
молчу и с этими, и с теми, –
уж я-то при любой системе
останусь лишний и чужой.

Дай Бог свое прожить без фальши,
мой срок без малого истек,
и вдаль я с вами не ездук:
мой жданный путь намного дальше.

Конец 60-х – начало 70-х годов были для Чичибабина, как и для многих честных интеллигентов, порой особенно тяжелой и беспросветной. Пробудившиеся было в годы оттепели иллюзии и грезы потерпели жестокий крах. СССР стал могильщиком венгерской, польской, чехословацкой свободы, а заодно и своей собственной: подвергся травле, моральному изничтожению Б. Пастернак, были изгнаны из страны А. Солженицын, А. Галич, позже – М. Ростропович с Г. Вишневской, генерал П. Григоренко, И. Бродский, Н. Коржавин, Э. Неизвестный, В. Некрасов, бежал – А. Кузнецов, безжалостно шельмовались Евг. Евтушенко, А. Вознесенский и многие другие нестандартные поэты, непокорные соцреализму художники...

Неудачу своей последней книжки «Плывет «Аврора» автор поставил в вину, прежде всего, себе: «Я сам себе растлитель и злодей...» Но не снял ее и с тех, кто подхлестывал его иллюзии, понуждал к губительным правкам и натужному патриотизму. Заряд советского оптимизма, запас розовых очков у него иссяк. «Для себя», для ближай-

ших друзей и – как знать? – может быть, для вечности поэт давно уже писал совсем другие стихи, но издать их было совершенно невозможно. Разгон его литстудии означал потерю пусть крохотного, но систематического заработка. А «телега», которую настроил «Парис Жуаныч Котелков», отрезала путь к журнальным публикациям.

Борис попытался было найти выход в обращении к литературной публицистике – так нередко поступали члены писательского союза, когда очередная книжка не вытанцовывалась в срок, а кормиться все же нужно было... Моральных препон к тому, чтобы восхвалять людей труда, он в себе не чувствовал – напротив, рабочим людом всегда искренне восторгался, о чем свидетельствуют и некоторые добротные стихи – как, например, «Горячий ремонт». Может, кто-то сердобольный в союзе или издательстве помог, – во всяком случае, Борис договорился с издательством и стал собирать материал для книжки о ХТЗ – харьковском тракторном заводе. Книжка была уже почти готова, когда рукопись (или даже уже сигнальный экземпляр?) прочло начальство этого завода. Тракторозаводские тузы возмутились: кого-то он там недохвалил, кого-то недоругал и вообще написал не то и не так. Книжку зарезали.

Случай этот в писательско-издательском мире не составил исключения. Примерно в то же самое время ко мне с проверкой работы редакции заводского радиовещания был послан бывший корреспондент «Правды Украины» Рубан, вышедший на пенсию, но еще выполняющий различные обкомовско-горкомовские поручения и, в частности, член какой-то комиссии, определявшей тиражи изданий. Проверкой «меня» он, практически, заниматься не стал, зато начал мне рассказывать различные закулисные истории – видимо, просто одолела пенсионерская словоохотливость... В частности, рассказал о злключениях маленькой мемуарной книжки бывшего узника фашистского лагеря смерти «Маутхаузен» харьковского врача Александра Иосилевича. Книжка была уже набрана, тираж – отпечатан, когда некие высшие инстанции (может быть, обком или даже ЦК) распорядились пустить все под нож. Однако сделать это не успели: неожиданно в издательство пришло письмо из Варшавы – от тогдашнего премьера Польши Юзефа Циранкевича. Оказывается, он ознакомился с тематическим планом харьковского издательства «Прапор» и очень заинтересовался книгой своего товарища по лагерному подполью: они оба входили в лагерный повстанческий комитет. Польский лидер просил выслать ему какое-то весьма внушительное количество экземпляров.

Удивительные люди – эти государственные мужи: все-то успевают – даже читать планы провинциальных советских издательств... Ясно было, что «хитрый еврей», автор книжки (кстати, он в 1991 году репатрировался в Израиль), помог польскому премьеру, по крайней

мере, ознакомиться с планом издательства «Прапор». Деваться было некуда: книжку напечатали.

А вот у Чичибабина заступника не нашлось, и работа пошла насмарку...

Тот же Рубан рассказал мне историю, имеющую к Чичибабину более близкое отношение. Как уже говорилось, студию Бориса закрыли после устроенного им поэтического вечера. Среди стихотворений, особенно не понравившихся гебешникам, были те, которые читал на этом вечере друг Бориса – Марк Богославский. Но его, по простому сходству фамилий, перепутали с членом союза писателей, поэтом Львом Болеславским (в тесном дружеском кругу просто Люсиком). Люсик Болеславский (кстати, в свое время работавший в многотиражке трамвайщиков и печатавший там стихи Бориса) – хороший лирический поэт, снискавший громкую похвалу Ильи Сельвинского, посвятившего его стихам целую статью в «Литературке», однако политической остротой его творчество, помнится, не отличалось. Каково же было недоумение бедного Люсика, когда внезапно, не объясняя причин, его книжку, уже отпечатанную, застопорили на самом выходе: обллит (так именовали местную цензурную инстанцию) не давал ей цензорского номера, а без такового в СССР не могло выйти в свет даже приглашение на детскую елку...

Впрочем, книжка Болеславского вскоре все-таки вышла, а вот Богославский смог издать, наконец, крошечный сборник стихов лишь в 1995 году – в возрасте 70 лет! (В качестве предисловия к стихотворениям использовано напутственное слово Чичибабина, которое он предпослал публикации стихов Марка в журнале «Новый мир»).

В такой-то обстановке Чичибабин стал искать себе штатную постоянную должность. Как раз тогда, в связи с развернутым по решению партии идеологическим наступлением на капитализм, были узаконены и увеличены штаты редакций фабрично-заводского радиовещания, и мне, работавшему многие годы в одиночку, были приданы две штатные единицы: диктор и корреспондент. Каюсь: такая схема была, по поручению курирующего меня телерадиокомитета, разработана мною – и, чего я вовсе не ожидал, принята для всей страны! Правда, ничтожные оклады придумал не я: диктору положили 65 р. в месяц, корреспонденту – 70 р. Борис взвешивал возможность поступить ко мне на должность корреспондента, и я, насколько это от меня зависело, готов был его принять. Однако он передумал – и предпочел бухгалтерию, где платили все-таки больше. Кроме того, бухгалтерское дело – вне идеологии, а работу заводского журналиста тот же Марк Богославский когда-то назвал «литературным онанизмом» – и довольно метко: расход энергии тот же, что и при истинном творче-

стве, а плодов – никаких! Мозги же счетных работников, по крайней мере, свободны для сочинительства: цифры рифмам не помеха.

(Вместо Бориса ко мне в помощники несколько позже поступил его литстудиец Юра Милославский, который года через два подал документы на выезд в Израиль, из-за чего мне (!) пришлось покинуть свою заводскую нишу и отправиться в люди, – но это уже совсем другая история...).

В жизни и творчестве Бориса Чичибабина примерно с 1968 года начался, таким образом, тот ДВАДЦАТИЛЕТНИЙ период совершенно ненормальной для литератора жизни. Вот в каких выражениях описывал этот период он сам: «Последняя книжка вышла в 1968 году, и с тех пор – полное молчание, полное забвение. Меня не печатали, я был изолирован от широкого круга читателей, которому были адресованы мои стихи. Но читатели-друзья были у меня всегда. И в Харькове, где я живу, и в других городах» («Выбрал сам», «Борис Чичибабин в стихах и прозе», стр. 420). И еще: «...быть насильственно и почти на всю жизнь разлученным со своим читателем – единомышленником, одиночувственником, другом, со своими возлюбленными, духовными братьями и сестрами – мука более чем ужасная, невыносимая, невообразимая». («Не может быть судьбы иной...». Предисловие к книге стихов Марлены Рахлиной «Надежда сильнее меня», Москва, 1990).

Именно тогда возникли из-под его пера и пошли гулять по стране и всему русскоязычному миру стихи, составившие одну из существенных струй тогдашнего вольномыслия. В эти годы массовой эмиграции, запретов, отказов, высылки, выдворений, посадок Борис Чичибабин создал ставшие знаменитыми и до сей поры не забытые произведения об отъезжающих, «уходящих», и об «остающихся», «кому обещаны допросы и лагеря», и о том, что «всем живым нельзя уехать с живой земли», и о самой этой земле, России, которой автор «от сыновних щедрот» слал проклятия за редкое сочетание покорности с агрессивностью – и ей же клялся в любви и нерасторжимой связи: «Я вмерз в твою шкуру дыханьем и сердцем»... Стихи переписывались, читались, неведомыми, а часто – вполне известными путями попадали за рубеж и появлялись в эмигрантских изданиях.

Литературные произведения, а, тем паче, рукописи запрещено было вывозить бесконтрольно. Однако есть чемоданы такой конструкции, которая дает возможность беспрепятственно пронести крамолу мимо самого бдительного таможенного цербера. У некоторых учеников Бориса была замечательная память на стихи, благодаря чему многое из им написанного увидело свет в различных эмигрантских изданиях Европы и Америки. Тот же Юра Милославский и еще, наверное, Александр Верник опубликовали ряд его стихотворений в американском сборнике «У голубой лагуны». Стихи Чичибабина звучали по «радиоголосам»... КГБ крепко на него сердилось, вызы-

вало, предупреждало, но... ничего не могло поделать. Беседы, угрозы не помогали: он – вновь писал свое, – да ведь как смело, честно, звучно, афористично, зло! Посадить его, как видно, не решались: его имя было уже известно за рубежом, последствия нашумевшего процесса Синявского и Даниэля повернулись против его организаторов, и даже левая интеллигенция Запада отшатнулась от СССР. Но оставить поэта в покое хозяева советской жизни не могли. Их терпение лопнуло: уж слишком он им насолил.

Кажется, последней каплей стало стихотворение Чичибабина «Памяти А.Т. Твардовского». Оно было написано после того, как власти, опасаясь диссидентских демонстраций и волнений, небывало ограничили доступ к телу скончавшегося поэта – известного защитника художественной правды в литературе и критике, многолетнего главного редактора одного из самых демократических «толстых» журналов страны. Именно в «Новом мире» и именно под редакцией Твардовского появились в печати произведения А. Солженицына, В. Войновича, Г. Владимова и многих других писателей, вскоре решительно разошедшихся с властью и изгнанных из страны. Да ведь и одна из первых публикаций Б. Чичибабина появилась в этом журнале. Критический раздел в нем вел замечательный литератор Владимир Лакшин, отстаивавший адекватное понятие художественной правды, смертоносное для соцреализма, провозглашавшего своей целью «изображение действительности в ее революционном развитии», то есть не такую, какова она в действительности, а – какой хотят ее увидеть фанатики революционаризма. Любовь и доверие читателей к Твардовскому усиливались многократно тем, что он сам в своем творчестве был искренен, прост и высоко требователен к себе, благодаря чему создал подлинно народную поэму о Василии Теркине, показав войну и русского солдата в ярком свете Истины. В журнале, которым руководил Твардовский, в течение ряда лет велась непримиримая дискуссия против литературных и политических староверов и ортодоксов типа В. Кочетова и А. Дымшица, возглавлявших полярный по идеологической и эстетической позиции журнал «Октябрь», против политических лизоблюдов, прихвостней, псевдопатриотов. В ходе укрепления в «зрелом» советском обществе сталинистских тенденций, разложения, застоя, позиции Твардовского становились все слабее, покровительствуемые им литераторы «разоблачались» как чуждый элемент и изгонялись за рубеж, и, наконец, его сместили с поста главного редактора «Нового мира», не избрали в новый состав ЦК партии... Все это поэт и гражданин переживал тяжело и глубоко, и, по всеобщему ощущению, именно это ускорило его кончину. И вот теперь враги, политические и литературные, поквитались с покойным.

Именно так увидел и так отразил смерть и похороны Твардовского Чичибабин в своем стихотворении. В нем что ни строчка, то удар – по чиновной правящей мерзости, по расейским традициям литературно-сыскной расправы:

Вошло в закон, что на Руси
при жизни нет житья поэтам...
...На что был загнан Пастернак,
тихоня, бука, нечестивец,
а все ж бессмертью причастились
и на его похоронах.
Иной венец, иную честь,
Твардовский, сам себе избрал ты,
затем чтоб нам хоть слово правды
по-русски выпало прочесть.
...Бесстыдство смотрит с торжеством...
...До кома в горле жаль того нам,
кто был эпохи эталоном –
и вот, унижен, слеп и наг,
лежал в гробу при орденах,
но с голодом неутоленным, –
на отпеванье потаенном,
куда пускали по талонам, –
на воровских похоронах.

Тут что ни слово, то оплеуха каждому невежественному и надменному чиновнику, каждому гонителю правды, чести, ума и совести, – не того суррогата этих понятий, который объявлен был синонимом коммунизма и его партии, а Правды, Чести, Ума и Совести в подлинном человеческом смысле. Особенно убойным было, мне кажется, слово «талоны»: это символ коммунистического рая, повседневный бич самозаносчивой, но все более оскудевавшей советской жизни – талоны на мясо, талоны на мебель – и вот теперь даже «талоны» на похороны Правды и Поэзии! Однако властям, по-моему, больше всего не понравились и более всего их возмутили другие строки:

...И если жив еще народ,
то почему его не слышно
и почему во лжи облыжной
молчит, дерьма набравши в рот?

Эту апелляцию к массам, эту правду об оболваненном народе правители безнаказанной оставить не могли. Конечно, в иные времена они бы с удовольствием упрятали его за решетку. Нет, на арест власти не решились – на сей раз кара была придумана «лишь» моральная: Чичибабин был исключен из Союза советских писателей.

Рассказываю – со слов сестры Марлены и других литераторов, а отчасти – по слышанному во время Чичибабинских чтений 1995 года

в Харькове протоколу заседания харьковских писателей³⁸, – как это произошло.

9 января 1973 года Чичибабину исполнилось 50 лет. По этому случаю тогдашний председатель поэтической секции харьковского отделения СП – русский поэт Зельман Менделевич Кац пригласил юбиляра выступить с творческим отчетом на заседании секции, почтить коллегам по «цеху» свои стихи. Не желая ни в коей мере бросить тень на Каца (которого могли просто использовать, надоумить на это приглашение), скажу лишь, зная Бориса, что более удобную провокацию его на чтение опасных стихов, притом в весьма опасном месте, трудно было бы придумать. Поэт с готовностью принял приглашение – и прочел – в силу уже отмечавшейся безоглядности своей эмоциональной природы – в числе других и резкие, «неправильные» свои стихи. Какие именно? На этот счет сведения расходятся. Однако в ходе разразившегося вскоре скандала ему поставили в вину стихи и на тему отъездов в эмиграцию, и – о России («Тебе моя Русь, не Богу, не зверю, молиться – молюсь, а верить – не верю»), «свинные хамы, силою сильны, Двины и Камы сирые сыны», «Мы – город Глупов, свет бессмертных душ» и т. п.), и, наконец, «Памяти А. Твардовского».

Да, заседание оказалось ловко подстроеной ловушкой. Чуть ли не на другое утро крамольные тексты – или даже их запись на магнитофонную ленту – легли на стол партийной дамы – секретаря Дзержинского, что ли, райкома партии.

Нет сомнения: от всей операции за версту несло запахом гебухи. Последовало гневное указание партийной дамы, включилось («Чего изволите?!») писательское партбюро, устроили судилище... Борис явился – и был судим и изгнан с нередким в ту пору единодушием. Единственным, кто все же подал голос в защиту Бориса, призвав «не спешить» с репрессивными оргвыводами, был Лев Болеславский, но его никто не поддержал. Чего уж ожидать от Каца, битого неоднократно: за космополитизм, безыдейность и просто за фамилию, имя и отчество, – этот выступил с речью, осуждающей Бориса Алексеевича. Если здесь что-нибудь рассказано неточно, то Зельман Менделевич (ныне – 1997 г. – житель г. Нетания, Израиль) пусть меня поправит.

Вскоре после этого изгнания белой вороны из черной стаи я встретил на Сумской (главная парадная улица Харькова) Григория Михайловича Гельфандбейна. Маститый критик, сам клятый и мятый в идеологических погромах прежних лет, громко, не таясь,

³⁸ Позже этот документ был частично опубликован в одной из харьковских газет рядом с выдержками из протокола о восстановлении Чичибабина в писательском союзе. Поразительно: одному и тому же человеку одни и те же люди в разной политической обстановке давали диаметрально противоположные оценки! Тогда – гробили, теперь – превозносят.

возмущался появившейся тогда в софроновском «Огоньке» серией статей о Маяковском, представлявшей друзей последнего – Осипа и Лилю Брик как чуть ли не гонителей и губителей Владим-Владимыча, виновников самоубийства поэта. Гельфандбеин не побоялся громко, на всю Сумскую, назвать эти статьи «антисемитскими». Но к Борису Чичибабину оказался не менее строг.

– Дух-х-хак! – нещадно картавя и брызгая слюной, кричал он. – Ну, кхх-х-хуглый духх-х-хак! Он – что: не понимает, какой нахх-х-ход пех-х-хед ним? Читает, ничего не пхх-ххопущая: «А где нахх-х-од? А нахх-х-од молчит, дехх-х-хма набхавши в х-хот!» Кто ж ему такое будет техпеть и пхощать? Духхак – и все!

* * *

Великое дело – диалектика! Как это порой бывает, карательная санкция оказалась для ее жертвы не только злом, но и благом: в своем творчестве Борис окончательно перестал оглядываться на инстанции, подгонять результат под идеологический стереотип. С писательским «профессионализмом» в худшем, негативном смысле этого слова было покончено:

Нехорошо быть профессионалом:
стихи живут, как небо и листва.
Что мастера? – Они довольны малым.
А мне, как ветру, мало мастерства.

Это написано, очевидно, вскоре после расправы. Истинные друзья, конечно же, не отступились от опального поэта. Среди них, кроме уже названных, надо вспомнить – и, наверное, в первую очередь – «павлопольцев», «павлопольскую бражку», которой посвящено немало задушевнейших стихов поэта. Боюсь, что при этом мое перечисление не будет полным, так как я эту «бражку» знал недостаточно. Павлово Поле – большой жилой массив на северо-западе Харькова, построенный в 60-е годы и населенный, в основном, интеллигенцией. Именно там жили Ладензоны – Борис и Алла, Алтуняны – Генрих и Римма, кажется, и Владик Недобора с женой Софой... А вот кому посвящены такие щемящие стихи с рефреном: «На Павловом Поле, Наташа, на Павловом Поле...»? – этого, право, не знаю. Лично для меня это время совпало с некоторым моим отдалением от Бориса, чему был ряд причин: во-первых, после истории с отъездом Юры Милославского, меня вынудили «подать в отставку», и я круто переменял род занятий, на семь долгих лет уйдя в школу-интернат для тугоухих детей. Это было для меня большое испытание – работа воспитателя, а потом и учителя, да к тому же с психологически непростым контингентом и в очень сложных условиях советского специнтерната, поглощала все мои силы и энергию. Во-вторых, меня смущало то, что я

плохо знал Лилю. Мы виделись с Борисом и с нею только на пирушках у Марлены и Фимы, Лиля нередко и очень дружественно меня приглашала в гости, но надо мною, человеком одной семьи, привыкшим – и на примере своих родителей, а потом и на своем собственном, к незабываемому супружескому постоянству, тяготело консервативное неприятие развода и антипатия к – выражаясь «термином» Юрия Трифонова – «другой жизни». Мне было внутренне неприятно, после того как я был принят как свой в доме Моти, теперь сделаться своим и в доме ее «преемницы». Вроде бы, деревенская, слишком простецкая Мотя должна была казаться мне чужой – но несправедливое чувство отчуждения у меня вызывала именно Лиля. И я не был у них – буквально ни разу! За единственным исключением: пришел попрощаться с Борисом перед своим отъездом в Израиль...

А вот сын мой одно время стал захаживать к Чичибабиным. Водил к Борису своего друга – поэта Евгения Сухарева. По моим рекомендациям к Борису обращались и некоторые мои литературные знакомые, например, Александр Кучерский – ныне израильтянин, один из авторов журнала «22» и книжки рассказов и эссе, а, в частности, и статьи о Чичибабине...

Все-таки, история исключения из писательского союза оставила в душе поэта след глубокий и саднящий. Стихотворение, которым начинается эта глава, яркое тому свидетельство.

ХIII. «УПЕРШИСЬ ЛОКТЕМ В НЕНАДЕЖНОСТЬ СТОЛА...»

В конце шестидесятых или в начале семидесятых Борис сблизился с несколькими семьями, жившими на Павловом Поле. Не знаю, имело ли значение, что и они с Мотей получили квартиру именно в этом районе – Борис, если и жил там, то совсем недолго. Но потом в течение полутора десятилетий он дружил с целой компанией «павлопольцев», которые стали ему, по его же признанию, «заместо родни».

Наибольшую среди них – прямо-таки громкую – известность в городе приобрел Генрих Алтунян. Он был – в середине шестидесятых – преуспевающим преподавателем в весьма престижном военном вузе, кажется, в академии, имел, несмотря на молодость (он младше меня), еще в конце 60-х чин майора, входил в состав партбюро факультета. Пылкий характер и жажда справедливости помешали его дальнейшей карьере. Генрих вместе с друзьями подписал письмо протеста против преследований генерала Петра Григоренко, который требовал от правительства прекратить дискриминацию в отношении крымских татар. «Что он Гекубе? Что ему Гекуба?» Этот вопрос можно было бы с одинаковым основанием задать и генералу, и майору с друзьями. Письмо было адресовано «родному» советскому правительству, а попало... в ООН (будто бы стараниями Петра Якира, который, как говорили, тут перестарался). Из 54 человек, подписавших это письмо, арестовали только четверых харьковчан: Аркадия Левина, Алтуняна, Владислава Недобору и Владимира Пономарева. Их судили за «клевету» на советскую власть и приговорили к небольшой, по советским понятиям, срокам – по три года каждому. Советская власть сама себе пекла врагов в своих «исправительно-трудовых» учреждениях; по крайней мере, Алтунян вышел из колонии вполне сформировавшимся «антисоветчиком».

Моя сотрудница, М.С. Елдышева (Клюшкина), весьма ортодоксальная партийная журналистка, в прошлом выученица и восторженная почитательница сервильного правдиста Юрия Жукова, со слов своего мужа, служившего вместе с Генрихом, рассказала, что у них среди членов партбюро «разоблачили сиониста» (имелся в виду армянин Алтунян).

Вернувшись из заключения, Генрих устроился рабочим на какой-то заводик или в мастерскую, Недобора стал работать на заводе та-келажником, Пономарев – строителем, Левин эмигрировал в Израиль и там скорее умер. Кажется, вскоре после их освобождения – и, возможно, через Бориса Ладензона – с ними познакомились и Борис, и Марлена.

Ладензон работал до самого своего отъезда в Израиль (1998 г.) инженером. Это один из самых остроумных, острословных людей, которые мне встречались в жизни. Притом обладает огромным интересом к литературе, искусству, политике и высокоразвитым художественным вкусом. Для стандартной характеристики здесь, кажется, не хватает лишь чуточки – вроде: «характер нордический» или: «делу Коммунистической партии предан». Впрочем, ни того ни другого в его характере нет.

Как-то во Дворце культуры строителей перед выступлением М. Жванецкого мы встретились с Ладензонами в гардеробной. Пальто там принимали, а вот шапку и шарф надо было тащить с собою в зал.

– У них такой порядок, – только и сказал мне Ладензон, как бы оправдывая администрацию. То было хорошее вступление к Жванецкому!

Конечно, это не самый яркий пример ладензоновской иронии, пронизывавшей буквально каждую его фразу.

В семидесятые годы эта компания стала постоянной в Марлениных застольях. Генрих, по причине ли своей «кавказской национальности» или просто в силу призвания, произносил длинные и цветистые тосты, Ладензон ненавязчиво, но всегда метко острил, Недобора неизменно и, в основном, молча смеялся... А Борис и Марлена – читали свои стихи.

Кажется, самое время рассказать о взаимоотношениях Бориса Чичибабина с... водкой и вообще со спиртным. В отличие от множества больших русских (и российских) поэтов, он никогда не был алкашом, и сонет его «Вечером с получки» – не о себе, или лишь отчасти – о себе... Но выпить в своей компании он любил: алкоголь помогал ему преодолеть застенчивость и скованность, развязать язык. В июне 1995 года на чичибабинском вечере в Иерусалиме кто-то из выступавших рассказал, что у Бориса в доме стоял... самогонный аппарат. Вот ведь компроматная подробность! Но если водка все дорожала, а на сахар держалась стабильная твердая цена, а без водки в России какое, право, застолье?! Многие тогда, не исключая рафинированную интеллигенцию, гнали (рафинированную же!) «табуретовку» или, как еще почему-то говорили, «чемергес». А Марлена с Фимой

продукт своего домашнего производства прозвали почему-то еврейским именем «Шмуль», результат же его употребления внутрь – «полетом Шмуля». Борис еще задолго до «сухого закона» Лигачева – Горбачева написал полушутливую «Оду русской водке» – она была опубликована в его предсмертном сборнике «Цветение картошки» и завершается таким пассажем:

...А бог наш Пушкин пил с утра –
и пить советовал потомкам!

Правда, сам Чичибабин этого пушкинского совета не придерживался и целыми днями бывал трезв как стеклышко. Зато уж на дружеской пирушке...

Здесь, впрочем, уместно опять обратиться к его стихам. У него есть несколько стихотворений, озаглавленных или помеченных датой «9 января» – то есть приуроченных к его собственному дню рождения. Чаще всего обращены они не «к себе – любимому», а к друзьям, но написаны как исповедь. Таково стихотворение, которое стоит привести полностью, настолько точную и беспощадную автохарактеристику, неприукрашенный и динамичный автопортрет оно собой представляет. Сколько ни перечитывал, всегда восклицаю: «Ну, до чего похож!»

Обычно в застолье с его присутствием повторялась одна и та же картина: вот кто-то завладел вниманием всей компании – поет, или читает стихи, или просто произносит очередной витиеватый тост (как Генрих в промежутке между своими диссидентскими отсидаками), или блистательно острит (как Ладензон)... Борис же к этому времени уже «дозрел» и рассчитывает на внимание друзей. Но они в данный момент о нем забыли, не он в центре их внимания. Трезвый, он бы никогда никого не перебил, но теперь хмель его раззадоривает, настраивает на агрессивный лад. И, главное, очень хочется читать свои стихи, высказывать людям заветное, накопившее...

Мне больше всего запомнились его наскоки на «Шмэру», как называли друзья Фаину (Инну) Шмеркину, которая в домашнем кругу особенно удачно пела под свою «старинную, семиструнную». Шмера в окружении Бориса Чичибабина конца семидесятых – начала 90-х годов человек не последний, а поскольку она и вообще личность, певица, и женщина замечательная, то надо о ней хоть вкратце рассказать, прежде чем процитирую стихотворение, которое и к ней прямо обращено.

Я Инну Шмеркину знаю примерно с тех же пор, как и Бориса: она училась в одной из соседних с нами школ и жила в нашем доме «Красный промышленник». С самого детства Инна отличалась незаурядной музыкальностью и вообще была девочкой яркой и нестандартной, чего я и большинство моих и ее друзей были тогда не в со-

стоянии оценить – именно в силу собственной стандартности и запрограммированности на «ГОСТ». Лишь много позднее, уже взрослым человеком, я понял, что и внешне она не просто интересна и оригинальна, но и красива – только красотой не общепринятой и общеутвержденной, а особой – может быть, восточной, южной, левантийской...

До определенного времени мы были знакомы лишь шапочно, но однажды я попал в одну с нею школьную компанию. Ее сильной стороной было музицирование – чуть ли не самоучкой она освоила фортепьяно и уж тут бывала в центре внимания. Но я принялся ее зло и агрессивно вышучивать и, можно сказать, выжил ее из круга друзей – она обиделась и ушла. Характерно, что мы оба помним этот эпизод, она – с горечью, если не с обидой, я – со стыдом и раскаянием. Лет через десять-пятнадцать в общем кругу мы снова встретились – и я впервые понял, КОГО несправедливо и глупо гнал. Из художественной самодеятельности, из подражательной эстрады Фаина Шмеркина (окончив после филфака университета еще и консерваторию) «выросла» в профессионального музыканта, опытного хормейстера. А сольное исполнение, под собственный аккомпанемент на гитаре, огромного диапазона вокальных произведений – от русского и цыганского романса до бардовской песни в собственной оригинальной интерпретации – снискало ей в нашем городе славу певицы. В частности, она исполняет и целую программу песен Марлены – как на мелодии, придуманные автором текстов, так и на собственную музыку. Я не знаток вокала, но как слушатель не раз приходил в восторг от пения, от ее голоса – сильного, гибкого, мелодичного, послушного воле своей хозяйки... Впрочем, израильские зрители и слушатели уже могли сами в этом убедиться: «Шмера» живет в Цфате и – хотя и не часто – концертирует по всей стране.

Для моего рассказа важно подчеркнуть одну ее характерологическую особенность: несмотря на внешнюю свою авантюжность, экстравагантность, кажущуюся резкость, Шмера – человек очень тонкий, ранимый, даже – не побоимся слова – закомплексованный. Впрочем, чего ж и бояться: ведь что такое культура – даже по Фрейдю! – если не закомплексованность, сублимация? Вот и друг мой Шмера – просто в высшей степени культурный человек. А оттого – страдающий.

Бывало, лишь возьмет гитару (в присутствии Бориса), как он (может быть, и нарочно) принимается бухтеть, что-то выкрикивать, отпускать, ни к селу ни к городу, какие-то реплики. Иногда ему в этом помогал Кадя – Аркадий Филатов. Шмера, даром что держится бедово, даже эксцентрично, уязвлена по-девически – и однажды, помнится, поднялась и ушла. Правда, со временем Борис, кажется,

понял ей цену, да и собственного поведения устыдился. Но рецидивы бывали и потом. Столь же невоздержан, резок, порой нетерпим бывал он в спорах с Генчиком (Генрихом Алтуняном), Марленой, друзьями близкими. Вот и готова обида. Марлена уязвлена за себя, за гостей, Лиля старается урезонить Бориса... Назавтра он придет в себя, будет переживать происшедшее, казнить, терзаться раскаянием... Но через какое-то время все повторялось.

Вот теперь в самый раз припомнить стихи.

9 ЯНВАРЯ 1980 ГОДА

И снова зажгутся, коль нам повезет,
на сосенке свечи,
и тихо опустится с тихих высот
рождественский вечер.³⁹

И рыжая киска приткнется у ног,
и закусь на блюде,
и снова сойдутся на наш огонек
хорошие люди.

Вот тут бы и вспомнить о вере былой,
о радостях старых,
о буйных тихонях, что этой порой
кемарят на нарах.

Но, тишь возмутив, окаянное дно
я в чаше увижу,
и в ночь золотую набычусь хмельно
и друга обижу.

И стану в отчаянье, зюзя из зюзь,
стучать по стаканам
с надменной надеждой: авось откуплюсь
стихом покаянным.

Упершись локтем в ненадежность стола,
в обличье убогом,
провою его, забывая слова,
внушенные Богом.

О, мне бы хоть горстку с души соскрести,
в чем совесть повинна!
Прости мне, Марлена, и Генчик, прости,
И Шмеркина Инна.

³⁹ Православное рождество всегда приходится на 7 января, т.е. почти вплотную предшествует дню рождения Бориса.

Спокойно, друзья, отходите ко сну,
поверьте заздравью,
что завтра я с чистой страницы начну
свою биографию.

Но дайте мне, дайте мне веры в меня
хоть малую каплю...
Вот так я, хмельной, погоняю коня
и так я лукавлю.

А свечи святые давно сожжены
под серую сенью,
и в сердце волнуемом нет тишины,
и нет мне прощенья.

Не мне, о, не мне говорить вам про честь:
в родимых ламанчах
я самый бессовестный что ни на есть
трепач и обманщик.

Пока я вслепую болтаю и пью,
игруч и отыгрисч,
в душе моей спорят за душу мою
Христос и Антихрист.

Думаю, многие со мною согласятся: всем бы нам такую меру совестливости, беспощадной требовательности к себе, умения видеть свои собственные изъяны. И вообще, мне кажется поразительным, что он, оказывается, и в минуты аффекта, бурного спора, собственно-го задиристого упрямства так беспощадно точно видел себя со стороны. Не каждому такое дано.

Любопытно, как во многих стихах (и в этом тоже) запечатлевались окружающие реалии. Например, один из адресатов приведенного выше стихотворения – Шмера исполняла, между прочим, в числе прочих песен Новеллы Матвеевой и песенку про двух музыкантов, из которых «один был трепач, другой был обманщик». Может, и безотчетно, но Борис эту строчку процитировал, взяв на себя оба греха... Мы уже встречались с этим особо цепким зрением: помните «голубой подъезд»? «Поэт – такой же человек, как и все прочие, но у него лучше развита память, – писал Г.-Х.Андерсен в одной из своих сказок. – И когда необходимо, он извлекает из своей памяти понадобившуюся для образа деталь» (мысль Андерсена я сам цитирую по памяти -- и, должно быть, не дословно: я ведь не поэт...).

Хотя описанные коллизии очень типичны для Чичибабина и его окружения тех лет, не надо все же думать, что он навязывался слушателям, пробивался к их вниманию ценой скандала. Напротив, почти

каждый из участников застолья с интересом и трепетом ожидал той минуты, когда Борис начнет читать свои стихи. Кроме того, что они, как правило, были интересны сами по себе, он читал их поистине мастерски, в манере впечатляющей и даже как бы гипнотизирующей. Закинув голову и прикрыв веки, он говорил свои стихи глуховатым, глубоким грудным баритоном, обозначая ритм легким движением руки и наклонами – вернее, подрагиванием – головы. Это походило на священнодействие, камлание, волшбу, молитву.

Авторское чтение стихов – если стихи незаурядны – всегда интересно. Многие поэты читают с монотонным подвыванием, что очень часто вызвано желанием подчеркнуть версификационные особенности текста: метр, рифмы, аллитерации, ассонансы и диссонансы... Классический пример такой манеры – авторское чтение Иосифа Бродского. Совершенно иначе читают стихи профессиональные актеры, мастера художественного слова: их цель – выявить, в первую очередь, содержание, как логическое, так и эмоциональное, а структура, техника стихосложения – для них, как правило, «дело девятое». Правда, отдельные чтецы нашего времени – такие, как, например, Д.Н. Журавлев, его последователь С. Новожилов, А.П. Лесникова – стали сочетать обе манеры при чтении поэтических произведений, а в самое последнее время появились актеры, подражающие поэтам. С другой стороны, такой превосходный исполнитель своих стихов, как Евгений Евтушенко, читает их по-настоящему, в буквальном смысле слова, артистично – как высокопрофессиональный актер.

Бориса не затронула мода поэтического «подвыва», но и евтушенковской «кондиции» он достичь не пытался. И все-таки его чтение было захватывающим, выразительным – и, вместе с тем, ярко стихотворческим. Отлично читал он и чужие стихи. Один случай мне особенно хорошо памятен.

У моей сестры есть свойство увлекаться новым знакомством – и порой без достаточных оснований. Имея о человеке еще не проверенные сведения или впечатления, она иногда спешила продемонстрировать его друзьям – и попадала в неловкое положение. Так, например, случилось, когда она пригласила в дом некоего литературоведа, показавшегося ей человеком оригинальным, а потом, в общей беседе, выявившего убогую тривиальность мышления. Вдобавок, возникла веская причина заподозрить в нем стукача.

Не столь зловещим, однако гораздо более комичным оказался случай с одним актером гастролировавшего в Харькове рижского театра. Кто-то ей его похвалил, или сама она в нем предположила талант, но на встречу с актером назвала кучу гостей – всем предварительно сказав о нем многообещающие слова. Пришел и Борис (дело

было в начале 60-х, когда Марлена с семьей жила еще на Подгорной). Настал заветный момент – гость объявил, что будет читать, все приготовились слушать... Сказать, что он читал плохо, отвратительно – значит не сказать ничего: это было просто чудовищно! Какие-то поуги на якобы выразительное, а на самом деле просто бессмысленное, абсолютно бездарное вытье, говорение полной невнятицы, с неожиданными и неоправданными выкриками отдельных слов. Слушатели начали переглядываться, в открытую пожимать плечами, на растерянную Марленочку было жалко смотреть... Слава Богу, стихотворение было недлинным. Когда оно закончилось, никто не мог вымолвить ни слова: «о чем говорить, когда не о чем говорить?» Атмосферу конфуза разрядил Борис: он сам принялся читать Маяковского – «Юбилейное», затем «Во весь голос»... В кругу друзей никого не удивило, что он эти достаточно объемные вещи знает без запинки наизусть: почти все тут сами все это помнили. Но столько страсти, любви к поэту и поэзии звучало в его голосе и так выгодно его чтение отличалось от только что слышанного выступления «профессионала»! А тот (очевидно, так и не поняв, что оконфузился) сидел с умным видом и по ходу чтения приговаривал:

– Хм-хм, интересная трактовка!

За Марлениным столом часто вспыхивали споры: о поэзии, о политике и на другие темы. Среди ее гостей, кроме тех, о ком уже сказано, было и еще немало интересных людей. Например, инженер и поэт Леонид Каган – автор стихотворения (которое нередко читал с эстрадных подмостков на литературных вечерах), начинавшегося строкой:

Инженеры, влюбленные в Блока..., –

А заканчивавшегося так:

...Ну, а комплекс неполноценности –
нечто вроде профессиональной болезни.

Леня – человек напряженно мыслящий и поэтому – с началом новых идеологических заморозков, тоже, может быть, попал в орбиту гебистского надзора. Возможно, плодом вызова в КГБ его самого или кого-либо из друзей явилось ироничное стихотворение, из которого помню лишь последнюю – зато самую выразительную – строфу:

Входи под серые пилоны –
и не пеняй на то, что влип:
ведь это стража Аполлона
тебя возводит на Олимп!

С Лней Каганом Борис подолгу и с удовольствием разговаривал, спорил – и всегда корректно. Жаль, что я (за редким исключением) не вел записей и теперь не могу воспроизвести многих высказываний Бориса, – а они бывали очень интересны.

Однажды он принялся объяснять особенности художнического настроения во взаимоотношении со взглядами, мировоззрением автора.

– У меня есть стихи о Петре Великом – презрительные, просто уничтожающие: «Будь проклят, император Петр!», «Сам брады стриг, сам главы сек», «натряс в немецкие штаны» и тому подобное. Но это вовсе не значит, что я, вот так, целиком, ненавижу Петра, не признаю значения его реформ. Я вижу его разным, многоликим – и, в зависимости от того, что хочу сказать сегодня, способен его показать с разных точек зрения.

Думаю, что эти слова проливают свет на многие другие стихотворения Бориса Чичибабина: например, поэт, прославлявший Ленина, в те же времена отважился написать о городе на Неве:

...он носит ненужное имя...

Или – уже под занавес собственной жизни – сочинить и с подлинно трагической страстью читать на весь мир «Плач по утраченной Родине» – то есть, казалось бы, по той самой «империи зла», которую сам же и ненавидел... Но нет – не по ней, о чем есть и в самом стихотворении. А по той огромной стране, по тому культурному пространству, которое распалось – и продолжает распадаться – у всех на глазах.

В то время, в семидесятые – начале восьмидесятых, мало кто такое предвидел – и Борис в том числе. Его поездки по стране – в Прибалтику, по Украине, в Закавказье, Крым – всегда имели творческим последствием стихи: о Таллинне, Риге, Литве, Армении и так далее. Кому-то эти стихи кажутся скучноватыми (например, в беседе с Юрием Милославским в этом духе высказалась нью-йоркская корреспондентка «Литгазеты» Лиля (Лидия) Панн). Спорить не стану, хотя в целом и особенно по поводу отдельных стихотворений совершенно не согласен – например, вот это великолепно:

У Бога в каменной шкатулке
есть город темной штукатурки,
испортившейся на треть...

(«Таллинн»)

Или – о Чернигове, где «скачут лошадки Бориса и Глеба»... А о писателях (нью-йоркская ценительница поэзии, кажется, и этой сери-

ей чичибабинских стихов недовольна) как метко и волнующе образно он умел сказать?!

...бедный-бедный андреевский Гоголь сидит
на собачьей площадке...

При всем, однако, патриотическом пыле, поэт в своих стихах об Украине ли, прибалтийских ли республиках, или Крыме, или Армении никогда не упускал момента выказать свое сочувствие тамошним национальным освободительным движениям (подробнее об этом у нас еще будет случай поговорить). То есть, он сам способствовал тому, чтобы империя в конце концов распалась. И оплакивал потом не этот результат, а совсем другое...

Крамольные тенденции его музы были известны стражам тоталитаризма, его друг Генрих Алтунян в 1980 году был арестован, вторично судим и получил (по той статье, которую ему инкриминировали) максимальное наказание: семь лет заключения и пять – ссылки. С Генрихом вступила в переписку Марлена, ее сын Женя (еще студентом начавший нелегальную правозащитную деятельность) посылал Алтуняну стихи Бориса. Чичибабин, по-моему, остерегался переписываться с заключенным (ведь он, как-никак, сам когда-то сидел по сходной статье), но о «буйных тихонях», которые «кемарят на нарах», не забывал ни на миг... Генриху он посвятил не одно свое стихотворение.

А круг надзора все сужался, угрозы становились все злее. Среди Марлениных постоянных гостей была молодая женщина, писавшая талантливые стихи, по профессии музыкант – она работала в театральном оркестре и в шутку говорила о себе, что «сидит в яме». И вот ее вызвали однажды в КГБ, предъявили резкое стихотворение Марлены – и, предварительно хорошенько перепугав угрозами нежелательных последствий ее близкого знакомства с диссидентами, – потребовали дать письменные показания, что она считает данное стихотворение клеветой на советскую власть. Сестре, кстати (а, скорее всего, и Борису), на «профилактических» встречах в КГБ, куда то вызывали повестками, то приглашали по телефону, то даже, как однажды я уже рассказывал, увезли из дому, – эти их стихотворения предъявляли – вместе с заключениями экспертов об «антисоветском характере» данных произведений. То есть, спорить о том, что, например, чичибабинские стихи на смерть Твардовского или Марленины – в честь «славного рыцаря» Генриха Алтуняна – вовсе не антисоветчина, а защита принципов гуманизма, – спорить об этом, защищаться от голословных, невежественных и, главное, политикан-

ских обвинений было уже невозможно: эксперты (конечно, анонимные) вынесли окончательный вердикт!

Бедная женщина дрогнула перед государственными негодьями – и подписала продиктованное ей «собственное мнение». Но, мучимая совестью, рассказала об этом Марлене.

Эта история случилась еще до перестройки, когда совершенно еще было непонятно, «как и куда» (сталинское выражение!) будут развиваться события. Более того, гебистский чин Бабусенко, в свое время пообещавший посадить – и посадивший! – Алтуняна, притом практически без веских улик, – теперь дал такое же обещание Марлене и Борису. Вспомним, что и перестройка поначалу развивалась вяло – уже в ее условиях сумели умирить Анатолия Марченко... Так что угроза казалась реальной.

В такой-то обстановке, без малейшей уверенности в завтрашнем дне – и, более того, в тревоге перед неизвестностью, перед угрозой на старости лет очутиться в тюрьме и лагере вступил мой герой в последнее десятилетие своей жизни – и в новые, удивительные времена.

XIV. «ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ ЧТО-ТО... ХОТЬ НЕИЗВЕСТНО, ЧТО...»

Где-то в начале 80-х, когда «перестройкой», вроде бы, и не пахло, забрезжили на горизонте огоньки грядущих перемен. В то время они в качестве таковых не воспринимались, однако теперь ясно, что власти просто не могли, не были в состоянии сдержать напор назревших новаций – и вынуждены были сделать вид, что так-де оно и задумано, что обстановка контролируется сверху. Начавшийся в 1982 году, со смертью Брежнева, «парад лафетов» выявил полный маразм системы. Восшествие на партийно-государственный престол каждого очередного маразматика лишь подчеркивало ее обреченность. Тем более, что они, всяк по-своему, обнаруживали понимание необходимости реформ и даже, в меру своего заскорузлого скудоумия, пытались их проводить в жизнь. Таково чередование в брежневских пятилетках особых «годов»: «решающего», «определяющего», «завершающего» и титулование самих пятилеток: «пятилетка интенсификации», «пятилетка эффективности и качества» и т. д. Смертельно больной Андропов ввел в борьбу за эффективность – может быть, под влиянием искусственной почки? – чисто чекистские методы слежки и сыска, распорядившись отлавливать прогульщиков в парилках, парикмахерских и в очередях за дефицитными товарами. Характерно, что в деформированных мозгах советских людей эта совершенно идиотская мера «повышения производительности труда» вызвала подобострастное одобрение, и даже здесь, в Израиле, я от эмигрантов-репатриантов слышал не раз, что-де вот если б Андропову пожить еще немного, уж он бы навел порядок... Тот же генсек и президент поставил «теоретический» вопрос: нам, сказал он, необходимо наконец разобраться, что за общество мы построили! Т.е. в переводе на рабоче-крестьянский: «Куда же мы, братцы, зашли?!»

В «теорию» ударился и совсем уж ничтожный брежневский денщик Черненко: он тоже выпустил за короткий период своего царствования некую «научную» брошюру, конечно же, поднявшую марксистско-ленинскую мысль на очередную недостижимую высоту...

А между тем, уже давно «жидовский гений»⁴⁰ Райкина со всех эстрад потешался над пороками системы. Один из работавших на него авторов, завлитчастью райкинского театра М.М. Жванецкий, оторвавшись от осторожничающего исполнителя, приобрел самостоятельный голос, выпустил ряд пластинок в собственном исполнении – с миниатюрами, в которых подмечались и высмивались коренные, неисправимые изъяны строя. Толпы зрителей, преимущественно интеллигенция, во время и после его выступления переглядывались, втягивали головы в плечи и только изумлялись: как это он еще на свободе? Как так ое разрешают?

Но, видно, уже и поделаться никто ничего не мог. Помнится, упомянутый выше Леня Каган, рассказав явно антикоммунистический анекдот, сказал, что он исходит из жившей в Харькове семьи бывшего секретаря ЦК и председателя президиума Верховного совета СССР Н. Подгорного! То есть и до верхушки советского общества истинное понимание вещей уже дошло.

Любопытная подробность (ее поведал мне человек, дружески опекавший Жванецкого во время его пребывания в Харькове). Писатель читал на своих встречах, проходивших в зале ДК строителей, свой лирический монолог об одесском учителе русского языка Друкере. Эта вещь в подтексте явно направлена против антисемитов – во всяком случае, она показывает одесского еврея, обладающего и акцентом, и многими другими характерными национальными особенностями, как великолепного педагога, тонкого знатока русской литературы и языка. Она вся пронизана любовью и нежностью автора к своему учителю.

И вот перед одним из выступлений (кажется, перед последним) автору сказали: в зале – первый секретарь харьковского обкома партии Сахнюк.

– Все первое отделение, – рассказывал мне приятель, – пока выступал приехавший вместе со Жванецким знаменитый московский поэт-пародист Александр Иванов, Михаил Михайлович, нагнувшись «полураком» к дырочке в кулисе, простоял в такой позе, внимательно и пристально следя за тем, как реагирует на выступление Иванова обкомовский туз. Зал то и дело взрывался смехом. Сахнюк не улыбнулся ни разу! Тем не менее, во втором отделении, которое целиком принадлежало Жванецкому, писатель прочел буквально все, что читал накануне, – за единственным исключением: монолог о Друкере он опустил.

⁴⁰ Так называли Райкина в Польше (где слово жид не имеет оскорбительного оттенка). См. мемуарную статью «Жидовский гений» одного из райкинских авторов, соученика Бориса по Харьковскому университету М.Азова (в его книге «Галактика в брикетах», Израиль, 1996).

Итак, ни одной из резкостей своей сатирической программы Жванецкий не поступился – видимо, потому, что знал: настала пора – по крайней мере, с эстрады – говорить о советской жизни неприкрытую правду. И лишь по одному вопросу – еврейскому! – «пузатые кесари» не были готовы ее услышать...

Но для лирики и поэтической публицистики момент истины тогда ещё не наступил. Однако и здесь наметился сдвиг.

За рамками моих воспоминаний остаются московские, киевские, ленинградские встречи поэта – по одной простой причине: «меня там не стояло». Однако мне известно, что в самые тяжкие годы, когда ему был властями наброшен «платок на роток», он знакомился, общался, дружил с прекрасными людьми из столиц. Например, с философом и эссеистом Григорием Померанцем и его женой – религиозным поэтом Зинаидой Миркиной. Литературоведом Леонидом Пинским, прозаиком и публицистом Александром Шаровым, поэтом Владимиром Леоновичем. Померанец и Миркина бывали в Харькове и общались с Борисом – как и Зиновий Гердт, как и житель Ужгорода, мастер «эзоповского стиля» наших дней Феликс Кривин... Вопреки усилиям властей, известность Бориса Чичибабина – во всяком случае, среди людей активно мыслящих и ищущих – не угасла. И в какой-то момент воздвигнутая вокруг него стена дала трещину.

Один из таких эпизодов я в состоянии если не описать, то хотя бы упомянуть. В Москве праздновался юбилей не то Н.А. Некрасова, не то носящей его имя библиотеки. И стараниями Вл. Леоновича на торжества был приглашен Борис. В изданном затем юбилейном буклете (или брошюре, или альбоме – сейчас уже не помню) в подборке посвященных Некрасову статей была и написанная (и подписанная) Б. Чичибабиным. Никаких примечаний к этому имени не придавалось – издатели исходили из молчаливого признания того, что людям читающим и так известно, кто это.

Таков был – в период ранней «перестройки» – один из первых, если не первый после длительного периода остракизма, – новый прорыв Бориса Чичибабина в печатную, подцензурную литературу.

И все-таки к началу «эры Горбачева» он подошел в состоянии глубокой творческой депрессии. «Поэзия ушла от меня», – жаловался поэт, и не только в тесном кругу друзей, но и в радиоинтервью, когда к нему, вчера еще опальному, начали приступать с расспросами журналисты. И в самом деле: несколько последних лет перед началом перестройки из-под его пера не выходило ни строчки стихов. А между тем, именно «перестройкой» он был вдруг востребован, потому что многие старые стихи, в том числе и очень давние, созданные в годы «оттепели», казались рожденными буквально сегодня, предсказывая неизбежность и необходимость коренных общественных перемен.

Вновь, хотя и не с прежней силой и при меньшем скоплении народу, стали собираться поэтические вечера, потом вошли в обыкновение массовые собрания и митинги, где и ему иногда предоставляли слово для чтения стихов. И Борис Алексеевич, произнеся с большим пылом и выразительностью стихотворение с рефреном «Не умер Сталин!», не без гордости делал оговорку, что оно написано еще в 1959 году – иначе, право, можно было принять его за чисто конъюнктурную публицистику:

Однако радоваться рано –
и пусть орет иной оракул,
что не болеть зажившим ранам,
что не вернуться злым оравам,
что труп врага уже не знамя,
что я рискую быть отсталым, –
пусть он орет, а я-то знаю:
не умер Сталин!

Новаторский ход этого стихотворения – в зеркальном переосмыслении «бессмертия» вождя. Привычная формула «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить» подавалась как позитив. Слова «Не умер Сталин!», напротив, несут зловещий смысл, сулят мучительную и неизбежную борьбу. Конечно, в прежние времена такие стихи не могли быть напечатаны: ни тогда, когда они были написаны (между прочим, по свежим следам одного из наиболее отвратительных рецидивов сталинизма – я имею в виду строку: «подонки травят Пастернаков»), ни, тем более, позже – в «пик застоя»... Теперь они пришлись эпохе впору, как подростшему ребенку купленная заранее на вырост рубашечка.

Оказалось, что этот хмурый человек с простецким лицом русского мастеравого уже давным-давно призывал к перестройке. И что за долго ее предвидел.

Покамест есть охота,
покуда есть друзья,
давайте делать что-то,
иначе жить нельзя.

Ни смысла и ни лада,
и дни как решето, –
и что-то делать надо,
хоть неизвестно что.

Ведь срок летуч и краток,
вся жизнь – в одной горсти,
так надобно ж в порядок
хоть душу привести.

Давайте что-то делать,
чтоб духу не пропасть,
чтоб не глумилась челядь
и не кичилась власть.

Никто из нас не рыцарь⁴¹,
не праведник челом,
но можно ли мириться
с неправдою и злом?

Давайте делать что-то
и, черт нас подери,
поставим Дон-Кихота
уму в поводыри.

Пусть наша плоть недужна
и безысходна тьма,
но что-то делать нужно,
чтоб не сойти с ума.

Уже и то отрада
у запертых ворот,
что все, чего не надо,
известно наперед.

Решай скорее, кто ты,
на чьей ты стороне, –
обрыдли анекдоты
с похмсьем наравне.

Давайте что-то делать,
опомнимся потом, –
стихи мои и те вот
об этом об одном.

За Божий свет в ответе
мы все вину несем.
Неужто все на свете
окончится на сем.

Давайте делать то, что
Господь душе велел,
чтоб ей не стало тошно
от наших горьких дел!

От поэзии нельзя требовать четких политических формулировок и программы действий, а эмоциональное состояние душ, характерное

⁴¹ Забавная подробность: слово «рыцарь» Борис почему-то не мог произнести через «ь» и говорил «рицарь». Существеннее отметить, что «рицарь» Дон Кихот был его любимым образом во всей мировой литературе. Листая сборник «Борис Чичибабин в стихах и прозе», без труда можно найти не менее десятка стихотворений, где этот образ упомянут.

для предперестроечных лет, передано удивительно верно. Вместе с тем, вряд ли кто станет спорить, что политическая и экономическая программа реформ где-нибудь была сформулирована более четко, чем в чичибабинских стихах. Все резолюции о построении правового государства, переходе к рыночной экономике, развитии демократии и гласности, в конечном счете, не более конкретны, чем заклинание «делать что-то, хоть неизвестно что». Вот и наделали. Неизвестно что. Впрочем, поэт виновен в этом куда меньше, нежели все остальные. Никто лучше, чем он, не сформулировал смутную цель «перестройки» и, вместе с тем ее настоятельную необходимость. Словом: «Борис Чичибабин как зеркало советской перестройки»...

Неудивительно, что его почти сразу стали печатать. Поскольку накопилось (за годы «остракизма») огромное количество ненапечатанного – и множество стихов, звучавших актуально, задевавших больной нерв эпохи, то материала для публикаций было предостаточно, и имя Бориса Чичибабина замелькало в поэтических рубриках «Литературной газеты», «Огонька» и главных толстых журналов страны. Я уже писал, что и теперь сохранялась поначалу некоторая цензурно-редакторская оглядка: некоторые резкие строчки опускались, наиболее смелые слова и места смягчались... Лишь в книге «Колокол» стихотворениям вернули их первоначальный вид, сняв щепетильные замены... Да и то не все.

Наконец, Чичибабин был восстановлен в Союзе писателей. «Восстановлен», я сказал? Не уверен, что это именно так. Во всяком случае, газета «Литературна Україна» сообщила о том, что Чичибабин принят в члены союза – как будто он вступил в него впервые. Хороша «реабилитация»! Никто в печати, публично, официально, не извинился за то, что его причислили к литературным и политическим «нехристям», что он оказался прав и в своем заступничестве за покойного Твардовского, и в своей открыто высказанной любви и симпатии к Пастернаку, Ахматовой, Цветаевой, Мандельштаму, и в критике преступлений режима, и в стихах против антисемитизма, за свободу эмиграции... То есть во всем, за что его в 1973 году изгнали из писательского сословия.

При этом коллеги-писатели, местные светила из созвездия гонимых, всегда державшие нос строго по ветру, еще и назидания ему прочли: дескать, впредь, Борис Алексеевич, вы более осторожно выбирайте себе друзей.

Борис по природе не был кляузником, всем этим формальностям и зацепкам не придавал значения, ничего ни у кого не просил – прямо по Воланду и Булгакову – и все принимал без возражений, молча. Его авторитет и даже популярность все увеличивались, и на городской учредительной конференции антисталинистского общества «Мемориал», проходившей в переполненном конференц-зале Харьковского

университета 11 февраля 1989 года, он был избран (вместе с освобожденным в 1987 году, а позднее и реабилитированным Генрихом Алтуняном, моим племянником, сыном Марлены, Женей Захаровым и автором этих строк) в Совет общества (я входил перед этим, единственный из названных здесь, в оргкомитет, подготовивший конференцию, но и для меня их избрание явилось полной неожиданностью – оно было спонтанным и вполне демократическим).

Теперь мы встречались еще и на заседаниях совета «Мемориала». Перестройка все более и более бурлила, выходя из-под контроля затеявших ее (как им казалось, а на самом деле – не могли не затеять!) партаппаратчиков. Я, будучи членом партии и еще питая остатки прежних иллюзий, придерживался умеренно демократических взглядов, но в составе совета и активистов общества были и радикалы – даже анархисты. Весьма радикальную позицию занимал Генрих Алтунян – он горел нескрываемой ненавистью к КГБ, который в открытую называл преступной организацией, государством в государстве. Генрих быстро приобрел популярность и доверие у харьковчан, стало ясно, что его шансы быть избранным в Верховный Совет Украинской ССР на первых свободных выборах очень высоки. В предвидении этого факта КГБ, как я считаю, переиграл его. Городская газета поместила рядом два интервью: Генриха и арестовывавшего его когда-то чекиста, который, признавая, что арест оказался незаконным, вместе с тем заявлял, что, в соответствии со своим пониманием служебного долга, и сейчас арестовал бы любого, кого прикажут. Такое соседство на газетной странице, как мне кажется, было началом падения популярности Алтуняна как политика: даже здесь, в Израиле, один из очень уважаемых репатриантов-старожилов именно в связи с этой публикацией говорил о Генрихе с недоверием и антипатией. В Верховный Совет Украины Генрих был избран – но удержался там лишь на одну каденцию. Конечно, я не преувеличиваю значения той реабилитации и публикации: но и преуменьшать его не стоит – это была первая мина, расчетливо подложенная под его авторитет.

Генрих Алтунян вел себя на заседаниях и конференциях «Мемориала» очень активно и задиристо, я не раз с ним спорил. В отличие от нас и от многих, Чичибабин всегда отмалчивался и свои взгляды и симпатии обнаруживал только при голосовании: Борис и Генрих с Женей всегда голосовали одинаково, первое время будучи в меньшинстве. Для меня его предпочтения зачастую оказывались неожиданными. Однажды во время перекура я спросил его, что он «обо всем этом» думает (дело было, если не ошибаюсь, летом 1989 года). Борис ответил:

– Надо создавать Народный фронт!

Вскоре такой «фронт» и в самом деле был создан, получил название «Рух» (по-украински – движение), и уже при создании там во-

зобладали тенденции «самостійности» Украины, которые в конечном счете привели к тому, что она отделилась от России. Для Бориса, хотя он и горячо поддерживал освободительные (а ведь, прежде всего, от России!) идеи украинской государственности, сочувствовал Миколе Руденко и другим украинским диссидентам, здесь крылась большая личная трагедия, которую он сформулировал так четко в своем «Плаче по утраченной Родине»:

Я с Родины не уезжал, –
за что же ее лишен?

Одного этого примера достаточно, чтобы показать, насколько поэт понимал и далеко ли он видел политическую перспективу... Никто, впрочем, не может похвастаться дальновидностью в этих вопросах, и я – в том числе. Однако, что мне было совершенно ясно – так это то, что Чичибабин – не политик. Между тем, его имя, особенно в среде интеллигенции, стало настолько популярным, что на каком-то из предварительных собраний избирателей его назвали в числе кандидатов в народные депутаты СССР. «Мемориал», ставший к тому времени очень авторитетной общественной организацией, принялся обсуждать, какие кандидатуры поддержит при выдвижении. Забегая вперед, укажу, что были поддержаны и впоследствии избраны Виталий Коротич и Евгений Евтушенко, при этом именно мемориальцам принадлежит ключевая роль в достижении успеха этих кандидатур на выборах: доверенными лицами обоих и организаторами работы предвыборных штабов были руководители харьковского «Мемориала». Предполагалось, что подобная поддержка будет оказана и кандидатуре Чичибабина. При обсуждении этого вопроса на заседании совета я встал и сказал, что знаю Чичибабина с юных лет, знаю близко, интимно (это словечко было встречено жеребьячим хохотом: я не рассчитывал на современную испорченность, дающую многим простым понятиям сексопатологический смысл!) и, при всей любви к нему и его поэзии, считаю, что политический деятель он никакой! Не помню, как отразилось мое предложение в итоговом протоколе, но энтузиазм некоторых членов совета мне удалось сбить. Впоследствии на собрание, назначенное для выдвижения кандидатуры Бориса, не явилось необходимого количества избирателей, и он в состав Съезда народных депутатов СССР не баллотировался – думаю, что к его же пользе.

Где-то весной-летом 89-го идеологический отдел обкома партии составил и разослал по райкомам партии и приравненным к ним парткомам предприятий «справку» о неформальных общественных объединениях и организациях Харькова. На первом месте там была характеристика «Мемориала», а в ней едва ли не самым главным – характеристика «нежелательных», или «демагогических», или даже

«антисоветских» элементов в его руководстве. В их числе названо было фамилий пять – в том числе анархист, молодой историк Игорь Рассоха, а далее: Генрих Алтунян, Борис Чичибабин и... Феликс Рахлин. Забавно, что, поскольку я в это время замещал уехавшего в отпуск редактора многотиражки подшипникового завода, то вместо него в парткоме прочесть бумагу и расписаться в прочтении дали мне, и я, таким образом расписался в кляузе на самого себя. Вскоре эта «секретная» бумага каким-то образом попала в руки сопредседателя нашего Совета – В. Мещерякова, и он ее прочел вслух на заседании. Упоминание моей фамилии в ряду «радикалов» вызвало гомерический хохот присутствующих...

Подозреваю, что, с подачи «консультантов» из КГБ, обкомовский составитель просто-напросто перепутал меня с моим племянником Евгением Захаровым – тоже членом мемориального «Совета», за которым, однако, еще с доперестроечных времен тянулся шлейф «диссидентства». Он – «сын Марлены», я – «брат Марлены», так велика ли разница?!

На меня, однако, эта история подействовала самым угнетающим образом – и, как это ни покажется странным, явилась последней каплей, заставившей меня принять решение об отъезде в Израиль. Сын родителей, брошенных в лагерь за невинные высказывания 30-летней давности, я имел основания опасаться: возможно, меня ждет повторение их судьбы. Или, скажем, судьбы харьковского поэта Васыля Мысыка: где-то в 30-е годы НКВД, как мне рассказывали, ошибся этажом и фамилией – и арестовало его вместо соседа – драматурга Васыля Мынко. Мысык просидел в лагере лет 18! – «за чужого дядю...» Я же не согласен сидеть даже за родного племянника – или чтобы он сидел за меня! И вот, вернувшись домой, я, последний в своей семье, сказал решительно: «Едем!»

Оглядываясь теперь на те дни и месяцы, ясно вижу, что все мы – и радикалы, и робкие реформисты, растерялись и запутались в ходе событий. Но для Бориса Чичибабина годы «перестройки» ознаменовали последний всплеск его творческой активности, разбудили дремавшую музу. Среди его стихов этого периода есть и слабые, мало-выразительные, вялые. Но рождались и энергичные строки, а такое трагическое стихотворение, как «Плач по утраченной Родине», заставляет признать, что и старость отступает перед Поэзией.

XV. «ЭТИ ВСТРЕЧИ – КАК БОЖИИ СВЕЧИ...»

Вовсе не обо мне чичибабинская строчка, взятая как название этой главы: она – из стихотворения «Ладензонам». Я и не примазываюсь к чужому пирогу – просто воспользовался словами поэта, чтобы передать свое к нему отношение. С детства я стушевывался и робел перед его талантом (хотя и не перед ним самим: он не был свят – частенько блажил, придирался, обижал, – да ведь и я не ангел). И мне в полной мере перепало как от жившего в нем «Христа», так и от «Антихриста».

В отрочестве своем я не представлял собою для Бориса ничего, заслуживающего внимания. Он меня терпел как неизбежное приложение к Марлене – ну, есть там у нее какой-то брат, так что ж поделаться... Да и она не относилась ко мне как к личности – и впервые серьезно заинтересовалась мною, когда выяснилось, что я (лет с 16-ти) стал сочинять стихи. А делать это я начал не столько под ее влиянием, сколько под воздействием стихов Бориса. Правда, не его одного.

Одним из «первых стонов моей цевницы», благодаря которым я на короткое время завоевал широкую популярность в узком кругу своей мужской и двух соседних женских школ, было стихотворение «Марсианка». Придя к твердому выводу, что мне пора влюбиться, я избрал себе достойный «предмет» – признаться, совершенно мною не интересовавшийся, и разогрел себя до пылкой страсти (что в 16 лет дается без малейшего труда). И стихи, как водится, «свободно потекли» – один за другим.

Как раз в это время стал у нас бывать Марк Богославский. Он вступил с Марленой в стихотворную переписку (о которой я уже упоминал). Это был обмен стихотворными монологами на философские и литературные темы. В одном из них он запечатлел свой автопортрет – и весьма точный:

Худощавый и смуглолицый,
с мессианским блеском в глазах...

Кто хочет более точно представить себе внешность Марка Ивановича в молодости, должен вспомнить лицо достаточно известного

киноактера Пороховщикова: одно время они были похожи, как двойники. Со временем, однако, актер раздобрел, а Марк, напротив, похудел, усох. Кроме того, они явно разные психологически: актер – тихий, степенный, а поэт энергичен, как натянутая струна.

Темпераментный Марк произвел на меня особенно большое впечатление смелыми по тем обстоятельствам и пророческими строчками, обращенными к Чичибабину, с которым он, придя в университет годом позже, познакомиться не успел, но стихами которого увлекся:

Мы встретимся, Борька, я знаю!
Кому укротить наш разбег?

А еще он читал стихотворение, где была такая строка:

Аэлита моя, Аэлита!

Незаметно для себя я эту строчку у него слямзил – и вставил в свое любовное стихотворение, лишь чуть изменив:

Марсианка моя, Марсианка!

На равнодушную ко мне девочку эта красота стиля и даже бессовестная лесть никакого впечатления не произвели, и с досады я решил свою богиню разлюбить. Сказано – сделано: я сочинил еще одно стихотворение, в котором о своем охлаждении к ней заявил категорически и образно:

Мне теперь просторно и свободно,
словно сбросил грязное белье.

Почему-то мне за эту метафору никто не набил морду, а зря... Но, пущенное по кругу, это произведение усилило мою славу и подвигло на создание новых шедевров. Изредка, но систематически я продолжал творить, и к возвращению Бориса из лагеря у меня уже была заполнена тоненькая тетрабочка, которую однажды случайно (а, может, это я сам нарочно ему подсунул?) Борис раскрыл, явившись к нам на Лермонтовскую, куда нас после ареста родителей выселили в крохотную комнатку как раз в 1951 году, перед его возвращением.

У него была привычка: куда бы ни явился в гости, первое движение – к книжной полке. Одну за другой перебирает и просматривает книги. Делал он это удивительно красиво: раскрытая книга в его руках напоминала мне птицу с распахнутыми крыльями, готовую вот-вот вырваться и взлететь – он держал ее бережно и трепетно, как живую, и словно боялся, что она выпорхнет из рук. Сейчас на этажерке лежала тетрадка со стихами, Борис принял ее читать и... хохотать над прочитанным. Я потребовал объяснений.

– Ну, как же! – кричал он, заливаясь веселым смехом. – Вот у тебя тут «сонет»:

Творя немало всякого добра,
Господь из глины вылепил Адама –
а после из Адамова ребра
соорудил прекраснейшую даму.

С тех пор хлопот адамам – до хера!..

И он вновь залиvisto рассмеялся. Я чувствовал себя уязвленным: а что, мол, такого?

– Понимаешь, – втолковывал он, – сонет – форма классическая, строгая, а ты употребляешь такие выражения...

И снова захохотал, как мальчишка: чувствовалось, что, несмотря на столь глубокомысленные стилистические соображения, что-то ему в моем дикарском подходе к классическому жанру пришлось по душе. Но он тут же продолжил свои рассуждения, иллюстрируя их моими же строчками:

– Вот погляди – в «Сонете о сонете» ты рифмуешь: «не ища – ощущал», «читалка – чеканка», «года – угадал», «притихший – дустихий»... Рифмы сами по себе неплохие, современные. Но в том-то и дело, что сонет любит рифму строгую, традиционную...

Я тогда не нашел возражений, но позже вспомнил: ведь первое понятие о сонете я получил, читая его собственные стихотворения этого жанра. А там у него же самого были отступления от канонической формы. Ну, например:

Я невзлюбил традиций и нотаций,
я полюбил трудиться и мотаться...

Самая настоящая модерновая, почти каламбурная рифма, вряд ли возможная в версификационной практике поэтов-классиков. Может быть, именно подобные примеры и подвигли меня на кощунственные эксперименты. Думаю, читатель не удивится тому, что Чичибабин на меня повлиял.

Более странным – и даже скандальным было бы обратное утверждение: что я, своими несовершенными юношескими опытами, повлиял на Чичибабина. И однако... судите сами.

Борисом Алексеевичем впоследствии были созданы десятки сонетов; как и некоторые другие его современники, – например, Леонид Вышеславский, – он много и плодотворно развивал этот старинный жанр, дающий уникальную возможность стеснить себя объемом (только 14 строк, ни больше – ни меньше!) и жестко, заранее определенным чередованием одинаковых рифм. Что привлекает в сонете современного стихотворца, творящего в условиях невиданной свободы от формальной обязательности, заданности, стесненности? Ведь богом модерна стал, как будто бы, стих белый (без рифм), даже верлибр – свободный стих, лишенный традиционного метра, а во многих случаях напрочь лишенный вообще какого бы то ни было смысла и

логических связей: отрывочные, словно в припадке пароксизма сорвавшиеся с языка слова и фразы – стремительный и темный поток сознания или даже напротив: бессознательный бред. Но поэты, помнящие связь времен, не потерявшие уважения к смысловой стороне эмоций, мне кажется, нарочно, намеренно воздвигают для себя препятствия на пути к бессмыслице, невнятице и болтливому многословию. Сонет дает строгие рамки, заставляет втиснуть в них мысль и чувство, придать поэтической речи организованный характер.

Уже само название одной из книг Чичибабина: «82 сонета и 28 стихотворений о любви» свидетельствует о том, насколько широко он пользовался сонетом в своем творчестве. Не все из его сонетов одинаково хороши, есть, на мой взгляд и попросту слабые. Но в целом он заметно развил этот жанр, соединив классическую и старинную форму с достижениями поэтического модерна.

Вот лишь некоторые из примеров того, как широко стал он пользоваться в этом изысканном, элитарном жанре словами и выражениями из самой что ни на есть просторечной лексики:

...сказать по-русски, крышка парусам...

...настанет срок – и я дойду до ручки...

...идешь – бредешь, а на пути кабак,
зайдешь – и все продуешь до полушки...
давно темно, выходишь, пьяный в дым...

...все ничего, водилась бы деньга...

...в пустые дырки смотрит чей-то череп
и черным ртом похабщину несет...

...И так далее.

Какая уж тут «классическая строгость»! Да и, право, до нее ли в двадцатом веке?!

Та же картина – в подборе рифм: во множестве случаев они также отнюдь не классические, а, напротив, сугубо современные: корневые, ассонансные и какие там еще... Не будем и здесь голословными: «парусам – потрясал – поросла», «стирка – стихла», «с полочки – лучше – до полушки», «в дым – один», «лестница – не лезется», «держись – эх, жизнь», «денька – деньга», «священные – свеченье», «шерстила – Шекспира»... Обрываю перечень примеров, чтобы не засушить свой рассказ.

Думаю, что такая перемена стилистических взглядов и стилистической практики произошла в русле общей тенденции «смещения стилей», наблюдающейся в русской, да и мировой литературе с ломоносовских времен. Однако рассказанное – не вымысел, а влияют на поэта, может быть, и солнце, и ветер, и сам воздух эпохи и, как знать, может быть, случайные встречи и даже второстепенные, третесте-

пенные стихоплеты, случайно наткнувшиеся на жемчужное зерно в навозной куче. На чичибабинском – и вообще на примере большого поэта – хорошо видно, «из какого сора растут стихи, не ведая стыда» (А.Ахматова), и пример, по случаю которого мы вспомнили эту цитату, – не первый и, может быть, не последний.

Не обойду молчанием и еще один эпизод, вызвавший некогда во мне смешную, должно быть, гордость и в то же время показавший моего героя и учителя в весьма неожиданном свете: однажды он... стащил у меня четыре строчки – и, не испытывая, по-видимому, ни малейшей неловкости, вставил в собственное стихотворение!

В той же моей тоненькой тетрадке было стихотворение «Веселый балаган» – с эпиграфом из блоковского «Балаганчика»: «Заплакали девочка и мальчик. И закрылся веселый балаганчик». То была запись из лирического дневника, зарегистрировавшая дальнейшие приключения моего любвеобильного сердца. Юношеский роман был мною изложен в коротеньком стихотворении, которое, хотя формально и было навеяно Блоком, стилистически несло на себе явные следы влияния лирики Чичибабина. В частности, там был такой катрен:

Я хорошо сыграл, топчась
по сцене, в этой мелодраме,
а если дерзок был подчас,
так оттого, что мало драли!

Надеюсь, читатель оценит хотя бы ловкость рифмовки – мне она и до сих пор мила. Оценил и Борис: шмыгая носом и улыбаясь доброй и смущенной своей улыбкой, похвалил особенно эту строфу, добавив:

– Даже жаль, что не я написал...

Эти стихи хорошо знала и Марлена. Она мне как-то раз и сказала:

– Знаешь, Борис у тебя целую строфу стибрил!

И – процитировала ее.

Представьте, мне этот его поступок принес даже какое-то удовлетворение: уж если сам Чичибабин не погнушался, так значит, стихи того стоят! Все же самим фактом «плагиата» я был озадачен и при первой встрече с Борисом (помнится, на платформе Южного вокзала, и первая его жена, Клава, стояла поодаль – единственный раз, когда я ее видел) задал ему вопрос:

– Это правда, что ты у меня стихи списал?

– Правда. Списал, – чистосердечно и без малейшего смущения признался Борис. И, видя на моем лице недоумение, с готовностью и нахально объяснил:

– Понимаешь, они у тебя плохо лежали!

Еще через несколько лет я сам увидел свои строчки в составе его стихотворения: рукопись, побывавшую перед этим в руках то ли Маршака, то ли Сельвинского, он принес Евгению Евтушенко, с которым накануне познакомился (дело было где-то в конце 50-х – начале 60-х) – мы сидели с Борисом рядом в зале ДК «Металлист», где выступал Евтушенко, и в антракте я перелистал рукопись. Не помню того стихотворения, в которое он эти строчки вписал, но мои рифмы оказались нетронутыми – изменения коснулись лишь некоторых слов: «играл у будней в мелодраме» и вместо «дерзок» употреблен какой-то другой эпитет. Впрочем, напротив именно этой строфы Сельвинским или Маршаком был поставлен вопросительный карандашный крючок. Не знаю – и уже никогда не узнаю: относился ли он к Борисовой правке или к моему «украденному» оригиналу... Напечатаны мои те строчки в его стихах никогда не были.

У людей, сочиняющих стихи или музыку, бывают случаи когда они плагируют чужие фразы или строки невзначай, сами того не замечая. Тут, однако, картина совсем иная: человек знал, что делал.

Уже было рассказано (стр. 83, 106-107) о стихотворении «Смутное время», завершившемся строфой:

То ли к завтраму, быть может,
воцарится новый тать.
«И никто нам не поможет,
и не надо помогать»!

В первой публикации для цензурной «проходимости» к этой концовке были приписаны еще четыре строки «отвлекающего» содержания (см. стр. 107), а указанных выше кавычек не было. Как видно, кто-то указал Борису на источник цитаты, потому-то кавычки и появились. Правда, без ссылки на автора. А вот в стихотворении «Между печалью и ничем мы выбрали печаль» эти две ключевые строчки, тоже чужие, он так и оставил незакавыченными. Бог ему судья – потому что один лишь Бог и может судить таких поэтов...

Прочитав еще в рукописи эти строки, сестра отмечала, что у нее «Боря «стибрил» целых 6 стихов (или 7)», включив их в один из своих любовных циклов 50-х годов, посвященный, разумеется, совсем иному адресату. Предвижу негодование той группы читателей, которые (такие всегда бывают) склонна к посмертной канонизации поэта, наведению на него «хрестоматийного глянца». Вместе с тем решительно возражаю против того, чтобы кто-либо попытался увидеть в приведенных примерах банальный плагиат. Борис Чичибабин был величайшим тружеником, оригинальным и неповторимым сочинителем в лучшем смысле этого слова. Большинство же заимствований были, по всей вероятности, произвольной игрой памяти. Недаром же он (кстати, о стихах Марлены) писал в предисловии к книге ее стихов

«Надежда сильнее меня», ниже цитируемом более полно: «Иногда, повторяя какие-то стихотворные строки, вдруг откуда-то возникшие, ловлю себя на том, что не сразу могу вспомнить, кому они принадлежат – мне или ей». И вообще, заимствования, реминисценции характерны почти для всякого большого поэта!

С трепетной гордостью я обнаружил, что к моему стихотворчеству он относится уважительно и доброжелательно. Однажды мы были у него на Рымарской вместе с приятелем – поэтом В., далеко не бездарным и даже весьма преуспевающим: его стихи публиковались «аж» в «Правде»! Тем не менее, Борис очередные его стихи раскритиковал и вдруг сказал, указывая на меня:

– Вот у него стихи – даром что менее профессиональные, зато интересные. А твои, уж извини, мне скучноваты.

В 1962 году Борис тепло и с волнением отнесся к моей поэме «Напраслина», посвященной трагической судьбе наших родителей и их поколения. Написанная еще до появления в печати солженицынского «Ивана Денисовича» – она с первых же строк содержала протест против слишком умеренной критики «культы личности», догадку о более глубинных причинах и массовых репрессий, и самого «культы», нежели те, что были представлены в докладе Хрущева XX съезду. Во вступлении к поэме говорилось:

Как эта тема нынче модна –
в любую щель ее суют.
Но мне опять свиные морды
уснуть спокойно не дают.

Не просто ужасы о культе,
не нос по ветру, не елей,
а просто – ноют, ноют культы
души обрубленной мосей.

В поэме были сценки моего свидания с отцом в воркутинском «Речлаге», лирические размышления о злой напраслине и могуществе правды... Поскольку речь в ней шла, в основном, о моих родителях, людях, которых поэт близко знал и искренне уважал, чтение мною вслух этой небольшой вещи заметно разволновало Бориса, он назвал ее «замечательным человеческим документом», растроганно жал мне руку, благодарил. Мне известна избыточная щедрость его в оценках чужого творчества, а все равно приятно вспомнить...

Не хочу, однако, скрыть, что бывали в его отношении ко мне и моменты отчуждения, даже неприязни. В какой-то мере это вызывалось моим критическим отношением к некоторым его декларативным высказываниям и мнениям. Например, однажды за столом у Марлены в его присутствии ее взрослые дети, оба – студенты-

математики, затеяли профессиональный «шоферский» (то-бишь, математический) разговор.

– Боже мой, – воскликнул Борис всерьез, взявшись за голову. – Ну, можно ли было предполагать, что дети **Марлены Рахлиной** (в ее имя он вложил какой-то неистовый пиетет) станут математиками и будут вести беседы на эти темы?!

И такая антипатия, такое искреннее презрение к непонятной для него математической «тягомотине» звучали в этом высказывании, что я решил возразить.

– А ты чем занимаешься с утра до вечера в своем ХТГУ? – сказал я. – Бухгалтерией, счетоводством – то есть, в конечно счете, тоже математикой! Пусть же и у них будет свой кусок хлеба. Это им вряд ли помешает заниматься литературой, если, конечно, они захотят и смогут.

Возразить было нечего, но он остался мною очень недоволен... Возможно, такое недовольство накапливалось, а особенно его вдруг стала раздражать моя партийность. В общем, она и меня самого уже угнетала, но решиться выйти из партии я тогда никак не мог: это грозило большими житейскими осложнениями. Борис же, как видно, создал в своей голове преувеличенный образ номенклатурного чиновника, благополучного партийного крупоеда – и этот образ (вообще-то вполне реалистический, но чей-то чужой) приписал мне. И как раз в это время случилось, что я, не сориентировавшись в погоде (был конец августа), на день рождения сестры вырядился в новую черную пару. А вечер выдался, как назло, жаркий... Но Борис, раздраженный моим видом, и в самом деле нелепым, истолковал мой наряд по-своему. И в какой-то момент принялся кричать, что я, как все партийные чинуши, при любой погоде щеголяю в пиджаке, как в униформе. В отношении чинуш это было верно, в отношении меня – надумано: меня самого всегда смешило, что обкомовцы, даже рядовые инструкторишки, в июльскую жару ходят при галстукке... Но не оправдываться же мне было перед ним за свой промах. А он – как осатанел: когда я, выйдя на минуту, вернулся в комнату, он вдруг прервал разговор на полуслове, демонстративно показывая, что мне нельзя доверять, что я могу «заложить»... И ведь знал же, что перелхестывает, а остановиться не мог.

Жалея сестру, не желая испортить ей праздник, я «переморгал» этот полупьяный демарш, но назавтра высказал ей свое возмущение. Однако ведь и Борис к этому времени протрезвел и казнился раскаянием, по своему вышеописанному обыкновению... Он извинился перед моей сестрой – этого мне было достаточно – и больше никогда

недоразумений между нами не возникало. И более того: мне вновь перепало положительных эмоций от щедрой на привет и ласку чичибабинской души.

Много лет я таил от глаз даже близких людей свои тайные, опасные стихи. Жить двойной жизнью – непросто. Это знают по себе не одни лишь стукачи и шпионы, но еще двурушники по должности – те, кто вынуждены выполнять веления службы, но знают, что служат не Господу, а Маммоне. Воспитанный бедными своими родителями в почтении к большевистским идеям, в духе верности им «несмотря ни на что», я свои запоздалые прозрения выливал в желчные сатиры, которые прятал от всех, словно кукиш в кармане. Лишь иногда читал самым близким из друзей, но никому никогда не давал переписывать, смертельно боясь не только тюрьмы и лагеря, но и простого увольнения со службы. «Он знал, что вертится земля, но у него была семья» – эти слова Евтушенко относятся и ко мне, с той, однако, существенной разницей, что, в отличие от «ученого сверстника Галилея», я слава Богу, никого не предал!..

Между тем, почти каждое из этих моих творений тянуло на хо-роший срок. Это, как говорится, «без запроса». Ну, например:

Исполать тебе, Россия,
что зело на брань добра
и щедра, хайло разиня,
на клейма да на тавра.
О, клейменных муз обитель:
цап их враз за воротник!

И так далее. В перечислении ярлыков, наклеиваемых Родиной на порядочных людей, названы были и «перевертыш» (газетная кличка как Даниэля, так и Синявского), и «проходимец» (постоянный «титул» Чичибабина), и всякие другие, причем за Россией признанся особый талант «разахматить Пастернака (глагол, употреблявшийся в отношении преследуемых писателей в 1946 году) и Марину уморить».

Сочинить такие стихи – и держать их по спудом, никому не показывая – мука для автора. Поэтому я придумал псевдоним (взяв его по названию своего же стихотворения, в котором описывались колебания ассимилированного русского еврея: одна часть души зовет на «историческую родину», а другая удерживает в «несмотря ни на что» любимой России), и под этим псевдонимом («Шлема Иванов») попросил сестру представить всей честной компании как стихи «известного поэта». Сестра прочла их вслух – были, помнится, Алтуняны, Ладензоны, кажется, Недоборы – и, конечно, Чичибабины. Едва в стихотворении о судьбе Сатаны, эмигрировавшего из Рая Господня в Израиль, прозвучали строки:

Но сей косматый Вельзевул –
ему ж не дует! –
женился там на Эльзе Вул –
и в ус не дует! –

Борис закричал:

– Это Фелька! (он назвал мое домашнее имя. – Ф.Р.). – Это Фелькины штучки: «Вельзевул – Эльзе Вул!» «Евтушенко – ем тушёнку!» – (Это он вспомнил лет за двадцать до того читанную мной поэму «Напраслина», где были строки: «Я с аппетитом ем тушенку, что чуть помягче голенищ, и, суетясь, как Евтушенко – как Чичибабин, гол и нищ»).

По моей заранее выраженной просьбе сестра горячо и категорически возразила – и Борис, видимо, решил подыграть (ни на минуту, полагаю, не поверив). Стихи Шлёмы Иванова он сравнил ни больше, ни меньше как с сатирами Саши Чёрного. А когда она окончила чтение, несколько раз мечтательно повторил:

– Как бы я хотел встретиться с этим «Шлемой Ивановым!» Как бы мне хотелось с ним поговорить!

Для меня эти слова были лучше любой похвалы. А поскольку он безошибочно угадал автора, то мне теперь ясно, что они были адресованы мне. Но я тогда так и не признался в авторстве.

В новые времена, уже в начале «перестройки», те же стихи я в открытую читал той самой редактрисе поэзии в киевском журнале, которая в 60-е годы напечатала в нем несколько стихотворений Чичибабина, Богославского, Рахлиной. Присутствовал при сем и Борис, он никак не выказал удивления, не стал поминать ту «подпольную» читку. Насчет стихов же пошутил «по-ленински», только «наоборот»:

– Не знаю, как насчет политики, а вот насчет поэзии все правильно!

* * *

В моем стихотворении «Шлема Иванов», отражавшем размышления русского еврея о том, что его гонит с русской земли и что удерживает, не давая «свалить» в Израиль, есть такие строки:

Не позволят враги, опушки,
не отпустят, хоть как ни перечь,
Блок, Булгаков, и Чехов, и Пушкин –
и родная сердобская речь.

(«Сердобская» – потому, что няня автора, научившая его говорить, была из Сердобска, в стихотворении об этом тоже сказано).

А Чичибабин, слышавший эти стихи в семидесятые годы, написал в одном из своих стихотворений, посвященных уехавшим:

Прощайте ж навеки и знайте, ухав,
что даже не Пушкин, не Блок и не Чехов

не споры ночные, не дали речные,
не свет и не память – ничто не Россия.

.....
Вы сами – Россия, вы – смя России,
да светят вам в горе веселья простые.

Есть ли у меня право и основание расценивать эти стихи как привет моему «Шлеме»? Не знаю. Но для меня встреча с ними во втором «Колоколе» (там в нем 17 двустиший, а в первом – только 11) была как бы еще одной встречей с Борисом – еще одной «Божьей свечой»... Я этих стихов раньше не встречал.

XVI. «МАРЛЕНОЧКА, НЕ НАДО ПЛАКАТЬ, МОЙ ДРУГ БОЛЬШОЙ...»

Станут ли со мной спорить, если я скажу, что наш век – век небывалого озверения человека и человечества? Для того, чтобы отстоять такое утверждение, не надо даже напрягать усилий: примеры, к сожалению, у всех в памяти и у всех на глазах. Одна из многих сфер человеческих отношений, подвергшаяся деформации, – это любовь и дружба женщины и мужчины. Даже звучат эти словосочетания в наши дни наивно, по-детски. Любовью нынче «занимаются», и в это выражение вкладывают один конкретный, физиологический, смысл, как правило, никакого отношения не имеющий к той высокой и сложной культуре половой любви, которая выработана веками цивилизации. Привычные еще отцам нашим слова «возлюбленный», «любимый», даже «любовник», заменены чисто медицинским термином «сексуальный партнер», слово «секс», вообще говоря, не выражающее изначально ничего более как половую принадлежность человека или животного, превратилось в синоним определенного рода деятельности, или действия, или похоти. Рыночные газеты, кинофильмы, телепрограммы услужливо подхватили и уже много десятилетий насаждают этот новый всемирный менталитет, и множество людей на земле привыкли считать все старые представления (которые составляли на деле величайшее достижение человечества, нравственно отделившее его от остального животного мира) безнадежно устаревшими, смешными, скучными... А, главное, никто уже не верит, что в наши дни возможно существование того поэтизированного типа отношений, который в литературе представлен такими парами имен, как, скажем, Ромео и Джульетта, Данте и Беатриче, Петрарка и Лаура...

«Да отрежут лгуну его гнусный язык! За мной, читатель, и я покажу тебе такую любовь!» (Мих. Булгаков).

* * *

Конечно, не всякое лыко в строку. Читатель уже знает, что «у них ничего не вышло», что каждый: и Борис, и Марлена – построили

свою личную жизнь, причем у каждого она, в конечном счете, сложилась счастливо. Кстати, это отразилось и в лирике обоих поэтов.

Но в том-то и дело, что внешние трагические обстоятельства, разбив навсегда их предполагавшийся брак, не смогли пошатнуть их сердечной дружеской связи. Никакого ущерба самолюбию и достоинству их супружеских «половин» я в том не вижу (иначе бы обошел эту тему десятой дорогой), а вот высокий нравственный пример, опровержение пошлых «доктрин» – налицо.

В течение всей жизни они вели между собой своеобразный поэтический диалог, стихотворческую переключку. Ее начало представлено в первой главе этой книги – в приведенных там строках и стихах из цикла Бориса «Зимняя сказка»⁴². Потом грянул арест. Тревога и тоска поэта о возлюбленной, беспокойство за судьбу их сердечного союза отразились в стихотворении о «красных помидорах», в котором незримо, не упоминаемая, присутствует Ярославна («в Игорево Путивле»), и в «Махорке», где впервые высказано сомнение, «что у ворот задумавшихся тюрем нам остаются рады и верны».

По эту сторону ворот – тоже смятение, ожидание, боль. В моей памяти сохранились отрывки Марлениного стихотворения тех дней:

Уже измучась и отчаясь,
в неистовом огне, в бреде⁴³ –
я жду. Я даже не ручаюсь,
что я живу: я только жду.
.....
Я только жажду, как Джульетта,
хоть каплю яда с милых губ.

Потом были ее поездки в лагерь, свидания, снова разлуки. В грубых тюремных и лагерных буднях, «среди чахоточного быта», приходил к нему одухотворенный образ возлюбленной, о чем он писал в одном из стихотворений на волю:

Твои глаза светлей и тише
воды осенней, но, соскучась,
я помню волосы: в них дышит
июльской ночи тьма и жгучесть.

Ну, где еще отыщет память
такую грезящую шалость,

⁴² Еще раз обращаю внимание читателя на то, что одновременно Марленой был написан цикл «Эта зима». Он опубликован лишь в 1996 г. в ее книжке «Потерявшиеся стихи» и в этих записках не отражен.

⁴³ Совсем измучась и отчаясь
на медленном огне в аду...

(Правка по только что полученной новой книге М.Рахлиной «Потерявшиеся стихи». Сентябрь 1996 г.).

в которой так ночное пламя б
с рассветным льдом перемешалось?

Такой останься, мучь и празднуй
свое сиянье над влюбленным, –
зарей несбыточно прекрасной,
желаньем одухотворенным.

НЕ будем влезать в историю их разрыва – скажем лишь, что он для Бориса был большим ударом. Утешение и силу выжить он нашел в самоотверженной, безнадежной любви:

Любить, влюбиться – вот беда.
Ну да. Но не бедой ли этой
дух человеческий всегда
пронизан, как лучами – лето?

К лучам стремящийся росток
исполнен творческого зуда⁴⁴.
Любимым быть – и то восторг.
Но полюбить – какое чудо!

Какое счастье – полюбить!
И это счастье, может статься,
совсем не в том, чтоб близким быть,
чтоб не забыть и не расстаться.

Когда полюбишь, то, ища
и удивляясь, ты впервые
даешь названия вещам,
творишь открытия мировые.

Дыши, пока уста слиты!
Не уходи, о дивный свет мой!
И что за горе, если ты
любви не вызовешь ответной?

Идя, обманутый, ко дну,
ты все отдашь и все простишь ей
хотя б за музыку одну
родившихся четверостиший.

А вот стихотворение, строки из которого я помнил всю свою жизнь. Уже работая над этой книгой, спросил у сестры, не сохранилось ли оно – и получил полный его текст, который и опубликовал в приложении к своей статье «Неизвестный Чичибабин»⁴⁵.

⁴⁴ Это стихотворение приводится по тексту книжки: Борис Чичибабин. Мороз и солнце. Книга лирики. Харьковское книжное издательство, 1963. Мне помнятся, однако, следующие разночтения из автографа: «уж полон творческого зуда» и «просторы меришь мировые».

⁴⁵ См. «Начало», еженедельник газеты «Новости недели», Тель-Авив, 23 января 1997 г.

* * *

Я рад, что мне тебя нельзя
назвать своею миллой!

Я рад, что я тебя не взял
ни нежностью, ни силой.

Случись подобная беда,
давно б истлел в земле я:
сильней поплакала б тогда,
забыла б веселее.

Забыла б голос мой и лик,
потом забыла б имя,
потом сказала б: «Русский бык!» –
и спутала с другими...

А так, через десятки лет,
в единственную полночь,
отыщешь где-нибудь мой след
и по-иному вспомнишь!

Назло трагическим ночам
и шутовской морали,
я рад, что ты была ничья,
когда меня забрали.

Если вообще чего-то стоит высокая культура рыцарской любви и самоотверженного отношения к женщине, то нельзя не оценить этих строк, продолжающих светлую традицию русской любовной лирики, начатую пушкинским «Я вас любил... Любовь еще, быть может...» и лермонтовским «Мне грустно оттого, что я тебя люблю...».

Какая великая и глубоко человечная догадка: счастье любви – порой вовсе не в близости, а – в самой любви, возвышающей душу! Стихи о неразделенной любви есть и у Марлены. Неважно (да я и не знаю), кто в них подразумевался⁴⁶. Напечатаны они были в ее первой книжечке «Дом для людей», увидевшей свет в 1965 году:

* * *

Кто сказал, что мечта воспаленная,
Обожженная, обделенная,
Униженьем своим обозленная
Зовется «любовью неразделенною»?

⁴⁶ «Эти стихи никому не посвящены!» – прокомментировала сестра в письме это мое замечание.

Если так, значит, мало любил,
Значит, мало любил, значит, плохо любил,
Значит, мало, и бедно, и плохо любил,
Значит, не до последнего вздоха любил.

Не сумел ни увлечь, ни зажечь, и ни сжечь,
не посмел даже рядом прилечь.
Если так, значит, бедно и скупо любил
И не мил,
И не нужен ты был.

А вот и еще из той же ее книжки – и уж совершенно точно, что иному адресату. Но я хочу это стихотворение здесь привести, потому что в нем заключено типично женское представление о самоотверженной любви: та же тема, что у Бориса, но прошедшая через женское сердце (стихи эти положила на музыку и чудесно поет Фаина Шмеркина).

ЛЮБОВЬ

Тебе холодно, милый?
Тебе холодно, маленький?
Твое платье промокло, и пламя костра
угасает, а сам ты дрожишь, остываешь.

Задувает, ворочает ветер варяжский
головни на огне, и последняя ветка сырая
догорает, и нечего бросить в костер.

Я кладу свою руку. Тепло?
Это пламя по ней потекло.
Посмотри, как играет багровый костер.
Нет, не бойся, не больно, я рада.
И все это – правда!

Я сжигаю себя по частям. И листает костер
мои плечи и пальцы. Прости, не смотри.

Здесь не будет парада.
Я сгорела. Зато ты согрелся.
И все это – правда.

Общеизвестно: душа – бессмертна. Но если так, то и функция души – любовь – не умирает. Деление на однолюбков и многолюбков – чисто относительное, сугубо условное. На самом деле любовь не исчезает бесследно. Читайте, что, вслед за Ломоносовым и Лавуазье, поэты (вспомним хотя бы Тютчева: «Как поздней осени порою...») открыли «Закон сохранения Любви». Через много лет жизненных испытаний Марлена Рахлина, счастливая в браке и в детях, напишет стихотворение под красноречивым для нас с вами названием: «9-е января 1993 года» (вы помните? – это как раз день рождения Бориса):

9-Е ЯНВАРЯ 1993 ГОДА

Было то и это было.
Дело стало к февралю.
Я всегда тебя любила!
Я всегда тебя люблю!

И тогда, когда я билась
в паутине злой любви,
все равно тебя любилось
по родной твоей крови.

И потом, когда все было
на камнях ли, на песке,
я опять тебя любила
в своем счастье и тоске...

Почему я – мимо, мимо,
через дни, через года?
Потому, что ты – любимый,
Ты любимый – навсегда!

И в ничтожестве, и в выси
мы с тобой – в руке рука,
сердце с сердцем обнялися
неразрывно, на века,
и увидеть я не трушу,
как, в аду или раю,
ты целуешь мою душу,
и целую я – твою!

Но он о родстве их душ догадался значительно раньше. Помню, еще в 1959-м он пришел к ней на Подгорную и принес стихотворение, которое она тогда же, после того как он ушел, в большом смущении мне показала. Я прочел – и на много лет запомнил отрывки, так оно меня поразило. Приехав из Израиля в гости, спросил: не сохранилось ли оно у нее. И до чего же удивился, когда она сказала, что даже о таком не помнит. Но через год прислала мне ксерокопию автографа. Над текстом его же рукой посвящение: «Марлене». Приведу с некоторыми купюрами:

* * *

Лет четырнадцать назад
Жизнь была совсем иная,
как, пьянея без вина, я
целовал твои глаза.

Без прощания расстаться
нам судилось – и вот

с той поры немало вод
улетучилось в пространство.

Жарким спорам, мукам крестным
подвела душа итог.

Кто-то предал, кто-то сдох,
кто-то заново воскреснул.

У меня светлеет темя,
голова твоя седа,
но такими же, но теми
мы остались навсегда.

Избегаем глаз начальства,
в спорах лезем на рожон,
в сердце детство бережем, –
а встречаемся нечасто.

Если спросишь: есть ли злость? –
я отвечу: да, конечно! –
оттого, что не пришлось
для тебя купить колечко.

Враг страданья стародавний,
мастер счастья нескупой,
в вечной ссоре я с тобой,
божество моих страданий.

Утоли мою вражду,
потуши мой жар угрюмый:
в жажде мщенья и глума
я всю жизнь тебя прожду.

Но нигде не разлюблю
ни мечты твоей, ни сердца.
Мне до смерти в них смотреться
под «ха-ха» и «улю-лю».

Ну, зачем тебе краснеть?
Это ж правда, а не трели,
что в глаза твои смотрели
одиночество и смерть.

Как бы ни было в начале,
что б ни сделалось потом,
я горжусь твоим путем,
всеми днями и ночами.

В век мучительного счастья,
возвышающих потерь,
жаль не кончиться, поверь,
жальче было б не начаться<...>

Ну, а как ты мне близка,
мы с тобою знаем сами.
Нас, наверное, тесали
из единого куска.

Между сплетников ученых
и начитанных мещан
ты – тот лебедь, что вмещал
андерсеновский утенок <...>.

Чем мучительнее тяжесть,
тем лучистой голова, –
и еще не раз ты скажешь
донкихотские слова.

И опять я разгорюсь
вопреки втрам и снегу.
Так откуда ж эта, к смеху
примешавшаяся, грусть?

Враг мой милый, отвернись:
что-то ветер взоры студит.
Пусть же вечно мир наш будет
ветрен, пламен и волнист <...>

Шут с тобою, жажда ласк!
Стиснем зубы, потому что
невозможное – ненужно.
Нас работа заждалась.

Потому-то, а не вдруг,
от лукавого избавлен, –
с комприветом – Чичибабин,
самый лучший враг и друг.

Апрель 1959 г.

Право, после всего, что уже известно читателю, лучше отойти в сторону – и дать им самим еще раз поговорить друг с другом, как поэт с поэтом: стихами.

Марлена Рахлина

БОРИСУ ЧИЧИБАБИНУ

О милый брат мой, каторжник и неуч!
О лучшее сокровище мое!
Ни кесари, ни бедствия, ни немощь
твое не перемелют бытие.

Твои смешные, странные замашки
я не отдам на справедливый суд.
Ведь у тебя бумажки есть в кармашке...
Бумажки есть в кармашке – в этом суть.

Дворцы и тюрьмы, города и веси,
все ихнее величие и почет, –
одна твоя бумажка перевесит,
дух освежит, от духоты спасет.

Твоя казна – особенного рода:
за беспорядок твой, за неуют,
за твой глоток шального кислорода
в стране моей свободу отдают.

Ах, все на свете знаем и опишем:
что плоть у нас слаба, а дух раним,
и чудо, что еще покуда дышим
на родине мы воздухом родным,
что в Божьей воле – Божие творенье,
слова – и те не вечны, и т. п.
Пусть выживет мое стихотворенье,
мое стихотворенье о тебе.

Борис Чичибабин

М.Д. Рахлиной⁴⁷

* * *

Марленочка, не надо плакать,
мой друг большой.
все – суета, все – тлен и слякоть,
живи душой.

За место спорят чернь и челядь,
молчит мудрец.
Увы, ничем не переделать
людских сердец.

Забыв свое святое имя,
прервав полет,
они не слышат, как над ними
орган пост.

Не пощадит ни книг, ни фресок
безумный век.
И зверь не так жесток и мерзок,
как человек.

⁴⁷ Посвящение «М.Д. Рахлиной» есть в первом «Колоколе» («известинском») и почему-то отсутствует во втором – издательства «СП».

Лицо прекрасное в морщинах,
труды и хворь.
Ты – прах, и с тем, кто на вершинах,
вотще не спорь.

Все мрачно так, хоть в землю лечь нам,
над бездной путь.
Но ты не временным, а вечным
живи и будь.

Сквозь адский спор добра и худа,
сквозь гул и гам,
как нерасслышанное чудо,
поет орган.

И Божий мир красив и дивен,
и полон чар,
и, как дитя, поэт наивен,
хоть веком стар.

Звучит с небес Господня месса,
и ты внизу
сквозь боль услышь ее, засмейся,
уйми слезу.

Поверь лишь в истину, а флагам
не верь всерьез.
Придет пора, и станет благом,
что злом звалось...

Пошли ж беду свою далече,
туман рассей,
переложь тоску на плечи
своих друзей.

Ни в грозный час, ни в час унылый,
ни в час разлук
не надо плакать, друг мой милый,
мой милый друг.

Марлена Рахлина

*Борису Чичибабину
в ответ на стихотворение
«Марленочка, не надо плакать».*

Спасибо, спасибо, что вспомнил,
спасибо, что хочешь помочь,
что светом недолгим заполнил
бессветную, долгую ночь.

Но тише! Ни словом, ни взглядом
не трогай разрушенный дом.
Тебе становиться не надо
меж мною и Божьим судом.

За всю суету и гордыню,
за низкую, нищую плоть –
за все расквітается ныне
моими ж руками Господь.

Зияет постыдная рана,
бессильны дела и слова,
и уши не слышат органа.
Одна только память жива.

Но горе, мне данное, прячу
давлюсь нищетой и виной,
жую и глотаю – иначе
они пообедают мной.

Вернусь или нет – я не знаю:
вон тянется – в даль или вдоль?
Большая дорога земная,
название которой – юдоль.

Замечательные любовные циклы, отдельные стихи поэт посвящал и другим своим сердечным привязанностям – например, Ираиде Николаевне Челомбитко, – я уже не говорю о великолепных сонетах и стихотворениях Лиле. Но я пишу не исследование, а воспоминания, поэтому, понятное дело, односторонен. Вместе с Лилей Борис дружил с Марленой, ее мужем и семьей, и это еще одно свидетельство интеллигентности, человечности и естественного благородства отношений в их среде. У Марлены есть стихотворение, посвященное сразу обоим Чичибабиным: и Борису, и Лиле. Конечно же, – бывали между ними всеми и какие-то нелады, недоразумения, натяжки, но общий тон отношений чувствуется по этим стихам:

Марлена Рахлина

ПРИХОДИТЕ – ПОСКУЧАЕМ

Лиле и Борису

Приходите – буду чаем, буду водкой угощать,
приходите – поскучаем: вы ж хотели поскучать?
Вы скучаете со мною, с крана капает вода,
одеяние земное чуть подпортили года...
То – уныло, это – грубо, эти трубы не поют...
Слишком явны мы друг другу, слишком тленен наш прият.
Почему же не хотите вы понять в последний раз,
что не зря вы здесь сидите, что не будет скоро нас?

И не надо сомневаться, все равно не избежать,
что кому-то оставаться, а кого-то провожать...
Ну, садитесь, не обидим, ну, глядите на меня!
Мы Сегодня – не увидим, больше нет такого дня.
И – такусенький, такенный – улетучились года...
Вот возьму – помру, и с кем вы поскучаете тогда?

Властительница дум Марлениной ранней юности – Маргарита Алигер воскликнула когда-то в своей героической поэме: «Как мудро, что люди не знают заранее того, что стоит неуклонно пред ними!» Первым ушел Борис, провожать его выпало и жене, и старой подруге, а скучать по нем вместе с ними – всем друзьям и читателям.

Между прочим, в начале перестройки первые две строчки этого Марлениного стихотворения вызвали маленькую бурю в стакане харьковской прессы. Инна Шмеркина на концерте в большом зале спела свою песню на эти слова, а газета возмутилась: на чай приглашать не возбраняется, но на водку!? Дело было как раз в пик горбачевско-лигачевской антиалкогольной шизухи. С трудом удалось друзьям литературно-музыкального «дюзта» втолковать газетчикам, что налицо отнюдь не пропаганда пьянства, а житейская реалья и, уж простите, философия...

Новые времена, вызвавшие бурю страстей и несогласий, стали испытанием для многих старых связей, привязанностей и союзов. Обнаружился, как сейчас любят говорить, «раздрай» и в среде демократически настроенной интеллигенции. Харьковская независимая газета «Ориентир» вскоре после августа 1991 года опубликовала развязную статью Виктора Баранова, который обрушился на Чичибабину за то, что тот «выступает на митингах, вещает с телевизора, сует свои сочинения во все издания». Чичибабину, издавна снискавшему в харьковской печати высокий титул «проходимца», вроде, было не привыкать, но ведь на этот раз критика раздалась «слева», от лица постсоветских демократов (автор, если не ошибаюсь, и сам сидел в ГУЛАГе), а в вину поэту ставились не антисоветские, а просоветские стихи, пускай и давние: «У меня и у Советской власти общие враги» и т. п. Дальше – больше: публицист назвал поэта «придворным рабом», «танцующим ламбаду перед коммунистами», обвинил в искательстве и двоедушии, в том, что тот, якобы, «орудует локтями, распахивая коллег». За друга вступились Марлена Рахлина и Генрих Алтунян – каждый поврозь они написали по статье, эти статьи были напечатаны рядышком в том же «Ориентире», а потом, как водится, следовал комментарий В. Баранова (который, разумеется, со своими оппонентами не согласился).

Вот что написала Марлена:

«Б. Чичибабин – мой близкий друг со студенческой скамьи и до сих пор. И это значит, что мы с ним часто высказываем друг другу разные претензии, как это между друзьями бывает, в том числе и по поводу наших стихов. Вообще, мои отношения с Чичибабиным описаны в стихах А. Барто: «Я свою сестренку Лиду никому не дам в обиду... а когда мне будет нужно, я и сам ее побью». И я вовсе не считаю Чичибабина неприкасаемым. Но ведь человек, изображенный в статье В. Баранова, ничего общего не имеет с Чичибабиным. Он не имеет ничего общего вообще с живыми людьми, он живет только в плохих детективах.

А Чичибабин – и поэт, и человек – явление сложное, неоднозначное, и, не поняв этого, нечего к нему и подходить».

Редкая беседа обходилась у них без спора, несогласий, «взаимных болей, бед и обид» (Маяковский). Но перед лицом заушательской критики или глухого замалчивания друг защищал друга. На первом же своем литературном вечере во время «оттепели», хотя Марлена в программе не значилась и сидела в зале как зритель, Борис неожиданно заговорил о ней как о поэте, очень лестно охарактеризовал и вызвал на авансцену для выступления. Именно с этого начались тогда и ее публичные выступления, имевшие потом значение и для издания двух ее книжек в 60-е годы. Они отстаивали друг друга и на «профилактических» беседах в КГБ, куда их вызывали, чтобы запугать или «предупредить».

Наконец, во время перестройки их обоих стали печатать в самых известных журналах и газетах, издавать их книги. Предисловие к Марлениной (первой после двадцатилетнего перерыва) книге ее стихов написал Борис. Вот как оно начинается:

«Стихи Марлены Рахлиной я знаю с той поры и столько же лет, что и собственные. Она – мой друг, мы живем в одном городе. Ее стихи были со мною всю жизнь: в тюрьме и лагере, в дни наивной радости и мудрой печали, в скитаниях и страстях, в трудах и раздумьях. Иногда, повторяя какие-то стихотворные строки, вдруг откуда-то возникшие, ловлю себя на том, что не сразу могу вспомнить, кому они принадлежат – мне или ей. А об одном стихотворении всегда жалею, что его написал не я. Оно называется «Одна любовь» и является программой всей жизни поэта».

Вот это небольшое стихотворение, вызвавшее столь высокую оценку Чичибабина:

Марлена Рахлина

ОДНА ЛЮБОВЬ

Одна любовь – и больше ничего.
Одна любовь – и ничего не надо.
Что в мире лучше любящего взгляда?
Какая власть! Какое торжество!

Вы скажете: «Но существует Зло,
и с ним Добро обязано бороться!»
А я вам дам напиток из колодца,
любовь и нежность – тоже ремесло.

Любовь и нежность – тоже ремесло,
и лучшее из всех земных ремесел.
У ваших лодок нет подобных весел,
и посмотрите, как их занесло!

«Увы, мой друг, – вы скажете, – как быть:
любовь и слабость или злость и сила?»
Кому что надо и кому что мило:
вам – драться, им – ломать, а мне – любить.

А мне – во имя Сына и Отца,
во имя красоты, во имя лада...
Что в мире лучше любящего взгляда?
И только так, до самого конца!

Стихи эти также поет Фаина Шмеркина – получился великолепный романс, который пользуется большим успехом в любой аудитории. Как-то раз, приведя слова Бориса о том, что он и сам непрочь быть автором такого стихотворения, Шмера съязвила словами из русского анекдота: «Съисть-то он съисть, да кто ж ему дасть?» Приехав в Израиль, я с радостным удивлением узнал, что и здесь эта песня звучала – ее исполняет под гитару бывшая киевлянка Долли Речистер. А теперь уже и Шмера здесь, и редкий ее концерт обходится без этого, как она сама в шутку выражается, «хитá».

Винюсь перед читателем за еще одну обширную цитату: выписываю и окончание статьи Бориса о Марлене – и вовсе не потому, что там содержится высокая оценка ее творчества (мне, конечно, приятная), а по той важной причине, что невольно и ненарочито автор дает в еще большей степени собственную характеристику, формулирует свой нравственный идеал поэта:

«Стало принято, вошло в плохую привычку говорить и писать о «трудной судьбе поэта», подразумевая участь поэтов, обреченных на многолетнее молчание, изъятие из литературной жизни. Те, кто так говорит, ничего не знают о поэтах. Да, быть насильственно и почти на всю жизнь разлученным со своим читателем – единомышленником, одиночувственником, другом, со своими возлюбленными духовными братьями и сестрами – мука более чем ужасная, невыносимая, невообразимая. Но у поэта не может быть судьбы иной, чем та, которую он сам себе выбрал или, по крайней мере, безропотно и молитвенно принял на себя. Подлинный поэт не может быть неискренним, неправдивым, способным на компромиссы. Как все люди, он может верить в миражи, заблуждаться, обманываться, но он не может солгать сознательно своему читателю, не может заставить себя промолчать о наболевшем, сокро-

венном и главном, о том, что он обязан и должен сказать тем, кто, как он, верит, ждет от него этих слов с сочувствием и доверием. «Если не я, то кто же?» В этом и есть его судьба, и сказать, что она трудная, так же излишне-ненужно, как сказать, что земля земляная, а вода водяная, потому что это самая естественная, самая обычная и нормальная судьба истинного поэта. Трудным и невозможным было бы для него противоположное».

Таково было истинное кредо Бориса Чичибабина. В этом нравственном идеале у него и его ближайших друзей разногласий не было. Израильскому же и вообще еврейскому читателю наверно небезразлично, что в рассуждениях поэта (как и во всей его жизни) прозвучал один из философских принципов иудаизма: «Если не я, то кто же?»

* * *

А теперь – о последнем испытании, которому подверглась полувековая дружба двух поэтов. Это – испытание тем катаклизмом, который постиг страну, где мы родились.

Мне трудно выделить причины, вызвавшие трещину в их отношениях. В письмах своих сестра мне жаловалась на участившиеся размолвки и даже ссоры, возникавшие в связи с разными, а порой и противоположными их оценками политических, литературных и житейских фактов.

Дошло до того, что она написала Борису, по ее собственному выражению, «разрыв-письмо», после которого уже нельзя было бы разговаривать. Дело было где-то в феврале 1994-го. Доставить письмо адресату (жившему почти что рядом!) она попросила одного юношу, общего знакомого, которому Борис обещал дать для чтения какую-то книгу. Марлена просила вручить письмо лично Борису, а если это почему-либо не удастся, то вернуть ей. Парень явился к Борису домой, но тот куда-то ушел – впрочем, оставив для него домашним обещанную книгу. Поэтому письмо вернулось к отправительнице. И в тот же день или на завтра Борис тяжело заболел...

«Пусть кто-нибудь попробует теперь доказать мне, что Бога нет!», – писала мне сестра. В самом деле, ее словно Небо спасло от непоправимой ошибки и неизбежных мук совести. Ведь попади то письмо в руки Бориса, невозможно было бы потом понять, не она ли виновница этого приступа. Да и сам он, очнувшись, тоже мог так решить. Но обо всем об этом Борис так и не узнал до конца жизни, который был, увы, так близок...

Узнав из ее письма об этом случае, я не на шутку перепугался. Я как бы ощутил ответственность за развязку «сюжета» их многолетней дружбы – словно я его придумывал! Вот почему к обоим от меня по-

летели письма-заклинания: «Не ссорьтесь! Помиритеесь! Подумайте о том, что вас объединяет нечто гораздо более существенное, чем минутная или даже постоянная злоба наших дней!»

Борис ответил мне так:

«Размолвки и, тем более, ссоры с Марленой у меня не было. Просто, с годами обнаружилось, что она и я более разные люди, чем нам казалось, и от этой разности мы все более отдаляемся друг от друга... Мирить нас не нужно, мы и сами помиримся, но, в общем, наше разъединение и отдаление – процесс, конечно, грустный, но естественный и необратимый – тут уж ничего не поделаешь».

Слова печальные и безотрадные. Но мне хочется все же думать, что я хоть немного задержал тот «естественный» процесс, и этого хватило на те несколько месяцев, которые судьба отпустила Борису.

Его смерть была для Марлены событием, с которым ей никогда не свыкнуться. «Я как-то не могу понять, – писала она мне, – что вот его нет, а я все живу». Побывав в Харькове, я был потрясен: она продолжает с ним, с мертвым, заочный спор, говорит о нем в настоящем времени («Борис пишет», «Борис твердит», «Вот он всегда так!»)...

.....

Вот, дорогие мои Боря и Марленочка, «злой мальчик» и рассказал про вас все-все, что «подглядел»!.. Давайте условимся: я представлю, что вы, по Чехову, надрали мне уши – и буду счастлив.

XVII. «Я ВСЕМ ГОНИМЫМ БРАТ...»

В этой последней, завершающей главе автор намерен дать обзор «еврейских мелодий» в творчестве глубоко русского поэта. Первоначально глава имела названием другую чичибабинскую строчку: «Я самый иудейский меж вами иудей...» Такое заявление убежденного христианина (конечно же, метафоричное!) было бы оставлено в заголовке, если бы книга выходила там, где написана: в Израиле. Но она издается на родине Бориса – на том необъятном культурно-национальном поле, где обитает множество других народов, которым он в своей жизни и поэзии уделил огромное, бережное и трепетное внимание. И если из всего этого букета щедрых и добрых поэтических чувств я выхватываю один лишь цветок, то это, во-первых, объясняется моим собственным национальным мироощущением, моим представлением о благодарности. Во-вторых же (и это отчетливо понимал Чичибабин), антисемитизм был и остается «классической» моделью любой национальной и этнической фобии, и протест поэта против «жидоедства», его заступничество за евреев явились выражением как его русского, славянского патриотизма, так и следствием широты его национальной и всечеловеческой природы в лучшем смысле слова.

Вообще, понять причину столь постоянного, с юных лет до самой смерти проявлявшегося интереса Б. Чичибабина к еврейской теме можно только в контексте всего его творчества, для которого характерно горячее сочувствие любой так или иначе ущемленной нации или народности. «Я всем гонимым брат...» – он имел право так написать! Вот одно лишь перечисление заголовков или ключевых строк ряда его стихотворений: «Крымские прогулки» («И на земле татарской – ни одного татарина!» – о судьбе одного из коренных крымских народов); «Таллинн» («Его за скудость шельмовали, а все ж лошадки жерновами мололи суету сует...»); «Литва – впервые и навек» («Я ведал сам – и верил снам, бродя по крестной пуще, что наш восторг ее сынам был оскорбленья пуще...»); «Рига» («Как божия коровка, под башнями брожу я, мне грустно и неловко смотреть на жизнь чужую...»); «С Украиной в крови, я живу на земле Украины...», «Псалмы

Армении» (их – четыре; вот строки из «Второго псалма»: «Армения, горе твое – от ума, ты – боли еврейской двойник...»). Ловя поэта на слове, заметим, что л ю б а я национальная боль – и русская, и украинская тоже – «двойник» боли народа-изгнанника: в той или иной мере подобную судьбу уже в наши дни познали «на просторах Родины чудесной» представители и «младших братьев», и «старшего» тоже... На этом фоне, может быть, достанет, наконец, ума и понимания у всех, а не только у евреев, воспринять «юдофильство» Чичибабина как чувство широкое и благородное, естественно вытекающее из всей его цельной натуры, из его демократических, антирасистских убеждений.

Так пусть же армяне и украинцы, татары, прибалты и, разумеется, русские отдадут свою дань благодарности поэту, а мне, еврею, живущему в еврейской стране, хочется сказать о своем, заветном, за всю жизнь наболевшем – касающемся, тем не менее, всех!

* * *

Вряд ли есть в русской поэзии еще один пример столь частого обращения к миру еврейства, иудаизма, Израиля, как в стихах Бориса Чичибабина. Если сравнить с творчеством Евгения Евтушенко, то в поэзии последнего «еврейская» тема прозвучала, главным образом, как протест против антисемитизма, в то время как у Бориса она разработана гораздо шире. Конечно, скандальная ситуация с Евтушенковым «Бабьим Яром» получила всемирный резонанс, в то время как стихи Чичибабина, многие годы известные лишь по «самиздату» и «тамиздату», не имели выхода к массовому читателю, в том числе и еврейскому. Например, послание «Еврейскому народу» было написано еще в 1946 году, в канун создания еврейского государства, а свет увидело впервые на родине только в годы «перестройки»... Чичибабин, в отличие от своего младшего коллеги и покровителя, не жил в Москве, не был выездным, «зато» сидел в тюрьме и лагере, подвергся исключению из союза писателей. Именно поэтому, а отнюдь не из-за своей «маргинальности», его творчество в целом, а, тем более, столь крамольная его часть, как «юдофильские» и антиюдофобские стихи, гораздо меньше известны.

Еврейская тема впервые прозвучала в творчестве еще совсем юного поэта, в период непосредственно после Катастрофы европейского еврейства и как раз тогда, когда сгустились тучи над евреями советскими – накатывалось «крымское дело», гонения на «космополитов», «дело врачей»... Словно для того, чтобы снять пятно с русской литературы, по справедливому замечанию Жаботинского, фактически не заметившей (редкие и робкие исключения – не в счет)

еврейских мук посреди российских просторов, Борис Чичибабин сделал эту тему одной из ведущих в своей лирике и стихотворной публицистике. И сделал это столь впечатляюще, что его произведения (и на эту тему – тоже) разошлись по стране в списках еще в середине сороковых годов – когда термина «самиздат» еще, кажется, не существовало. Достоинство, судьба и будущее еврейства занимали его всю жизнь – буквально до конца дней.

Находились сплетники, клеветники или просто досужие выдумщицы, приписывающие его заступничество за евреев и вообще интерес к еврейскому вопросу мнимым «родственным связям», а также тому, что «у него жена – еврейка». Но, как мы видели, последнее верно только в отношении его третьего брака, то есть со второй половины шестидесятых годов. Что же касается родства, то, как мы уже убедились, среди его предков евреев не было. Обратимся еще к одному свидетельству самого поэта:

Анкетный черт, скорее рви и прячь их!
Я жил без них, о предках не тужа.
А как возник, узнай у русских прачек,
спроси о том у мельца-латыша.

Во мне, как свет, небесна и свежа,
приемля в дар огонь лучей палящих,
смеется кровь прабабушек-полячек
и Украины вольная душа.

Как видим, кого-кого только не числил он в своих предках: и русских, и украинцев, и поляков, и латышей, – но вот евреев среди них «не стояло». В своей первой статье о Чичибабине (см. сноску на стр.184) я намеренно упомянул имя его кровного (а не юридического) отца, чтобы показать: даже «неучтенного» еврея в его родословной не было. Сама внешность Бориса Алексеевича – внешность русского или, во всяком случае, среднеевропейского мастерового человека – никак не располагает к спекуляциям на темы о его «жидо-масонских» корнях. Я потому так подробно говорю об этом, что у многих деятелей русской культуры, чувствительных к еврейским бедам, действительно, очень часто «рыльце в пуху» (еврейском!): у одного – мать еврейка, у другого – отец...

Правда, для «хорошего» жидоеда ничто не является доказательством «русскости». Он и из уральского медведя Ельцина умудряется сделать «Беню Эльцина», он пишет (я прочел это в одной из харьковских газет 1992 года): «Дикая фамилия Черномырдин подозрительна!» Один из любимых друзей Чичибабина, Борис Ладензон, шутил, что тот, в глазах антисемитов, «Чичибабцер» (но мне больше нравит-

ся придумка моего давнего приятеля Володи Житомирского, который неизменно называл поэта – «Чичибабель»).

Ну, а все-таки: отчего Борис так часто и равнодушно писал о евреях? Кроме отмеченных уже общедемократических, антирасистских убеждений, кроме внушенной Евангелием христианской идеи «Несть ни Эллина, ни Иудея», была тут и еще причина: глубоко личный опыт общения с еврейской интеллигентной средой. До определенного времени такие контакты были нечастыми – например, в Чугуеве, где проходило с 12 лет детство Бориса, евреев и вообще было мало, а в его классе училась, кажется, одна еврейская девочка. Попав в университет, юноша приобщился к академической среде, в которой блистали такие незаурядные личности, как И.Я. Каганов, А.М. Финкель, А.Ф. Розенберг и другие. Но лишь в сугубо предположительном смысле отваживаюсь сказать и о значении его знакомства с нашей семьей, с нашими родителями, к которым он питал искреннее уважение. Возможно, то был вообще первый опыт длительного пребывания в еврейской семье – и, право, по-моему, не худшей, то есть дружной, трудолюбивой, идеалистичной по стремлениям. На всю жизнь проникся он теплым чувством к нашим родителям – это видно и по дарственной надписи его на книжке «Мороз и солнце», которую он вручил нашей матери:

«Не умя делать трогательных
и значительных надписей, –
просто
от всей души
дорогой Блюме Абрамовне
с огромным уважением к судьбе и сердцу,
с искренней и всегдашней любовью
и с верой в лучшее

Борис Чичибабин

2.XII.1963 г.»

Менее чем через год мама умерла от инфаркта. Я был в отъезде, явился прямо на похороны и среди пришедших отдать ей последний долг увидел Бориса с Мотей. Несмотря на горе (а, возможно, именно оно обострило мое зрение и чувства), я залюбовался Борисом – его одухотворенной, мужественной красотой, крупными чертами лица, русыми прядями волос. Он был еще молод – лишь чуть за сорок. Одетый в короткое бежевое пальто, он стоял серьезный, печальный, потрясенный. Я очень любил его в эти минуты и был благодарен за то, что он пришел по-братски разделить нашу скорбь.

Может быть, теперь станет понятно, почему при первом чтении его стихов «Еврейскому народу», то есть еще в 1947 или 1948 году, я воспринял некоторые строки как прямо относящиеся к моим родителям. В первом варианте была такая строка: «Искренне люблю вас, первые партийцы» – я решил, что он в первую очередь имел в виду их... В дальнейшем строка эта выпала – но ей на смену пришли новые, – все о том же: «Застелила вьюга пеленою хрусткой комиссаров духа – цвет коммуны русской». Назвать евреев цветом русской коммуны было смелым и нестандартным поступком, а я и в этом случае отнес это высказывание к моим родителям – мученикам коммунистической идеи.

Испытание тюрьмой и лагерем сблизило их с Борисом – возвратившись и встретившись с ним, они расцеловались, как родные. Он, впрочем, стал часто бывать у Марлены в семье лишь с конца 50-х, когда отца нашего уже не было в живых, но с мамой, которая его очень любила, успел пообщаться еще несколько лет.

И не только отдельные строчки, но и конец его знаменитого послания «Еврейскому народу» я воспринимал и до сих пор ощущаю как имеющие прямое отношение к нашей семье. Думаю, частично это так и есть: ведь написано оно было тогда, когда Борис еще мог надеяться на матримониальный исход своих отношений с моей сестрой. Он был значительно (как ему по молодости казалось) старше ее, и потому сокрушался:

Был бы я моложе – не такая б жалость:
не на брачном ложе наша кровь смешалась.

Далее шло самое сжатое поэтическое изложение еврейской истории в образах:

Завтракал ты славой, ужинал бедою,
слезной и кровавой запивал водою.

У меня в памяти не сохранился весь текст той первой редакции, но он значительно отличался от того, что представлен в обоих «Колоколах». Например, там была строка: «казематы, тюрьмы, царские погромы». И еще: «вещие пророки – и Давид, и Бялик». То есть идишско-ивритского поэта XX века Хаима-Нахмана Бялика он ставил рядом с автором библейских Псалмов – древнеиудейским царем и пророком.

А вот и еще строчки из ранней редакции:

Не проникнуть в быт твой наглыми глазами.
Мир с чужой молитвой стал под образами.

Нет, не «наглыми», не чуждыми глазами проникал этот юноша в быт нашей семьи, а взглядом внимательным, чутким, сочувствующим.

щим. Почему поэт отбросил впоследствии одни строки, добавил другие – вопрос особый, мне же сейчас хочется подчеркнуть одно весьма примечательное и важное обстоятельство: стихотворение это, написанное в 1946 году, было прямым и непосредственным откликом русского поэта на историческое событие тех дней – процесс рождения еврейского государства Израиль. И некоторые строки одного из ранних вариантов звучали (да и до сих пор звучат) как поистине злободневные:

Не под холостыми пулями, ножами
пали в Палестине юноши мужами...

(Цитирую не только по памяти, но и по ксерокопии автографа 1955 года).

А разночтения с окончательным текстом, вошедшим в книги конца 80-х – начала 90-х годов, – свидетельство того впечатляющего факта, что над этим посланием нашему народу Чичибабин работал, практически, в течение всей своей творческой жизни!

Наконец, заключительные строфы, которые неизменно трогают еврейские сердца (привожу первоначальный вариант):

Не родись я Русью, не зовись я Борькой,
не водись я с грустью, золотой и горькой,
не ночуй в канавах, до смерти влюбленный,
не войди я навек частью миллионной
в русские трясины, в пажити и в реки –
я б хотел быть сыном матери-еврейки.⁴⁸

Мечта, согласитесь, не слишком-то типичная для русского человека. Ведь, все-таки, это не «Желание стать Испанцем», как у Козьмы Пруtkова... Еврей в России, как откровенно определил в беседе со мной один мой сослуживец-солдатик, это «позорная национальность». «Он мне признался, что он – еврей!» – рассказывал мне паренек весьма доверительно... И на таком-то фоне русский поэт не боится сделать столь скандальное заявление!

В свои 16 лет я без малейших сомнений отнес его слова о «матери-еврейке» к нашей маленькой черноволосой, темноглазой маме. И, хотя он не стал ей сыном, не перестаю ощущать в нем брата.

А мечта его все же осуществилась: он вошел как родной в еврейскую семью Лили Карась. С ее мамой у него установились теплые, уважительные отношения.

⁴⁸ В юмористическом листке «Абзац» тельавивской газеты «Вести» была помещена пародия Натана Скальпеля на эти стихи, вызвавшая бурное негодование друзей «чичибабников». Я бы все-таки простил любую остроумную шутку – даже по адресу покойника. Но в том-то и дело, что «скальпель» оказался... туповат!

Примечательно, что в разговорах с друзьями Борис вовсе не эксплуатировал еврейскую тему – почти не могу припомнить какого-нибудь специального разговора, особенно по его инициативе. Я уже, кажется, рассказывал, как, вернувшись из армии, встретил его на улице, и он мне прочел новые стихи: «Родной язык» – и еще одно – изумительное! – стихотворение: о любви к зиме, к русской природе, заканчивающееся строчкой: «Отчизны отчетливый воздух». Русское патриотическое чувство я вполне разделял: ведь этим воздухом и мне позволено было дышать. Но в жизни, да и в Отчизне, для меня не все было «отчетливо». Меня мучила моя еврейская судьба, сюжеты юдофобии: как чеховского «Печенега» – мысль о свиньях. И я сказал ему:

– А мне вот – плохо: я еврей, а евреи у нас, с некоторых пор, люди второго сорта. И я это на себе повседневно ощущаю.

Он молча шел рядом. Шел – и молчал. Но ведь я не единственный, от кого он такое слышал. Да и сам поэт был зряч.

В его стихотворных декларациях появилась осязаемая антиюдофобская нота. И она зазвучала в полный голос, когда на взлете поэтического «бума» он стал выступать на многочисленных литературных вечерах. Надо было видеть и слышать, как, стоя за трибуной Центрального лектория и в такт стихам потрясая русыми прядями прически и недавно отращенной бороды (она, сама по себе, даже по оттепельным временам, воспринималась как атрибут вольномыслия), – как он своим грудным, рокоющим голосом читал такие, например, ниспровергательные строчки:

Пока, во лжи неукротимы,
сидят холеные, как ханы,
антисемитские кретины
и государственные хамы,
покуда взяточник заносчив
и волокитчик беспечален,
пока добычи ждет доносчик, –
не умер Сталин!

Публикация этих стихов стала возможна лишь в годы перестройки, и автор, вообще-то не имевший привычки выставлять даты создания своих произведений, под этим указал: «1959».

Примерно тогда же появилось и его стихотворение «Быть как Ленин», каждая строфа в нем завершалась рефреном: «Я хочу быть таким, как Ильич». От политических максималистов алии 70-х годов, отказывавших мне в публикации заметок о Чичибабине (и, в частности, о еврейской теме в его творчестве), я слышал такой одинаковый мотив:

– Кому он здесь нужен? Он о Ленине, о советской власти хвалебные стихи писал...

Да, писал. Да, хвалил. Но – что и как? В книжке тех лет – следующий текст:

– Почему ты себе помолчать не велишь
и коришь за корысть, негодующ и злобен,
карьериста и хама, вельможу и сноба?

– Я хочу быть таким, как Ильич.

Неужели трудно понять: человек, воспитанный при советской власти, с доверием принял тот образ идеального «Ильича», который ему навязывали всю жизнь – с детского сада до лагерного барака. Но приведенная цитата – результат подцензурной переделки. В истинном, первоначальном виде стихотворение заключало в себе строку:

...и шарахаешь антисемитскую сволочь?..

Итак, даже после реабилитации еврейских врачей и «агента международного сионизма» Михозлса, когда стало можно «корить за корысть» «карьериста и хама, вельможу и сноба», антисемитов «шарахать» не полагалось. Чичибабин, насколько мог, с этим не считался – «шарахал» с трибун, покуда допускали до них. Жаль, что некоторые израильские «патриоты» не давали мне об этом рассказать. «С кем вы, мастера культуры?» Неужто с советскими редакторами далеких лет?

К счастью, нашлись в Израиле и другие редакторы, благодаря чему статья, из которой родилась эта глава, увидела свет⁴⁹.

На поэтические вечера сходились в 60-е годы любители поэзии, но являлись и соглядатаи, а порой и группка начальников – именно та «антисемитская сволочь». Слушая чичибабинские громохания, она поживалась и до времени затаивала зло. Среди этих стихов в то время было немало таких, которые печатать не разрешалось, но с эстрады он их читал. Некоторые из них (как рассказано в главе «Художник, бражник и плужник») пел Леонид Пугачев. В песенке «Советской интеллигенции» был дан нелицеприятный портрет нового, «просвещенного» обывателя:

⁴⁹ Феликс Рахлин. Русский сон поэта. Еврейская тема в творчестве Бориса Чичибабина. «День 7-й» (приложение к газ. «Новости недели», Тель-Авив, 14 января 1994 г. Редактор приложения Владимир Добин). Этой же теме посвятил свою статью и один из близких друзей Б. Чичибабина – литературовед и эссеист Мих. Копелиович, живущий ныне в Израиле.

«Были книги и азарт,
поцелуи, чаянья...
А достался нам – базар,
преферансы с чаями...
Кто из нас не рвал, не жег,
что писали в юности?..
А на улице – снежок,
молодой и лунистый.
Вейся, вейся, пороши,
на окошки сыпья нам...
Подсчитаем барыши,
почитаем Ибсена...
Хорошо нам и тепло,
папа смотрит шишкою...
Разгорайся, наша плоть,
на супругу пышную!
Нам ли, старым, не до ласк?
Вот что значит опытность!
Очень жизнь нам удалась –
в землю ж не торопят нас!
Оттого и потому
роем груди рылами.
В одеялах потонув,
всех перемудрили мы!
Жизнь заели нам жиды...
В рифмах видишь прок ли ты?»
.....
Будьте прокляты, шуты!
Будьте вечно прокляты!

Исполняя эту вещь как веселенькие куплеты, Леша в конце осекался, прекращал аккомпанемент и последние две строчки проговаривал без музыкального сопровождения, с горькой, даже скорбной интонацией, припечатывая сказанное громким заключительным аккордом.

Не знаю, были ли где-то когда-либо напечатаны эти стихи в новые времена. Они тоже четко свидетельствуют, что в глазах Чичибабина юдофобия была одним из неперменных атрибутов современного мещанства и хамства, дорвавшегося до власти. Но в то время он еще не воспринимал ее в глобальном масштабе, не задумывался об исторической вине русского и других христианских народов перед евреями – это пришло значительно позже. Чтобы прийти к мысли о лич-

ной ответственности за совершавшиеся злодеяния (по правде говоря, для меня она сомнительна), он должен был многое испытать на себе, потерять, наконец, окончательно веру в коммунизм, Ленина, партию, советскую власть... Это произошло постепенно, в течение конца шестидесятых – начала семидесятых годов, после процесса Синявского и Даниэля, разгрома старого «Нового мира», «воровских» похорон Твардовского, вторжения советских танков в Чехословакию и крушения «пражской весны», мощного взлета диссидентского движения и, наконец, начавшейся – преимущественно еврейской – эмиграции.

Евреи среди читателей, почитателей и друзей Чичибабина составляли заметный и для него очень важный круг. Они (а честнее, хотя и менее скромно, сказать «мы»!) наиболее чутко отзывались на его голос, выказывали огромный интерес к его творчеству и с неподдельной искренностью откликались на его русский патриотизм – именно потому, что он никогда не был «патриотизмом» за чей-то счет. Подобно лучшим русским интеллигентам старого закала, Чичибабин сам совершенно чистосердечно расценивал обрусевших и необрусевших евреев как во всем равных себе, ни в быту, ни в стихах не делал – а главное, не чувствовал – различий между собой и ими. Среди его многочисленных стихотворных посвящений 60-х–80-х годов множество обращено к евреям: друзьям, литераторам, актерам... Если в сборнике 1963 года – ни одного конкретного адресата, то уже в 1965-м, наряду со стихами, посвященными Александре Лесниковой, появляется «Сонет с Маршаком» – след встречи со знаменитым поэтом и переводчиком. Книга «Колокол», объединившая в себе лирику Чичибабина, главным образом, 60-х–80-х годов, дает одинаковое количество посвящений неевреям (среди них я не учитывал «китов» отдаленного прошлого – таких, как Пушкин, Лев Толстой, хотя Цветаеву, Ахматову, Твардовского и Паустовского посчитал) и евреям: тех и тех получилось, по беглому, небрежному подсчету, человек по 12. А именно (в этой последней группе): Пастернаку, Феликсу Кривину, Осипу Мандельштаму, Шере Израилевичу Шарову, Александру Галичу, Надсону (который, строго говоря, евреем не был, но Борис ему стихи посвятил, в частности, «и за то, что по паспорту жид» – впрочем, в Советском Союзе так бы оно и было), Марлене Рахлиной, Леониду Ефимовичу Пинскому, Зине Миркиной, Леониду Темину, Александру Вернику... Ну, и собственной Борисовой жене – Лиле Карась.

Последняя прижизненная книга, «Цветение картошки», добавляет к этому списку Зиновия Ефимовича Гердта, чету Ладензонов,

Илью Эренбурга, Александра Моисеевича Володина, В. Шварца⁵⁰. Уже выполняя последнюю правку этого текста, я познакомился с его стихотворным посланием поэту Иосифу Гольденбергу – давнему университетскому другу.

Все-таки, чтобы не слишком «переевреить» Чичибабина, укажу и других адресатов его посланий. Это – друзья поэта: Александра Петровна Лесникова, Леонид Пугачев, Станислав Кононович Славич-Приступа, Генрих Ованесович Алтунян... А также – Марина Цветаева, Александр Твардовский, Александр Солженицын, Максимилиан Волошин, Кирилл Ковальджи, Мыкола Руденко... Словом, по Бабелю, «интернационал добрых людей». И, конечно же, в сердце своем (как и в книгах) Борис никогда не делил их по национальностям – на «Эллинов и Иудеев», – для того мы такое и проделали, чтобы это подчеркнуть.

Вот почему всего лишь как шутку, но с большой долей правды, следует воспринимать такое его заявление:

Видно, вправду такие чаи,
уголовное время,
что все близкие люди мои –
поголовно евреи.

И вот вдруг, с начала 70-х, эти «близкие люди» один за другим стали покидать его любимую и несчастную Россию и под дружное, хорошо организованное «юлю-лю» или даже «ату» брали курс – кто в далекий Израиль, а кто в еще более дальнюю Америку.

Среди первых, как стали говорить, «отъезжантов» были Александр Волков и его жена Лина (в девичестве Черняховская).

Так бывает, что территориальная близость, соседство домами помогают обнаружить и близость сердечную, душевную, творческую. Вся жизнь Бориса, чисто случайно, начиная еще с 1946 года, жил ря-

⁵⁰ По всей справедливости, следовало бы вспомнить и тех, кто не назван, но для меня очевиден: это и героиня «Оды женским коленям» (в опубликованном варианте – просто «Оды», см. в книге «Цветение картошки»): «...смотрю на женские колени, не отводя упрямых глаз», вдохновительница этих строк – уже старожилка Америки; это и персонаж небольшого лирического шедевра, кончавшегося строкой: «тебе, малюсенькой, молось...» Строка была неузнаваемо переделана и вошла в стихотворение, где автор «малюсеньким» уже называет себя – конечно, в сугубо переносном смысле... А та, и в самом деле малюсенькая, сейчас в Израиле. И обе – еврейки. Пусть простят меня все жены Бориса Алексеевича: как поэт он обладал зрением и потому был влюбчив. Да он и сам об этом сказал в той же «Оде»:

Спасибо видящим очам!
Я в греховодниках не значусь,
но счастье мне давала зречьность,
и я о том не умолчал.

дом с нашей – вернее, с Марлениной – семьей. Еще в 1946 году на соседней с нами улице – Восьмого Съезда Советов – поселились его мать и отчим (сейчас это улица Бориса Чичибабина), а мы жили – на следующем за нею (и ей параллельном) проспекте «Правды», окнами на улицу Анри Барбюса. Потом многие годы его жизни прошли в мансарде Моти – в трущобе по улице Рымарской, 1 (телезрители, видевшие фильм Рязанова «Поэт и счетовод», могли полюбоваться вдоволь на эту руину – она сохранилась до последнего времени, и Эльдар Александрович сочно и точно ее показал...) А в десяти минутах ходьбы с 1957 года поселились (по ул. Потемни, бывш. Подгорной) наши родители вместе с семьей Марлены. Она после смерти мамы перебралась, по обмену, в район Новых Домов – на Стадионный проезд. А Борис, женившись на Лиле, стал обитателем квартиры жены на улице Танкопия – опять в пяти минутах ходьбы...

И там же, на Танкопия, поселилась с семьей Марлена подруга Лина – инженер, учительница английского, писавшая изящные стихи, да и вообще умная, очаровательная женщина. Муж ее, Алик Волков, был преподавателем в консерватории (Институте искусств) по классу фортепьяно – великолепным пианистом, не имевшим, однако возможности ни нормально концерттировать, ни продвигаться по службе в полную меру сил и таланта – из-за проклятой «пятой графы». Родной брат Лины, Гарри Черняховский, еще учась в политехническом институте, увлекся сценой и впоследствии стал известным московским театральным режиссером. Борис был знаком с Волковыми, возможно, еще со времен его общения с Фимой Бейдером и Реной Мухой, но сдружился уже «по соседству».

Супруги Волковы стали едва ли не первыми в Харькове начала 70-х годов «отъезжантами» из СССР в Израиль, вынеся на себе всю скандалезность обстановки, создаваемую властями и советской общественностью вокруг такого поступка. Но и в душе Бориса Чичибабина их намечавшийся отъезд вызвал необычайное смятение. После всех известных ему (и во многом испытанных на собственной шкуре) политических и нравственных катастроф в жизни страны он не мог и не хотел присоединить свой голос к тем, кто проклинал «предателей» и «перебежчиков». Но и смириться с их отъездом – тоже не хотел и не мог. Ведь еврейскую интеллигенцию он воспринимал как часть русской – и притом, по меньшей мере, не худшую. Душа его раздваивалась, разрывалась. Для себя он твердо решил – «не съезжать» (неоднократно встречающееся в его стихах словечко, причем именно о себе). Но и судить эмигрантов, репатриантов – не находил причин и оснований.

Из этой-то «разности потенциалов» и родилось стихотворение, которое первоначально было посвящено Алику и Лине Волковым, затем пошло в «самиздат» и довольно широко распространилось по стране под названием «Отъезжающим», а опубликовано лишь в годы «перестройки» – без названия и без посвящения (последнее обстоятельство объясняется, видимо, тем, что супружеская пара распалась – да и живут они теперь в разных странах: Алик – в Израиле, Лина – в США).

Стихотворение привожу здесь полностью.

* * *

Дай вам Бог с корней до крон
без беды в отрыв собраться.
Уходящему – поклон,
остающемуся – братство.

Вспоминайте наш снежок
посреди чужого жара.
Уходящему – рожок.
Остающемуся – кара.

Всяка доля по уму –
и хорошая, и злая.
Уходящего – пойму.
Остающегося – знаю.

Край души, больная Русь,
перезвонность, первозданность
(с уходящим – помирюсь,
с остающимся – останусь) –

дай нам, вьюжен и ледов,
безрассуден и непомнящ,
уходящему – любовь,
остающемуся – помощь.

Тот, кто слаб, и тот, кто крут,
выбирает каждый между:
уходящий – меч и труд,
остающийся – надежду.

Но в конце пути сияй
по заветам Саваофа,
уходящему – Синай,
остающимся – Голгофа.

Я устал судить сплеча,
мерить временным безмерность.
Уходящему – печаль.
Остающемуся – верность.

Глубоко человечные эти стихи были восприняты по-разному: как напутствие и пожелание счастья – теми, кто решился на отъезд убежденно и бесповоротно; как оправдание и своеобразный катарсис – колеблющимися; как предупреждение о грядущих бедах в «больной Руси» – теми, кто оставался на Родине... И, наконец, как красная тряпка – идеологическими быками (и ослами): шутка ли, автор шлет вослед эмигрантам не проклятия, а любовь, предрекает кару и Голгофу «остающимся» – то есть и себе... «Так улетай же! чем скорее, тем лучше» (А.Пушкин, «Моцарт и Сальери»).

Именно тогда за Бориса взялись всерьез: и в КГБ вызвали для беседы (то есть – припугнуть), и из Союза писателей выгнали. Думаю, что, прояви он малейшее желание «улететь», ему бы дали «вольную» пинком под зад: ведь сколько диссидентствующих писателей тогда были изгнаны: и Бродский, и Галич, и Войнович, и Владимов... Гонителям, видно, казалось, что, стоит лишь отделаться от непокорных, как сразу все пойдет так, «как нужно» (им, гонителям).

С Борисом, однако, у них вышла осечка. Недаром же он признавался: «мне сроду было трудно, что всем другим привычно и легко». Мысль о том, чтобы покинуть Россию, была ему страшна и противна. Виктор Некрасов (я сам слышал по одному из «голосов») уверял, что ничуть не тоскует по России – ему-де и в Париже хорошо. Вовсе не в осуждение Некрасова, скажу, что Борис такой свободы выбора не ощущал. Свет для него сошелся узким клином именно на России. Недаром же еще тогда, когда о поездках за границу можно было говорить не с большей вероятностью, чем о полетах к соседней галактике, он писал в одной из своих поэтических деклараций: «В края чужие не поеду». Вот и теперь, вновь переживая «отрыв» близких людей («Не вправе клясть отчаянный выезд, несу, как крест, друзей отъезд»), он пишет стихи, которым, надеюсь, суждено остаться в русской поэзии и в истории русской общественной мысли, пока та и другая существуют:

Не веря кровному завету,
что так нельзя,
ушли бродить по белу свету
мои друзья.

Броня державного кордона,
как решето.
Им светит Гарвард и Сорбонна,
да нам-то что?

Пусть будут счастливы, по мне, хоть
в любой дали.
Но всем живым нельзя усхать
с живой земли.

С той, чья судьба еще не стерта
в ночах стыда,
а если с мертвой, то на черта
и жить тогда?..

Я верен тем, кто остается
под бражный треп
свое угрюмое сиротство
нести по гроб,
кому обещаны допросы
и лагеря,
но сквозь крещенские морозы
горит заря.

Нам не дано, склоняя плечи
под ложью дней,
гадать, кому придется легче,
кому трудней.

Пахни ж им снегом и сиренью,
чума-зсмля,
не научили их смиренью
учителя.

В чужое зло метнула жизнь их,
с пути сведя,
и я им, дальним, не завистник
и не судья.

Пошли ж им, Боже, легкой ноши,
прямых дорог,
и добрых снов на злос ложе
пошли им впрок.

Пушай опять обманет демон,
сгорит свеча.
Но только б знать, что выбор сделан
не сгоряча.

В русской поэзии тех лет я не знаю более чистого взгляда, более ясной позиции в отношении к отъездам. И – если оценивать с русской (белорусской, украинской и т. д.) стороны – более патриотичной оценки эмиграции. Да, свобода проживания! Да, свобода эмиграции! Однако какой стране на пользу, если ее мозг и силы вдруг устремятся вон?! «Но всем живым нельзя уехать с живой земли... А если с мертвой, то на черта и жить тогда!?» Опять и опять поэтическая прозорливость оказалась необыкновенно точной: ведь не мог же он знать о грядущем Чернобыле, о неизбежной смуте... Не знал – но предчувствовал вещим сердцем художника.

Душевный раздрой заставил Чичибабина коренным образом пересмотреть свое отношение к родине, к ее истории. Не говорю уже о том, что он навсегда отбросил, как хлам, натужно-патриотические, ходульные, наигранные декларации типа: «Бросала в небо спутников (!?), трудилась и мужала Советская республика, крылатая держава» (и это – Чичибабин? – Увы...), но ведь и раньше были у него искренние и не всегда идиллические стихи о России (взять хотя бы то же «Смутное время»). Однако теперь его раздумья стали предельно мрачными, оценки судьбы и истории отечества и народа – буквально безысходными:

Не говорите русскому про Русь:
я этой прыти досмерти боюсь.

В крови без крова пушкинский пророк,
и Спас Рублева кровию промок...

А тех соборов Божью благодать
исчавкал боров да исшастал тать...

Весь мир захлюпав грязью наших луж,
мы – город Глупов, свет нетленных душ.

Кичимся ложью, синие от зим,
и свету Божью пламенем грозим.

У нас булатны шлемы да мечи.
За пар баланды все мы палачи,

свиньи хамы, силою сильны,
Двины и Камы сирые сыны.

И я такой же праведник в родню, –
холопсьей кожи сроду не сменю.

Как ненавистна, как немудрена
моя отчизна – проза Щедрина.

«Русофобия» да и только! Однако – лишь в глазах куринолапотно-атомных патриотов. Но сравним процитированные стихи со строчками его юности: «Лепестки раскрыло сердце, солнце село за лужок, и поет, как в дальнем детстве, милой родины рожок». Какие были славные стихи – но в совсем иной тональности... Что же касается патриотизма, то, надеюсь, читателю не надо объяснять: он есть и там, и там.

Таких вот, я бы сказал, беспощадно-патриотических стихотворений о России (в которых сама беспощадность и есть наивысшая мера патриотизма и сыновней пронзительной жалости к матери-родине) был создан целый ряд. И еврейская тема неизменно сопутствует раздумьям поэта о родине, иллюстрирует причины его тяжких вы-

водов. Скажем, в стихотворении «Тебе, моя Русь, не богу, не звелю, молиться – молюсь, а верить – не верю» есть такая строфа:

Нет меры жестокости ни бескорыстью,
и зря о твоём же добре лепетал
дождем и ветвями, губами и кистью
влюбленно и злыдно еврей Левитан.

И, отказываясь «славить» отчизну, неблагодарную любящим ее пасынкам, поэт предрекает себе скорую кару:

Наточен топор и наставлена плаха,
не мой ли, не мой ли приходит черед?
Но нет во мне грусти и нет во мне страха.
Прими, моя Русь, от сыновних щедрот.

Я вмерз в твою шкуру дыханьем и сердцем,
и мне в этой жизни не будет защит,
и я не уйду в заграницы, как Герцен:
щепоть Аввакумова в лоб мой стучит.

Внимательный читатель, верно, заметил, что «щепоть» с протопопом Аввакумом никак не сопрягается – напротив, это Аввакум называл Никона и его последователей «щепотниками» – за троеперстие. Аввакумово же двоеперстие лишь с огромной натяжкой можно признать за «щепоть». А, может, и нельзя. Я был среди тех, кто указал Борису на эту несообразность. Но уж лучше б не указывать: он заменил «щепоть» на «судьба», да так стихи и вышли в свет – сперва в журнале, потом в обоих изданиях «Колокола». Но судьба в лоб не стучит! Уж пусть лучше двуперстие тоже считается за щепоть – только особую, Аввакумову. Вспомним Лермонтова: он предпочел оставить без перемен «из пламя и света», хотя правильная форма – «из пламени». А ведь можно было бы найти другой вариант – например: «из жара и света». Но ведь было бы явно хуже, хотя и «правильнее».

У Бориса, при том гигантском труде, который он тратил на отделку своих произведений (его черновики – этому свидетельство: они содержат бесчисленные варианты строк, слов, рифм, испещрены следами неутомимых поисков единственно приемлемого результата), была какая-то необъяснимая робость перед редактором или читателем. Может быть, это потому, что он не получил высшего образования и переоценивал дипломовладельцев... («Но я не в школах образован», все же петушился он...)

Судьба не может стучать в лоб – но она, как известно, стучится в дверь четырьмя бетховенскими аккордами. Изгнание из союза советских писателей знаменовало собой новый период в жизни Чичибабина. Посадить его не то что не решились – лучше скажем: «решили не

сажать». А значит, он получил невиданную доселе свободу: теперь его выгнать могли только в тюрьму – либо за рубеж. Гласное существование поэта завершилось – началось безгласное. Но теперь он никому ничего не был должен – только себе самому, друзьям, родине, миру и – Богу!

К началу этого периода относится стихотворение «Нехорошо быть профессионалом. Стихи живут, как небо и листва. Что мастера? Они довольны малым. А мне, как ветру, мало мастерства» (И т. д.). Этот период неизвестной доселе свободы (в первую пору своей неизвестности он, надеясь на лучшее, еще мог лелеять в себе внутреннего цензора, а сейчас это напрочь отпало) дал целый ряд замечательных стихотворений. Борис продолжал размышлять о судьбах родины, о ее великих людях, о тех, кто в ней жил, мучаясь и страдая...

Ах, Москва ты, Москва, золота голова!
Я, расколов твоих темноту раскумекав,
по погубленным храмам твоим горевал
вместе с тысячью прочих жидов и чучмеков.

Надо же: чучмеки и жида, тоскующие по храму Христа-Спасителя! А ведь какая четкая оказалась в том правда. Как и в такой провидческой строфе:

Я полжизни отдам за московские дни,
хоть вовек не сочту, сколько было их кряду,
но у красной стены чутко спят кистени
и скачуют во сне по охотному ряду.

Жертвы «охотнорядцев» стали новыми героями стихов Чичибабина – например, стихотворения «Признание», посвященного Генриху (конечно, Алтуняну). То, что уже известно читателю об Алтуняне, поможет вникнуть в настроение этой трагической элегии, из которой приведу лишь отрывки:

Зима шуршит снежком по золотым аллеям,
надежно хороня земную черноту,
и по тому снежку идет Шолом Алейхем
с усмешечкой в очках, с оскоминкой во рту.

В провидческой тоске, сорочьих сборищ мимо,
в последний раз идет по родине своей, –
а мне на той земле до слез необъяснимо,
откуда я пришел, зачем живу на ней.

Вновь звучит мучительный вопрос о еврейской эмиграции из России, – но (в связи с опальной судьбой друга) вообще об изгнанничестве, о гонениях на любую свободу и об ответственности каждого за судьбы мучеников.

Смущаясь и таясь, как будто я обманщик,
у холода и тьмы прощения молю,
и все мне снится сон, что я еврейский мальчик,
и в этом русском сне я прожил жизнь мою.

Явная или случайная переключка с евшушенковским «Бабьим Яром»: «Мне чудится, я – мальчик в Белостоке...» Но дальше тема еврейских страданий как будто прерывается, и возникает другая: «и жизнь у нас во лжи, и храмы на крови». Это вновь думы о России («мучусь родиной», как написано в другом стихотворении), о своей личной ответственности за ее грехи. И в финале – тревожное предвидение: «Когда за мной придут, мы снова будем квиты... и всем нам суждена одна дорога: в ад». Кто придет: «ангелы» ли в мундирах – водворить в лагерь или выдворить за пределы советского рая? Черти ли – рогатые посланцы пекла? – В точности и не ответишь...

Ну, конечно же, нет и быть не может никакой вины ни на Чичибабине, ни на ком-либо еще из наших современников за эмиграцию Шолом Алейхема или страдания мальчика Мотла. Но если бы все в России, в Израиле, во всем мире так чувствовали свою ответственность за будущее, за настоящее и, как ни странно, за прошлое своих народов и держав – насколько спокойнее было бы на земле!

Давным-давно, в середине шестидесятых, он написал:

Я все снесу. Мой грех, моя вина.
Еще на мне и все грехи России.

Теперь он еще глубже разрабатывает эту мысль:

На мне лежит со дня рожденья
проклятье богоотпаденья,
и что такое русский бунт,
и сколько стоит лиха фунт.

И тучи кровью моросили,
когда погибло пол-России
в братоубийственной войне, –
и эта кровь всегда на мне.

В согласии с этим своим беспримерно патриотическим чувством, он и в «Сонетах любимой», в строках, обращенных к еврейке жене, произносит слова покаяния:

...Ты древней расы, я из рода россов,
и, хоть не мы историю творим,
стыжусь тебя перед лицом твоим.
Не спорь. Молчи. Не задавай вопросов.

Мне стыд и боль раскраивают рот,
когда я вспомню все, чем мой народ
обидел твой. Не менее чем девять

веков легло меж нами. И малó
загладить их все лучшее мое.

И как мне быть? И что ты можешь сделать?

С сумрачной скорбью наблюдал он рост русофобских настроений в стране. Ведь еще задолго до перестройки сложился в среде «интеллигенции» псевдопатриотический лагерь, взявший на вооружение худшие традиции «антизападников» и «славянофилов». Почему-то идея русского единства и возрождения не могла обойтись без черного жидоедства – впрочем, всемерно поддерживаемого коммунистической верхушкой. В Москве эти силы объединились вокруг журналов «Наш современник» и «Молодая гвардия», еще один центр возник в Минске, где жил и работал небезызвестный Бегун (не путать с еврейским диссидентом Иосифом Бегуном!). Пользуясь официальными гонениями на сионизм, эти люди (в том числе «ученые») свои антисемитские идеи маскировали (притом, не слишком старательно) контрсионистскими мотивами. Поймать их на пропаганде примитивной юдофобии было совсем не трудно, однако это никто не пытался делать (кроме, конечно, подпольных авторов «самиздата»).

Уже в 80-е годы, работая корреспондентом заводской многотиражки, я наткнулся в журнале «Москва» на статью И. Бестужева о книге упомянутого Бегуна «Осторожно: сионизм!» Рецензент ставил в заслугу минскому автору, что тот ярко показал: «капитализм усвоил принципы еврейского торгашества». Через какое-то время в нашу редакцию забрел шнырявший по заводу куратор районного КГБ, которого я знал в лицо. Он завел со мной вкрадчивый разговор, в ходе которого вдруг предложил мне написать «контрсионистскую статью» для местной газеты:

– А «мы» поможем ее опубликовать!

Вместо ответа я положил перед ним случайно прихваченный с собой («рояль в кустах?») Но, тем не менее, это так!) журнал со статьей Бестужева:

– Вот если вы мне расскажете, чем еврейское торгашество в принципе отличается от русского, английского, малайского или любого другого, я такую статью напишу! – твердо сказал я ему, хотя от неожиданности ситуации и от собственной неслыханной смелости был близок к инфаркту.

Условие, абсолютно невыполнимое и потому беспроникнутое. При следующей встрече этот юный вьюн похлопал меня по плечу и сказал:

– Работайте спокойно: мы вам доверяем (!?)

Я лишь для того рассказал о себе, чтобы описать общую атмосферу тех лет. Борис ощущал ее очень чутко, и она его невыносимо угнетала. Вот еще один его сонет на эту тему (правда, написанный несколько позже):

Бессмыслен русский национализм,
но крепко вяжет кровью человеческой.
Неужто мало крови и увечий,
что этим делом снова занялись?

Ты слышишь вопль напыщенно-зловещий?
пророк-погромщик, осиянно-лыс,
орет в статьях, как будто бы на вече,
и тучами сподвижники сошлись.

«Всех бед, – кричат, – виновники евреи,
народа нет корыстней и хитрее, –
доколь терпеть иванову горбу?<...>

Здесь все узнаваемо, вплоть до портрета «пророка-погромщика». Я было подумал – это Дм. Васильев... Но, поглядев на датировку цикла («Из сонетов любимой»), обнаружил, что это «1969...1972». В те годы ни о Дм. Васильеве, ни об Асташвили и т. п. и слыхом никто не слыхал. Опять – провидчество?!

Еще одно подобное раздумье:

Народ – отец нам, и Россия – мать,
но их в толпе безликой не узнать,
черты их стерлись у безликой черни.

Вот что болит, вот наша боль о чем, –
к моей груди прильнувшая плечом, –
а время все погромней, все пещерней.

Можно ли удивляться тому, что, ранее относясь к эмиграции с пониманием, но без одобрения, он теперь стал все больше разделять чувства и мотивы, заставляющие людей пускаться в дальний и не всегда многообещающий путь. Более того, с годами в нем все более крепло осознание своей – если не кровной, то глубинно нравственной связи с еврейством, – так, как он его понимал.

Что такое еврей? На этот вопрос не так-то легко ответить. По Галахе, евреем считается всякий, кто рожден еврейской матерью. Или – принявший в установленном порядке гиюр – обращение в иудаизм. Но среди шести миллионов жертв Катастрофы, погибших от рук гитлеровских палачей именно и только за еврейство, множество евреев негалахических. Еще больше – не веривших ни в сон, ни в чох, ни в птичий грай. А если кто-нибудь скажет, что именно потому они и погибли,

то как допустил Всевышний мученическую смерть самых верных слуг своих – тех евреев, которые старались ни на йоту не отступать от многочисленных предписаний и запретов, коими так славится еврейство?

Можно прийти к выводу, что еврей – тот, которого в еврействе обвинит юдофоб. Например: «Беня Эльцин», «Шварцемирдин». Тот же «Чичибабель».

Абсурд? – Конечно. Но не еврей его придумали.

Для Бориса Чичибабина еврейство олицетворяло собой древнюю идею гуманистической философии, давшей миру основные нравственные заповеди культуры, примат Духа над грубо материальным, животным началом, Любовь и Гармонию. Считая себя глубоко религиозным человеком, христианином, он был весьма равнодушен к обрядовой стороне религии – я, например, не помню ни единого его упоминания о посещении церкви (кроме чисто музейных, экскурсионных). Тем больше значения он придавал сущностной, моральной стороне христианства – и без труда находил в ней преимущество от иудаизма. В культуре же, в том числе, или даже в первую очередь, русской, на примере множества корифеев – таких, как Мандельштам, Пастернак, Маршак, в повседневном окружении, в кругу своих друзей он видел многочисленные подтверждения того, что евреи внесли и продолжали вносить выдающийся и неоценимый вклад в то, чем, по его представлениям, Россия может, действительно, гордиться. И тут же убеждался на не менее многочисленных примерах, как от имени России возводится несусветная клевета и напраслина на еврейство и все, что к нему так или иначе относится.

Он не мог не видеть аналогии между судьбами отверженного народа и отверженного поэта. Цветаевой принадлежат строки: «В сем христианнейшем из миров поэты – жиды!» Нечто подобное приходило на ум и Борису. В стихотворении, озаглавленном, как строка примечания: «Чуфут-Кале» по-татарски означает «Иудейская крепость», он рассказывает, как во время путешествия по Крыму вдвоем с подругой посетил развалины старинного еврейского селения. Воображение поэта переносит его вместе со спутницей в дикую древность:

Мне – камни бить, тебе – нагой метаться
на тех холмах,
где судит судьбы чернь магометанства
в ночных чалмах,

где нам не даст и вспомнить про свободу
любой режим,
затем, что мы к затравленному роду
принадлежим.

Давно пора не задавать вопросов,
бежать людей.
Кто в наши дни мечтатель и философ,
тот иудей.

Вот и еще одно, – чичибабинское, – определение того, что же такое еврей (вспомним, что на иврите иудей (еһуди) и еврей (иври) – синонимы). Без малейшего колебания объединяет он себя – иудея по духу – с возлюбленной – еврейкой по крови и становится в ряды «затравленного рода» без всякого «гиюра»⁵¹.

Конечно, такое самозванство не вызовет встречного чувства и понимания среди обитателей иерусалимского квартала Меа Шеарим и других ультраортодоксов иудаизма. Но еврейская европейская интеллигенция (во всем мире!), как и истинная интеллигенция вообще, такую позицию оценит по достоинству. По тому достоинству, которого она, эта позиция, исполнена.

Сколько людей (и среди евреев – тоже!) в испуге отреклись от родства с евреями. Антисемит Гоголь справедливо смеялся над теми из них, которые говорят о собратьях: «Да разве ж то жиды? Это такие жиды, что только поплевать на них, да и бросить!» Салтыков-Щедрин, известный, напротив, своим заступничеством за евреев, тоже, однако, издевался над фразой: «Ми только с виду евреи, в душе (т.е. «в душе») ми совсем-совсем русские!». Но Чичибабин не только согласен принадлежать к «затравленному роду» – он самим евреям заявляет (в стихотворении «Куда мы? Кем ведомы? И в хартиях – труха...»):

Я самый иудейский меж вами иудей,
мне только бы по-детски молиться за людей.

Не знаю, многие ли из еврейских богословов согласятся с такой четко альтруистической трактовкой сути иудаизма, но мне она по сердцу.

Незадолго до моего отъезда с семьей в Израиль я узнал, что Борис приготовил мне дарственный экземпляр только что вышедшего (первого – «известинского») издания своего «Колокола», но нездоров и просит меня зайти. Я пришел к нему домой на улицу Танкопия. В последнее время мы с ним встречались довольно часто на заседаниях совета «Мемориала», но о моем предстоящем отъезде он еще не знал. Я сообщил ему, что мы едем в Израиль.

Это были мутные, переполненные злобой дни, ходили слухи о предстоящих погромах, в псевдопатриотических журналах и газетах появлялись черносотенные статьи.

⁵¹ Гиюр – переход гоя (иноверца) в иудейство.

– Ну, теперь-то ты понимаешь неизбежность отъездов?

– Теперь понимаю... – Он смущенно улыбнулся, пожелал добра и счастья. Мы обнялись, уверенные, что прощаемся навсегда.

И вот я в Израиле. По инерции советского перестроечного бума, вскоре по приезде связался с существовавшим здесь уже много лет Обществом еврейско-украинских связей, его руководителем Яковом Сусленским, и принял участие в организации намечавшегося на 1992 год еврейско-украинского всемирного форума. Яков меня попросил:

– Вы лучше знаете Харьков – составьте предположительный список гостей оттуда...

Не слишком веря в силу своей рекомендации, я составил список, в котором первым был Чичибабин, вторым – Алтунян... Оказалось, Яков как бывший узник Сиона и, следовательно, диссидент знал об обоих и очень поддержал предложение. Правда, ни тот ни другой не украинцы, но Чичибабин был уже весьма известен, Генрих являлся депутатом Верховной Рады Украины. Кроме того, Киев и Львов прислали такой мощный «курень» щирых украинцев, что легкая прослойка «чужеродного элемента» совершенно потерялась на фоне Драча с Черновилом и других деятелей тамошней национальной культуры и политики.

В отношении Бориса дело, правда, сперва осложнилось. Он ни за что не соглашался ехать без Лили. Тут не было каприза: во время предыдущей зарубежной поездки (кажется, в Италию) он чувствовал себя без нее плохо и никак не решался ехать за рубеж снова один. Но на нее нужны были дополнительные деньги. За дело взялся Саша Верник – бывший студиец Бориса, вошедший с ним в тесные дружеские отношения, ныне – известный в Израиле русский поэт. Преданность Александра Верника своему учителю хорошо известна в здешних русскоязычных литературных кругах, и над ним по этому поводу неоднократно подтрунивали. Наконец, один из весьма остроумных здешних литераторов, Михаил Генделев, написал, что Вернику, слава Богу, удалось выйти из-под влияния Чичибабина. Комплимент весьма сомнительный, если только речь не идет о подражательстве (в котором Верник, кажется, замечен не был). Мне же влияние Чичибабина, особенно нравственное, а также и в чисто литературном аспекте, представляется благородным и благотворным. И дай Бог Вернику никогда не избавиться от него.

Движимый любовью к своему учителю и другу (я понимаю, что это чуть ли не повторение титула т. Сталина, но других верных слов подобрать не могу), Верник энергично взялся за сбор средств на поездку Лили и с помощью друзей (из них знаю Изю Шлафермана) сумел сколотить нужную сумму.

И вот – жаркий сентябрь 1992 года, Иерусалим, здание Hebrew Union Colleg. Я прибыл на «Форум», но, главное, на встречу с Борисом. Когда мы уезжали, она казалась невероятной. Теперь приходилось поверить собственным глазам, рукам, губам. Мы расцеловались. В тот же вечер или в следующий я приехал к Саше Вернику в Гило, и тут состоялась незабываемая дружеская пирушка, о которой Борис вскоре напишет:

Не горюй, не радуйся –
дни пересолили,
тридцать с лишним градусов
в Иерусалиме.

Видимо, пристало мне,
при таком варьянте,
дуть с друзьями старыми
бренди на веранде.

Прочитав эти стихи, я внутренне воскликнул: «И я там был, и бренди пил!». Кроме меня и, естественно, хозяев – Саши и Ирины Верник, там были: Миша Копелиович – харьковчанин, приехавший в Израиль из Ленинграда; супруги Каган – Лена и Ира; еще одна Ира – первая жена Юры Милославского... Словом, старые друзья.

Все мы были ранее
русские, а ныне
ты живешь в Израиле,
я – на Украине.

Смысл сего, как марево,
никому не ведом.
Ничего нормального
я не вижу в этом.

Натянула вожжи и
гнет, не отпуская,
воля нас не Божия,
да и не людская.

Не Божия, не людская, – значит, дьявольская. Вот так, все-таки, воспринял он случившееся, вглядываясь – уже издали – в Израиль, где они с Лилей провели, кажется, даже не неделю, а пять-шесть дней. Он признавался себе и читателю:

Так и не понял я, что за страна ты –
добрая, злая ль?

Одно лишь для него несомненно:

Это сюда, где доньше отметки
Божии зрятся,
нынешних жителей гордые предки
вышли из рабства.

Светлое чудо в лачуги под крыши
вызвали ртами,
Бога единого миру открывши,
израильтяне.

И снова стон – уже от имени не только собственного, но и всех
христианских, да и других, народов:

Мы уничтожили лучший народ свой
наполовину.

И – объяснение своей особой приязни к «лучшему народу»:

Кем бы мы были, когда б не евреи, –
страшно подумать.

Конечно, они побывали в «Яд-Вашём» – мемориальном музей-ном комплексе, где развернута потрясающая душу экспозиция о катастрофе европейского еврейства во Второй мировой войне. Об этом – его большое, печальное, – может быть, правда, не лучшее – стихотворение; мне, однако, дороги те чистые, святые чувства, которые достаточно ощутимы, если прочесть лишь начало и конец этой маленькой поэмы:

Мы были там, и слава Богу,
что нам открылась понемногу
вселенной горькая душа –
то ниспадая, то взлетая,
земля трагически-святая
у Средиземного ковша.

.....
Я, русский кровью и корнями,
живущий без гроша в кармане,
страной еврейской покорен, –
родными смутами снедаем,
я и ее коснулся таин
и верен ей до похорон.

Стихи израильского цикла были опубликованы в «Литературной газете», в израильской русской прессе, в местной харьковской печати. А затем вошли в книгу «Цветение картошки». Тут, по-моему, Борис Алексеевич допустил маленькую и безобидную хитрость – между этими стихами поместив и такое:

ВОСПОМИНАНИЕ О ВОСТОКЕ

Чуть слышно пахнут вяленые дыни.
У голубых и призрачных прудов
поет мошкá. В полуденной пустыне
лежат обломки белых городов.

Они легли, отвластвовав и канув,
и ни один судьбой не пощажен,
и бубенцы беспечных караванов
бубнят о счастье мнимом и чужом.

Верблюды входят в сонную деревню –
простых людей бесхитростный приют.
Два раза в год беременны деревья,
плоды желтеют, падают, гниют.

Мир сотворен из запахов и света,
и верю я, их прелестью дыша,
что здесь жила в младенческие лета
моя тысячелетняя душа.

Читатели – особенно те, кто не жили в Израиле – скорее всего, восприняли эти стихи как тоже «израильские», и немудрено: ведь даже верблюды у нас есть (на нашем Юге)... Лишь некоторые тонкости выдают истину: это стихи о другом Востоке – не Ближнем. Я их помню по его юношеским тетрадам. Но опубликованы они впервые в... 1963 году, в его первой московской книжке «Молодость». А написаны, по свидетельству моей сестры, в «Вятлаге», на Севере!!! По воспоминанию или воображению? Бог весть! Как тонко и точно русский поэт чувствовал, однако, душу востока, его своеобразную прелесть. И почему-то ощущал свое глубинное родство с ним.

Как чудо и подарок судьбы я воспринял его второй приезд с Лилей в Иерусалим – на антифашистский конгресс. Конечно же, не увидеться с ним я не мог – и потому пустился в «дальний» (кавычки – для читателей из СНГ, но не для израильтян) путь: здесь-то знают, что 120-130 километров в Израиле – расстояние внушительное.

О предстоящей встрече рассказал по телефону редактору одного русского, выходящего в Тель-Авиве, еженедельника, и он меня попросил, «если получится», взять у Чичибабина интервью. Я отстучал на машинке примерные вопросы. Но наша встреча получилась не столь короткой, сколь совершенно не удобной для разговора: я сидел на одном из мероприятий конгресса между Лилей и Борисом и даже разговаривать с ним не мог: Борис нас с Лилей одергивал, испытывая неловкость за наше «нахальное» поведение, и мне пришлось оставить им текст вопросов: авось, выдастся возможность ответить письменно

– и прислать мне. У меня были еще обязательства в этой поездке, и больше встретиться нам не удалось.

Но через несколько дней я получил в письме ответы Бориса, благодаря чему смог опубликовать их как его интервью⁵².

Это – одно из последних интервью Чичибабина. Приведу здесь (в сокращении) несколько его высказываний, так или иначе относящихся к теме этой главы:

«– **Какая из «трещин» твоего сердца в наши дни особенно сильно болит?**

– Исчезновение СССР с карты мира. Да, рухнула еще одна империя. Но эта империя – моя родина. И то, что у меня ее не стало, это даже не трещина, – огромная дымящаяся рана.

– **Что для тебя – «еврейский вопрос»?**

– Так называемый «еврейский вопрос» в моей жизни занимает первостепенное место. Я живу в еврейской семье. Все мои самые близкие, самые заветные друзья и единомышленники – евреи. Какую роль сыграли евреи в русской духовности, в русской культуре, говорить не надо: все знают.

– **Что нового ты увидел в Израиле в этот второй приезд?**

– Я слишком мало был в Израиле, но и в эти пять дней почувствовал перемену. И здесь общество расколото. И здесь стало тревожно. А от этого и мне тревожно.

– **Что передать читателям?**

– Будьте внутренне светлы и свободны. Остальное приложится».

Легко советовать... Но был ли сам он светел и свободен внутренне? Вернувшись на родину, Борис Чичибабин застал там тот же разор, тот же «беспредел», ту же «песню-поножовщину», какая звучала в течение всей его горемычной жизни. Наивная вера в «народ» то оставляла его, то вновь возрождалась – он писал в 70-е годы: «И хочется послать на «ё» народолюбие мое, с которым все же не расстанусь...». Отделение Украины от России внесло еще большее смятение в его душу: «Я с родины не уезжал, за что ж ее лишен?» Невероятно трудно стало жить не только в моральном, но в самом прямом – биологическом и житейском – смысле.

Женатый на еврейке, он мог бы, по «Закону о возвращении», «репатрироваться» вместе с нею в Израиль (и в этом случае уже не показалось бы преувеличением чувство, «что здесь жила в младенческие лета моя тысячелетняя душа!»). Тысячу раз обещавший «не съезжать», теперь он дрогнул. Он писал мне и моей жене незадолго до смерти:

«Я ничуть не идеализирую государство, в каком вы живете, но, если через какое-то время я решусь оставить свою несчастную родину просто для

⁵² См.: Феликс Рахлин. «Мы живем в уголовное время...». Интервью с известным русским поэтом Борисом Чичибабиным. Ежедневник «День седьмой», приложение к газете «Новости недели», 21 октября 1994 г.

того, чтобы дожить свою жизнь в каком-то относительном покое и благополучии, я, если к тому времени удастся выбраться из нашего ада, приеду «доживать» в это государство – не в Америку ж!»

США казались ему слишком рассудочными, слишком «желудочными», а Израиль, все-таки, духовным, более человеческим...

Стоит ли гадать: что было бы, если бы?.. Мне кажется, здесь его ждали неизбежные разочарования. Ведь и сам он прозорливо писал: «Уж я-то при любой системе останусь лишний и чужой». А так, как сложилось... все-таки, он умер на родине... Он похоронен в земле Украины – своей родной земле, которую так горячо любил. В Харькове, который был так жесток к нему в течение десятилетий. Однако похоронить сумел с почетом.

«Но лишь взлетит на волю дух,
ни слягут рученьки в чернила,
уж их по-царски хоронили....»

...Не хочу заканчивать свое повествование на столь печальной ноте. Поэтому повторю фразу, которой подвёл итог изложению в газете ответов Бориса Чичибабина на мои вопросы (тогда я не мог ещё знать, что дни его сочтены):

«Русский поэт, став своим в еврейской семье, помогает людям хранить человеческое достоинство и верить: уголовное время кончится, а поэзия, а истина – останутся навеки».

*г. Афула, Израиль.
1995 – 1997 гг.*

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Абрам Терц (см. Синявский Андрей)
Аввакум, протопоп 194
Авдеев Иван 18-19, 21
Авдеев Павел Семенович 18, 21
Авраам 60
Азбель Марк 114, 117-118
Азов (Айзенштадт) М. Я. 6, 9, 26, 42, 44, 143
Алдан-Семенов А. 55
Алешковский Юз 76
Алигер Маргарита 8, 173
Алтунян Генрих Ованесович 71, 131-133, 135, 140, 141, 148, 150, 173, 188, 195, 201
Алтуняны – Генрих и Римма 129, 159
Амосов Николай 33
Андерсен Г.-Х. 136
Андропов 142
Антонов-Овсеенко 44
Ахмадулина Белла 97
Ахматова Анна 8, 11, 34, 37, 44, 99, 147, 155, 187
Бабель 188
Бабусенко 141
Багрицкий Э. 56, 110
Бакунин 98
Баранов Виктор 173
Барто Агния 174
Басюк Александр 40, 41, 45, 72, 85-93
Бегун 197
Безыменский Александр 8
Бейдер Фима 114-115, 189
Беренсон Лазарь 31
Бестужев И. 197
Блок Александр 10, 12, 58, 138, 155, 160-161
Богораз Лариса 33, 41, 44, 71
Богославский Марк 43, 54, 61, 69-72, 124, 151, 160
Боков Виктор 5, 111
Болеславский Лев 124, 128
Брежнев 69, 142
Брезинский Георгий Вильгельмович 20
Брики – Осип и Лиля 129
Бродский Иосиф 101, 122, 137, 191
Буланкин Иван 44

- Булгаков 147, 160, 162
Бунин И. А. 19
Буссенар 89
Бялик Хаим-Нахман 182
Вайнеры 14
Вайскопф М. 32
Вальшонок Зиновий 70, 90
Ваншенкин Константин 97
Василчин С. 110
Васильев Дм. 198
Верники – Саша и Ирина, 202
Верник Александр 3, 88, 90, 102, 104, 125, 187, 202
Винокуров Е. 110
Вишневская Г. 122
Владимов Г. 126, 191
Вознесенский Андрей 97-98, 122
Войнович Владимир 126, 191
Волков Александр 188
Волкова Лина (в девичестве Черняховская) 188
Волковы – Алик и Лина 189-190
Володин Александр Моисеевич 188
Волошин Максимилиан 188
Воронели – Александр и Неля 33, 115
Высоцкий 76
Вышеславский Леонид 153
Габинская Мара 43
Габриэлян Кироп 89
Галич Александр 114, 122, 187, 191
Галкин Лев 9
Гаско Игорь 53
Гейне 37
Гельбарт София 38
Гельфандбейн Григорий Михайлович 9, 39, 101, 128
Генделев Михаил 201
Герасименко Юрий 9
Гердт Зиновий 144, 188
Герцен 5, 194
Гитлер 39
Гоголь 140, 200
Голодный Михаил 8
Гольденберг Иосиф 42, 188
Горбачев 133, 144, 173
Горбузенко Яков (Ян) 42, 44
Горчаков Г. 19
Гревизирская (Полушина) Л. А. 6, 20-21

- Григоренко Петр 122, 131
Гробман М. 32
Гумилев 35
Гуторов Александр 102
Даниэль Юлий (Николай Аржак) 33, 41-42, 44, 54, 70-73, 84, 104, 109, 118, 126, 159, 187
Демиховская Дебора Михайловна 98
Джек Лондон
Добин Владимир 185
Достоевский 68
Драч 201
Друкер 143
Дубинский Илья 103
Дюма А. 126
Дюма 89
Евтушенко Евгений 4, 55, 58, 70, 97, 98, 118, 122, 137, 149, 156, 159, 160, 179
Елдышева (Ключкина) М. С. 131
Елин Юрий 38
Ельцин 180
Есенин 36
Жаботинский 179
Жаданов (Лев Лившиц) 39
Жванецкий М. М. 132, 143-144
Жданов 34, 94
Железняк 8
Житомирский Володя 181
Жуков Юрий 131
Жуковский В. А. 19
Журавлев Д.Н. 137
Жюль Верн 89
Задов Лева 98
Залесский Сергей Илларионович 20
Заратустра 29
Захаров Евгений 6, 140, 148, 150
Захаров Ефим 47, 49, 78, 80, 130, 132
Зиновьев 40
Зоценко 23, 99
Ибрагим 19
Ибсен 186
Иванов Александр 143
Иванов Георгий 107
Иванова Татьяна 24, 66
Ильф И. 55, 87
Илья (о. Илья, священник) 6

- Инбер Вера 92
Иосилевич Александр 123
Исаев Егор 64
Ицхак, сын Авраама 60
Каган Ира 202
Каган Леонид 138, 139, 143, 202
Каганов И. Я. 181
Канер Моня 117-118
Карамзин 107
Карась Лиля (см. Чичибабина-Карась Лилия Семёновна)
Кац Зельман Менделевич 128
Ким Юлий 57
Киров 11
Кирсанов Александр 102
Клава [Поздеева] 46, 155
Клецерман Миша 9
Ковальджи Кирилл 188
Конторович В. М. 6, 33, 117
Копелиович Мих. 107, 185, 202
Корж Н. 20, 65
Коржавин Н. 101, 122
Короленко В. Г. 40, 93
Коротенко В. 16
Коротич Виталий 149
Котелков Парис Жуаныч 69-71, 123
Кочетов В. 126
Кривин Феликс 144, 187
Кривых Юлик 43
Кропоткин 98
Кузнецов А. 122
Кучеренко Оля 69
Кучерский Александр 130
Ладензон Борис 132, 133, 180
Ладензоны – Борис и Алла 129, 132, 151, 159, 188
Лакшин Владимир 126
Лащенко 111
Левин Аркадий 131-132
Ленин 10, 25, 35, 55-56, 105, 139, 145, 184, 187
Леонович Владимир 144
Лермонтов 12, 32, 194
Лесникова Александра 54, 68, 137, 187-188
Лигачев 133, 173
Лорик 99
Лосиевский И. Я. 6
Макаров Олег 114

- Малеев Вова 114
Мандельштам Осип 147, 187, 199
Маргулис Блюма Абрамовна 14, 40, 48, 181
Маркс 10, 103
Марченко Анатолий 42, 141
Марченко Олекса 73
Маршак 4, 55, 80, 156, 187, 199
Матвеева Новелла 136
Мацаев 116
Маяковский 23, 26, 97, 129, 138, 174
Мещеряков В. 150
Милославский Юрий 44-45, 46, 61, 88, 102, 104, 125, 129, 139, 202
Милюха 73
Милявский Борис 39
Миркина Зинаида 144, 187
Михоэлс 185
Молотов 36
Морской В. 39
Мотя (см. Якубовская Матильда Фёдоровна)
Муратов Игорь 9
Муха Рената 13, 57, 114, 189
Мушнык Сергей 39
Мысык Василь 150
Надель Л. Х. (Лион) 6, 44
Надель Хацкель Соломонович 44
Надсон 187
Надь Имре 96
Недобора Владислав 131-132
Недоборы Владик и Софа 129, 159
Неизвестный Э. 122
Некрасов Виктор 43, 98, 101, 122, 191
Некрасов Н. А. 26, 33, 144
Николай Аржак (см. Даниэль Юлий)
Новожилов С. 137
Оболдуев 87
Окуджава 76
Павел I, император 63
Павленко Петр 86
Панн Лиля (Лидия) 139
Пастернак Борис 4, 8, 9, 68, 104, 122, 127, 145, 147, 159, 187, 199
Паустовский 187
Перетягин 71
Петлюра Симон 43
Петров Евг. 55, 87
Пинский Лев 144

- Пинский Леонид Ефимович 144, 187
Подгорный Н. 143
Поженян Григорий 92
Полтавцев Алик 99
Полушин Алексей Ефимович 16-17
Полушина Лидия Алексеевна 16
Поляков Ц. М. 44
Померанц Григорий 144
Пономарев Владимир 131-132
Пороховщиков 152
Проценко Галина Кузьминична 99
Пугачев Емельян 78, 106
Пугачев Леонид 27, 32-33, 54, 68-69, 76-77, 79-81, 83-84, 185, 188
Пустовалов Виташа 114
Пушкин 19, 32, 36, 133, 160-161, 165, 191
Пычко Вера Алексеевна 42
Рабичкин Б.М. 68-69
Радищев 32, 100
Райкин А. 42, 143
Рассоха Игорь 150
Рахлин Давид Моисеевич 40, 48
Рахлина Инна 6
Рахлина Марлена 6-10, 12, 14, 24, 26, 30, 32-33, 37, 39-43, 45, 47-50, 68-70,
72-74, 78-80, 85, 92, 96, 109, 125, 127, 130-132, 135, 138, 140-141,
150-151, 155-157, 160-167, 170, 173-174, 176-177, 182, 187, 189
Рача 19
Речистер Долли 175
Рогачева О. 6
Роженко 101
Розенберг А.Ф. 38, 181
Ромэн Роллан 49
Ростропович М. 122
Рубан 123, 124
Руденко Мькола 188
Румянцев 37
Рябокляч Иван 86
Рязанов Эльдар 51, 68, 189
Савенко Эдик (Эдуард Лимонов) 102
Сазонов («дядя Шура») 115-116
Сазонова («тётя Тамара») 115
Сазонова Света 114
Салтыков-Щедрин 200
Самарин 40
Самойлов 4
Сахаров 121

- Сахнюк 143
Саша Чёрный 160
Светлов Михаил 8, 70
Северянин Игорь 10
Сельвинский Илья 4, 55, 124, 156
Семашко Оля 9
Семенов Жора 14, 26
Серебрякова Галина 103
Сероштан 111
Синявский Андрей (Абрам Терц) 33, 41, 70, 72, 73, 104, 126, 159, 187
Скаба Андрей Данилович 96, 98, 100
Скальпель Натан 183
Сковорода Григорий Саввич 37
Славич-Приступа Станислав Кононович 43-44, 49, 188
Слуцкий Борис 54, 113
Соколов Иван 20
Солженицын Александр 101, 103, 122, 126, 188
Сталин 23, 25, 76, 86, 97, 145, 184
Суркова Женя 66
Сусленский Яков 201
Сухарев Евгений 130
Сухоруков Борис Васильевич 93-94
Сытник Александра Матвеевна 112
Твардовский Александр 4, 55, 65, 126, 128, 140, 147, 187-188
Темис Леонид (литературный псевдоним «Тёмин») 74, 187
Тесленко Василий Васильевич 109
Тихвинский Вл. 42
Толстой Лев 187
Трифонов Юрий 130
Троцкий 40
Тургенев 33
Тютчев 166
Ушаков Николай 9
Фет 19
Филатов Аркадий (Кадя) 68-70, 72-74, 134
Финкель А.М. 181
Финкельштейн Юрий 43
Фишелева Анна Яковлевна 6, 91-92
Фрейд 134
Хазин Александр 23, 94
Хаит Леонид («Люсик») 87
Хрущев Никита 53, 72, 95, 98, 109, 116, 157
Цветаева Марина 147, 159, 187-188, 199
Цимеринов Борис («Буся») 8, 9
Циранкевич Юзеф 123

Чаговец Валентин 68-69

Чаплин 120

Чарская Лидия 85

Челомбитько Ираида Николаевна 6, 20, 172

Черевченко Александр 73

Черненко 142

Черненко Мирон 53, 88

Черномырдин 180

Чернышев, граф 39

Черняков Марк 9

Черняховский Гарри 189

Чехов 160-161, 177, 184

Чичибабин Алексей Евгеньевич 16

Чичибабина-Карась Л.С. 52, 91, 102, 108, 130, 135, 172, 183, 187, 201, 204

Чичибабин Николай Евгеньевич 16

Чичибабина Наталья Николаевна 16, 30

Чичибабины 159

Чорновил 201

Чуковская 11

Шаров Александр (Шера Израилевич) 44, 187

Шварц В. 188

Шевченко 37

Шекспир 154

Шелехов Эна (Энерг) 9

Шкуро 22

Шлаферман Изя 201

Шмеркина Фаина («Шмера») 6, 133-134, 136, 166, 173, 175

Шолом Алейхем 196

Шолохов 9

Шумицкий Станислав 73-74

Эзоп 88

Эйнштейн 120

Эрдман Николай 88

Эренбург Илья 54

Якир Петр 131

Якубовская Матильда Фёдоровна (Мотя) 51, 90, 99-100, 108, 130-131, 181

Якубовский Николай 51

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие автора	3
I. «С чего мне начать и с чего подступить?»	7
II. «Глухо имя Чичибабин...»	16
III. «Ты не спи, земляк, не спи, разберись, чем пичкают...»	22
IV. «Красные помидоры кушайте без меня...»	30
V. «Четыре книжки вышли у меня. А толку?»	53
VI. «Из всех скотов мне по сердцу верблюды...»	67
VII. «...художник, бражник и плужник...»	76
VIII. «Что ни кликуша, то и тип...»	85
IX. «Нам стали говорить друзья...»	95
X. «Моя подруга варит борщ...»	100
XI. «Вам, физики, вам, шулера!»	113
XII. «Опять я в нехристях...»	122
XIII. «Упершись локтем в ненадежность стола...»	131
XIV. «Давайте делать что-то... хоть неизвестно, что...»	142
XV. «Эти встречи как Божии свечи...»	151
XVI. «Марленочка, не надо плакать...»	162
XVII. «Я всем гонимым брат...»	178
Именной указатель	207

Литературно-удожественное издание

ФЕЛИКС РАХЛИН

**О БОРИСЕ ЧИЧИБАБИНЕ И ЕГО ВРЕМЕНИ
СТРОЧКИ ИЗ ЖИЗНИ**

Ответственный за выпуск и редактор *Е.Е.Захаров*
Корректор *С.З.Карасик*
Компьютерная верстка *А.Б.Агеев*

Подписано в печать 20.07.04.
Формат 60 x 84 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура Тип Таймс
Печать офсетная. Усл. печ. л. 12,14 Усл. кр.-отг. 13,12
Уч.- изд. л. 13,4. Тираж 1000 экз. Заказ №

Харьковская правозащитная группа
61002, Харьков, а/я 10430
e-mail: root@khp.org
<http://www.khp.org>

«Фолио»
61057, Харьков, ул. Донец-Захаржевского, 6/8

Отпечатано на оборудовании Харьковской правозащитной группы
61002, Харьков, ул.Иванова, 27, кв.4

Жизнь большого русского поэта Бориса Чичибабина тесно связана с Харьковом. Еще в юные годы за бунтарские стихи он был арестован и пять лет провел в северном лагере. В мемуарах Феликса Рахлина рассказано о предыстории этого ареста, о дальнейших творческих и житейских злоключениях и преследованиях, которым подвергался поэт со стороны партийно-советской верхушки, об особенностях его личности и характера, во многом противоречивого, но всегда яркого и цельного.

